В. Ф. ОДОЕВСКИЙ



ПЕСТРЫЕ СКАЗКИ

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ ПЕСТРЫЕ СКАЗКИ



ПОРТРЕТ В. Ф. ОДОЕВСКОГО.

Акварель А. Покровского, 1844 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



ПЕСТРЫЕ СКАЗКИ С КРАСНЫМ СЛОВЦОМ, СОБРАННЫЕ ИРИНЕЕМ МОДЕСТОВИЧЕМ ГОМОЗЕЙКОЮ,

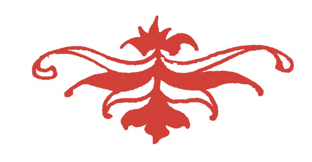
МАГИСТРОМ ФИЛОСОФИИ
И ЧЛЕНОМ РАЗНЫХ
УЧЕНЫХ ОБЩЕСТВ,
ИЗДАННЫЕ
В. БЕЗГЛАСНЫМ



В. Ф. ОДОЕВСКИЙ



ПЕСТРЫЕ СКАЗКИ



Издание подготовила
М. А. ТУРЬЯН



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»
1996

ББК 84(0)5
О 44

Ответственный редактор

Б. Ф. ЕГОРОВ

Рецензент

В. Э. ВАЦУРО

О $\frac{4702010100-526}{042(02)-96}$ 277-94-II

ISBN 5-02-028204-9



Какова история. В иной залетишь за тридевять земель в тридесятое царство.

Фонвизин в «Недоросле»

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Когда почтенный Ириней Модестович Гомозейко, магистр философии и член разных ученых обществ, сообщил мне о своем желании напечатать сочиненные или собранные им сказки, — я старался сколь возможно отвратить его от сего намерения; представлял ему, как неприлично человеку в его звании заниматься подобными рассказами; как, с другой стороны, они много потеряют при сравнении с теми прекрасными историческими повестями и романами, которыми с некоторого времени сочинители начали дарить русскую публику;[1] я представлял ему, что для одних читателей его сказки покажутся слишком странными, для других слишком обыкновенными,[2] а иные без всякого недоумения назовут их странными и обыкновенными вместе; самое заглавие его книги мне не нравилось;[3] меня не тронули даже и ободрения, которыми журналы удостоили сказку Иринея Модестовича, напечатанную им для опыта, под именем *Глинского*, в одном из альманахов.[4] Но когда Ириней Модестович со слезами в глазах обратил мое внимание на свой пришедший в пепельное состояние фрак, в котором ему уже нельзя более казаться в свете, — единственное средство, по мнению Иринея Модестовича, для сохранения своей репутации — когда он трогательным голосом рассказал мне о своем непреодолимом желании купить по случаю продающуюся редкую книгу: Joannes ab Indagine Introductiones apotelesmaticae in astrologiam naturalem,[5] а равно и Les oeuvres de Jean Belot, Curé de Milmonts, professeur ès sciences divines et celestes, contenants la chiromancie, physiognomie, traité de divinations, augures et songes, les sciences steganographiques, paulines, armadellest et lullistes; l'art de doctement precher et haranguer etc,[6] тогда все мои сомнения исчезли, я взял рукопись почтенного Иринея Модестовича и решился издать ее.

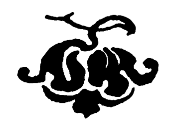
Смею надеяться, что и читатели разделят мое снисхождение, тем более что оно может ободрить Иринея Модестовича к окончанию его собственной биографии, а равно и исторических изысканий об «Искусстве оставаться назади», сочинение, которое, несмотря на недельное направ-

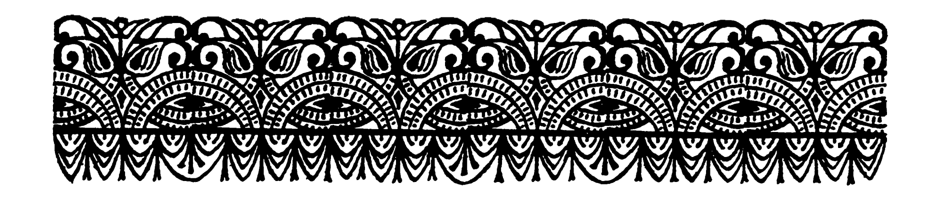
ление, данное ему автором, содержит в себе, по моему мнению, поучительные примеры, ясно показывающие, чего в сем случае надлежит избегать, и следственно весьма полезные для практики.

Еще одно замечание: почтенный Ириней Модестович, несмотря на всю свою скромность и боязливость, потребовал от меня, чтобы я в издаваемой мною книге сохранил его собственное правописание, особенно же относительно знаков препинания. Надобно знать, что Ириней Модестович весьма сердится за нашу роскошь на запятые и скупость на точки: он не может понять, зачем, вопреки дельным замечаниям знающих людей, у нас перед каждым *что* и *который* ставится запятая, а перед *но* точка с запятою. Вообще Ириней Модестович предполагает, что книги пишутся для того, дабы они читались, а знаки препинания употребляются в оных для того, дабы сделать написанное понятным читателю; а между тем, по его мнению, у нас знаки препинания расставляются как будто нарочно для того, чтобы книгу нельзя было читать с первого раза — prima vista,[7] как говорят музыканты; для избежания сего недостатка Ириней Модестович старается наблюдать между знаками препинания (, | —, , — | ; | ·) логическую иерархию; для сей же причины он осмелился занять у испанцев оборотный вопросительный знак, который ставится в начале периода для означения, что оному при чтении должно дать тон вопроса. О сем пусть рассудят читатели, а люди, более меня занимавшиеся сим делом, потолкуют.

Нужным считаю присовокупить, что я на себя же взял издание давно обещанного «Дома сумасшедших»;[8] сочинение, которое, впрочем, сказать правду, гораздо больше обещает, нежели сколько оно есть в самом деле.

В. Безгласный





ПРЕДИСЛОВИЕ СОЧИНИТЕЛЯ

Почтеннейший читатель

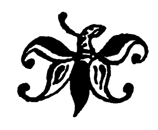
Прежде всего я долгом считаю признаться вам, милостивый государь, в моей несчастной слабости... Что делать? у всякого свой грех, и надобно быть снисходительным к ближнему; это, как вы знаете, истина неоспоримая; одна изо всех истин, которые когда-либо добивались чести угодить роду человеческому; одна, дослужившаяся до аксиомы; одна, по какому-то чуду уцелевшая от набега южных варваров 18 века, как одинокий крест на пространном кладбище. Итак, узнайте мой недостаток, мое злополучие, вечное пятно моей фамилии, как говорила покойная бабушка, — я, почтенный читатель, я из ученых, то есть, к несчастию, не из тех ученых, о которых говорил Паскаль, что они ничего не читают, пишут мало и ползают много,[1] — нет! я просто пустой ученый, то есть знаю все возможные языки: живые, мертвые и полумертвые; знаю все науки, которые преподаются и не преподаются на всех европейских кафедрах; могу спорить о всех предметах, мне известных и неизвестных, а пуще всего люблю себе ломать голову над началом вещей и прочими тому подобными нехлебными предметами.

После сего можете себе представить, какую я жалкую ролю играю в сем свете. Правда, для поправления моей несчастной репутации я стараюсь втираться во все известные домы; не пропускаю ничьих именин, ни рожденья[2] и показываю свою фигуру на балах и раутах;[3] но, к несчастию, я не танцую, не играю ни по пяти, ни по пятидесяти; не мастер ни очищать нумера, ни подслушивать городские новости, ни даже говорить об этих предметах; чрез мое посредство нельзя добыть ни места, ни чина, ни выведать какую-нибудь канцелярскую тайну...[4] Когда вы где-нибудь в уголку гостиной встретите маленького человечка, худенького, низенького, в черном фраке, очень чистенького, с приглаженными волосами, у которого на лице написано: «Бога ради оставьте меня в покое»,[5] — и который ради сей причины, заложа пальцы по квартирам, кланяется всякому с глубочайшим почтением, старается заговорить то с тем, то с другим или с благоговением рассматривает глубокомысленное выражение на лицах почтенных старцев, сидящих за картами, и с участием расспрашивает о выигрыше и проигрыше, словом, всячески старается показать, что он также человек порядочный и ничего дельного на сем

свете не делает; который между тем боится протягивать свою руку знакомому, чтобы знакомый в рассеянности не отвернулся, — это я, милостивый государь, я — ваш покорнейший слуга.

Представьте себе мое страдание! Мне, издержавшему всю свою душу на чувства, обремененному многочисленным семейством мыслей, удрученному основательностию своих познаний, — мне очень хочется иногда поблистать ими в обществе; но только что разину рот — явится какой-нибудь молодец с усами, затянутый, перетянутый, и перебьет мою речь замечаниями о состоянии температуры в комнатах или какой почтенный муж привлечет общее внимание рассказом о тех непостижимых обстоятельствах, которые сопровождали проигранный им большой шлем;[6] между тем вечер проходит, и я ухожу домой с запекшимися устами.

В сем затруднительном положении я заблагорассудил обратиться к вам, почтенный читатель, ибо, говоря без лести, я знаю, что вы человек милый и образованный и притом не имеете никакого средства заставить меня замолчать; читайте, не читайте, закройте или раскройте книгу, а все-таки печатные буквы говорить не перестанут. Итак, волею или неволею слушайте: а если вам рассказ мой понравится, то мне мыслей не занимать стать, я с вами буду говорить до скончания века.





I

РЕТОРТА

Реторта — cornue — retorte[1] — сосуд перегонный; род бутыли с круглым дном в виде груши с длинною шейкою...

Слов. хим. (ч. 3, с. 260)

...Положи амальгаму в круглый стеклянный сосуд; закупорь его и поставь в золу, потом на легкий жар, прибавляя жару, пока сосуд совсем не раскалится, то ты увидишь все цветы, какие только на свете находятся...[2]

Исаак Голланд
в книге о «Руке философов» (с. 54)

ГЛАВА I

Введение

В старину были странные науки, которыми занимались странные люди. Этих людей прежде боялись и уважали; потом жгли и уважали; потом перестали бояться, но все-таки уважали; нам одним пришло в голову и не бояться, и не уважать их. И подлинно, — мы на это имеем полное право! Эти люди занимались — чем вы думаете? они отыскивали для тела такое лекарство, которое бы исцеляло все болезни; для общества такое состояние, в котором бы каждый из членов благоденствовал; для природы — такой язык, которого бы слушался и камень, и птица, и все элементы; они мечтали о вечном мире, о внутреннем ненарушимом спокойствии царств, о высоком смирении духа! Широкое было поле для воображения; оно обхватывало и землю и небо, и жизнь и смерть, и таинство творения и таинство разрушения; оно залетало за тридевять земель в тридесятое царство, и из этого путешествия приносило такие вещи, которые ни больше, ни меньше, как переменяли платье на всем

роде человеческом; такие вещи, которые — не знаю, отчего — ныне как будто не встречаются, или все наши открытия разнеслись колесами паровой машины.[3]

Не будем говорить о величественной древности: увы! она посоловела от старости; вы поверите на слово, что она мне известна лучше, нежели адрес-календарь какому-нибудь директору департамента, и что я бы мог легко описанием оной наполнить целую книгу; нет, мы вспомним недавнее.

Знаете ли, милостивый государь, что было время, когда все произведения природы годились только тогда, когда природа их производила; цветы весною, плоды осенью; а зимою — ни цветочка... Не правда ли, что это было очень скучно? Нашелся монах, по имени Алберт; он предвидел, как для нас необходимо будет зимою устилать цветами стены передних и лестниц, и нашел средство помочь этому горю — и нашел его так, между делом, потому что он в это время занимался очень важным предметом: он искал средства сотворять цветы, плоды и прочие произведения природы, не исключая даже и человека.[4]

Было время, когда люди на поединке бесились, выходили из себя, в этом преступном состоянии духа отправлялись на тот свет и без покаяния, дрожа, кусая губы, с шапкою набекрень являлись пред лицо Миноса;[5] монах Бакон[6] положил селитры с углем в тигель, поставил в печь вместе с другими приготовлениями для философского камня и нашел хладнокровный порох, посредством которого вы можете — не сердясь, перекрестившись, помолившись и в самом спокойном и веселом расположении духа — положить перед собою навзничь своего противника или сами разом протянуться, что не менее производит удовольствия.

Было время, когда не существовало — как бы назвать его? (мы дали этому снадобью такое имя, от которого может пропахнуть моя книга и привлечь внимание какого-нибудь рыцаря Веселого образа, чего мне совсем не хочется) — когда не существовало то — то, без чего бы вам, любезный читатель, нечего было налить на вашу курильницу; старинному щеголю на свой платок и на самого себя; без чего нельзя бы сохранять уродов в Кунсткамере;[7] нечем было бы русскому человеку развеселить свое сердце; словом, то, что новые латинцы и французы назвали *водою жизни*. Вообразите себе, какую переборку должно было произвести в это время открытие Арнольда де Вилльановы, когда он пустил по миру алкоголь,[8] собирая в тыкву разные припасы для сотворения человека по своему образу и подобию.

Скажите, кого бы уморила нынешняя медицина, если бы господин Бомбастус Парацельзий не вздумал открыть приготовления минеральных лекарств?[9] Что бы стали читать наши почтенные родители, если бы Брюс не написал своего календаря?[10] Если бы Василий Валентин...

Но, впрочем, это долгая история; всех не переберешь, а только вам наскучишь. Дело в том, что все открытия тех времен производили такое же обширное влияние на человечество, какое бы ныне могло произвести соединение паровой машины с воздушным шаром, — открытие, мимохо-

дом будь сказано, которое поднялось было, да и засело и, словно виноград, не дается нашему веку.

Неужели в самом деле все эти открытия были случайные? Разве автомат Алберта Великого не требовал глубоких механических соображений? Разве antimonium Василия Валентина[11] и открытия Парацельзия не предполагают глубоких химических сведений? Разве Ars magna Раймонда Луллия[12] могло выйти из головы, не привыкшей к трудным философским исчислениям; разве, разве... Да если бы эти открытия и были случайные, то зачем эти случаи не случаются ныне, когда не сотня монахов, разбросанных по монастырям между дюжиною рукописей и костром инквизиции, а тысячи ученых, окруженных словарями, машинами, на мягких креслах, в крестах, чинах и на хорошем жалованьи, трудятся, пишут, вычисляют, вытягивают, вымеривают природу и беспрестанно сообщают друг другу свои обмерки? Какое из их многочисленных открытий может похвалиться, что оно столько же радости наделало на земном шаре, как открытия Арнольда де Вилла-новы с компаниею?

А кажется, мы смышленнее наших предков: мы обрезали крылья у воображения; мы составили для всего системы, таблицы; мы назначили предел, за который не должен переходить ум человеческий; мы определили, чем можно и должно заниматься, так что теперь ему уж не нужно терять времени по-пустому и бросаться в страну заблуждений.

Но не в этом ли беда наша? Не оттого ли, что предки наши давали больше воли своему воображению, не оттого ли и мысли их были шире наших и, обхватывая бо́льшее пространство в пустыне бесконечного, открывали то, чего нам ввек не открыть в нашем мышином горизонте.

Правда, нам и некогда; мы занимаемся гораздо важнейшими делами: мы составляем системы для общественного благоденствия, посредством которых целое общество благоденствует, а каждый из членов страдает — словно медик, который бы облепил все тело больного шпанскими мухами и стал его уверять, что от того происходит его внутреннее здоровье; мы составляем статистические таблицы — посредством которых находим, что в одной стороне, с увеличением просвещения, уменьшаются преступления, а в другой увеличиваются, — и в недоумении ломаем голову над этим очень трудным вопросом; составляем рамку нравственной философии для особенного рода существ, которые называются образами без лиц, и стараемся подтянуть под нее все лица с маленькими, средними и большими носами; мы отыскиваем средства, как бы провести целый день, не пропустив себе ни одной мысли в голову, ни одного чувства в сердце; как бы обойтиться без любви, без веры, без думанья, не двигаясь с места; словом, без всей этой фланели, от которой неловко, шерстит, беспокоит; мы ищем способа обделать так нашу жизнь, чтобы ее историю приняли на том свете за расходную книгу церковного старосты — [тому свечку, другому свечку][13] — и должно признаться, что во всем этом мы довольно успели; а в медицине? мы трудились, трудились — и открыли газы, и,

заметьте, в то самое время, когда химик Беккер убил алхимию,[14] — разобрали все металлы и соли по порядку; соединяли, соединяли, разлагали, разлагали; нашли железисто-синеродный потассий, положили его в тигель, расплавили, истолкли в порошок, прилили водохлорной кислоты, пропустили сквозь сухой хлористый кальций[15] и проч. и проч. — сколько работы! — и после всех этих трудов мы добыли наконец прелюбезную жидкость с прекрасным запахом горького миндаля, которую ученые называют водосинеродною кислотою, acide hydrocyanique, acidum borussicum, а другие acide prussique,[16] но которая во всяком случае гасит человека разом, духом — как свечу, опущенную в мефитический воздух;[17] мы даем эту жидкость нашим больным во всяких болезнях и нимало не жалеем, когда больные не выздоравливают...

Этими-то, некогда знаменитыми науками, а именно: астрологическими, хиромантическими, парфеномантическими, онеиромантическими, каббалистическими, магическими[18] и проч. и проч... я задумал, милостивый государь, заниматься, и нахожусь в твердой уверенности, что когда-нибудь сделаю открытие вроде Арнольда Виллановы! — и теперь, хотя я еще недалеко ушел в сих науках, но уж сделал весьма важное наблюдение: я узнал, какую важную ролю играет на свете философская калцинация, сублимация и дистиллация.[19]

Я расскажу вам, любезный читатель, если вы до сих пор имели терпение продраться сквозь тернистую стезю моей необъятной учености, — я расскажу вам случившееся со мной происшествие и — поверьте мне — расскажу вам сущую правду, не прибавляя от себя ни одного слова; расскажу вам то, что видел, видел, своими глазами видел...

ГЛАВА II

Каким образом сочинитель узнал, от чего в гостиных бывает душно

Я был на бале; бал был прекрасный; пропасть карточных столов, еще больше людей, еще больше свечей, а еще больше конфет и мороженого. На бале было очень весело и живо; все были заняты: музыканты играли, игроки также, дамы искали, девушки не находили кавалеров, кавалеры прятались от дам: одни гонялись за партнерами, другие кочевали из комнаты в комнату; иные сходились в кружок, сообщали друг другу собранные ими замечания о температуре воздуха и расходились; словом, у всякого было свое занятие, а между тем теснота и духота такая, что все были вне себя от восхищения. Я также был занят: к чрезвычайному моему удивлению и радости, от тесноты — или так, по случаю, — мне удалось прижать к углу какого-то господина, который только что проиграл 12 робертов[20] сряду; и я в утешение принялся рассказывать ему: о походе Наполеона в 1812 году,[21] об убиении Димитрия царевича,[22] о

монументе Минину и Пожарскому,[23] и говорил так красноречиво, что у моего слушателя от удовольствия сделались судороги и глаза его невольно стали поворачиваться со стороны на сторону; ободренный успехом, я готов уже был приступить к разбору Несторовой летописи, когда к нам приблизился почтенный старец: высокого роста, полный, но бледный, в синем фраке, с впалыми глазами, с величественным на лице выражением, — приблизился, схватил моего товарища за руку и тихо, таинственным голосом произнес: «Вы играете по пятидесяти?». Едва он произнес эти слова, как и старец в синем фраке, и мой товарищ исчезли, — а я было только завел речь о том, что Нестор списал свою летопись у Григория Арматолы...[24] Я обернулся и удивленными глазами спрашивал у окружающих объяснения сего странного происшествия...

«Как вам не совестно было, — сказал мне кто-то, — держать столько времени этого несчастного? Он искал партнера отыграться, а вы ему целый час мешали...»

Я покраснел от досады, но скоро утешил мое самолюбие, рассудив, что слова таинственного человека были не иное что, как лозунг какого-нибудь тайного общества, к которому, вероятно, принадлежал и мой приятель; признаюсь, что это открытие меня нимало не порадовало, и я, размышляя, как бы мне выпутаться из беды, и задыхаясь от жара, подошел к форточке, которую благодетельный хозяин приказал отворить прямо против растанцовавшихся дам...

К чрезвычайному моему удивлению, из отворенной форточки не шел свежий воздух, а между тем на дворе было 20 градусов мороза, — кто это мог знать лучше меня, меня, который пробежал пешком из Коломны[25] до Невского проспекта в одних башмаках? Я вознамерился разрешить этот вопрос, вытянул шею, заглянул в форточку, смотрю: что за нею светится, — огонь не огонь, зеркало не зеркало; я призвал на помощь все мои кабалистические знания, ну исчислять, расчислять, допытываться — и что же я увидел? за форточкою было выгнутое стекло, которого края, продолжаясь и вверх, и вниз, терялись из глаз; я тотчас догадался, что тут кто-то чудесит над нами; вышел в двери — то же стекло у меня перед глазами; обошел кругом всего дома, высматривал, выглядывал и открыл — что бы вы думали? — что какой-то проказник посадил весь дом, мебели, шандалы,[26] карточные столы и всю почтенную публику, и меня с нею вместе в стеклянную реторту с выгнутым носом! Это мне показалось довольно любопытно. Желая узнать, чем кончится эта проказа, я воспользовался тою минутою, когда кавалеры с дамами задремали в мазурке, вылез в форточку и осторожно спустился — на дно реторты; тут-то я узнал, от чего в гостиной было так душно! проклятый химик подвел под нас лампу и без всякого милосердия дистиллировал почтенную публику!..

ГЛАВА III

Что происходило с сочинителем, когда он попался в реторту

Долго я размышлял над сим удивительным явлением, а между тем можете себе представить, почтенный читатель, каково мне было на дне реторты, над самым жаром, — мой новый, прекрасный черный фрак начал сжиматься и слетать с меня пылью; мой чистый, тонкий батистовый галстук покрылся сажею; башмаки прогорели; вся кожа на теле сморщилась, и самого меня так покоробило, что я сделался вдвое меньше; наконец, от волос пошел дым; мозг закипел в черепе и ну выскакивать из глаз в виде маленьких пузырьков, которые лопались на воздухе; не стало мне силы терпеть эту калцинацию; возвратиться опять в комнаты уродом было бы слишком обидно для моей чистоплотной репутации; к тому же мне хотелось узнать: зачем дистиллируют почтенную публику? — вот я и решился пробраться к узкому горлу реторты; с трудом я докарабкался до него, уперся ногами и увидел сквозь тонкое стекло — кого вы думаете? Соображая в уме древние предания, я ожидал, что увижу самого господина Луцифера с большими рогами, с длинным хвостом и растянутою харею; или хотя злобного старика, с насмешливою миною, в парике, с кошельком, в сером французском кафтане и в красном плаще; или по крайней мере Мефистофеля в гишпанском костюме; или, наконец, хотя одного из тех любезных молодых людей, которых злодеи французы так хорошо рисуют на виньетках к своим романам, — в модном фраке, с большими бакенбардами, с двойным лорнетом. Нет, милостивые государи, над почтеннейшею публикою потешался — стыд сказать, — потешалось дитя; по нашему говоря, лет пяти; в маленькой курточке; без галстука; с кислою миною, с крошечными рожками и с маленьким, только что показавшимся хвостиком!..

Не обидно ли это?

Уж старые черти не удостоивают и внимания наш 19 век!

Отдают его на потеху чертенятам!

Вот до чего мы дожили с нашей паровою машиною, альманахами, атомистическою химиею,[27] пиявками, благоразумием наших дам, английскою философиею, общипанными фраками, французскою верою и с уставом благочиния наших гостиных. Досада взяла меня: я решился, призывая на помощь кабалистов всех веков и всего мира, отмстить за наш 19 век, проучить негодного мальчишку и с сим великодушным намерением сквозь узкое горло выскочил из реторты...

ГЛАВА IV

Каким образом сочинитель попал в латинский словарь и что он в нем увидел

«Суета, суета все замыслы человеческие»,[28] — говорит, — кто, бишь, говорит? — да я говорю, — не в том сила. Уж сколько лет умышляются люди, как бы на сем свете жизнию пожить, а суету в отставку выкинуть; так нет, не дается; ведь, кажется, суета не важный чиновник, а и под него умные люди умеют подкапываться. Живешь, живешь, нарахтишься, нарахтишься,[29] жить — не живешь, смерти не знаешь, умрешь — и что же останется? сказать стыдно. Неужели только? Так эти все прекрасные слова: любовь, добро, ум, все это шутка? Нет, господа, извините; уж если кто ошибся, так скорее люди, нежели кто другой. Дело-то в том, кажется, что люди так же принимаются за жизнь, как я за средство выбраться из реторты: ищем, как бы полегче; ан не тут-то было!..

Едва я показал нос из реторты, как сатаненок стиснул меня в шипцы, которыми обыкновенно энтомологи ловят мошек;[30] потом хвать меня за уши да и сунь в претолстый латинский словарь — ибо, вероятно, известно почтеннейшему читателю, что с тех пор, как некоторые черти, сидя в беснующихся, ошиблись, разговаривая по-латыни, — Луцифер строго приказал чертям основательно учиться латинскому языку; а черти — словно люди — учиться не учатся, а все-таки носятся с букварями.

Между тем мне было совсем не до латыни; проклятый дьяволенок так меня приплюснул, что во мне все косточки затрещали. Притом вообразите себе: в словаре холодно, темно, пахнет клеем, плеснью, чернилами, юфтью,[31] ниткам режет лицо, бока ломает о типографские буквы; признаюсь, что я призадумался. Долго не знал, что мне делать и что со мною будет, — горе меня взяло: еще никогда на сем свете мне так тесно не приходилось.

К счастию, латинский словарь был переплетен на английский манер, то есть с срезанным задком, — от этого нитки прорвали листы, листы распустились и между ними сделались довольно большие отверстия... вот ведь я знаю, что делаю, когда крепко-накрепко запрещаю переплетчику срезывать задки у моих книг, нет хуже этого переплета — между листов всегда может кто-нибудь прорваться.

Пользуясь невежеством чертей в переплетном деле, я ну поворачиваться со стороны на сторону и головою, словно шилом, увеличивать отверстие между листами, и наконец, к величайшему моему удовольствию, я достиг до того, что мог просунуть в отверстие голову. Едва удалось мне это сделать, как, не теряя бодрости, — ибо, издавна обращаясь с нечистою силою, чертей гораздо меньше боюся, нежели людей, — я громким голосом закричал сатаненку:

— Молод еще, брат, потешаться над почтенною публикою — еще у тебя ус не пробило...

— Да уж хороша и потеха, — отвечал негодный мальчишка, — в других местах я-таки кое-что набрал, а у вас в гостиных льдины, что ли, сидят? кажется, у вас и светло, и тепло, и пропасть свечей, и пропасть людей, а что ж на поверку? день-деньской вас варишь, варишь, жаришь, жаришь, а много-много что выскочит из реторты — наш же брат чертененок, не вытерпевший вашей скуки. Хоть бы попалась из гостиной какая-нибудь закружившаяся бабочка! и того нет, только и радости, что валит из реторты копоть да вода, вода да копоть, — индо тошно стало.

Я оставил без ответа слова дерзкого мальчишки, хотя бы мог отвечать ему сильно и убедительно, и в этом случае — виноват — поступил по чувству эгоизма, которым, вероятно, я заразился в гостиной: я заметил, что сатаненок, по обычаю всех ленивых мальчишек, навертел указкою пропасть дыр на словаре; я тотчас расчел, что мне в них будет гораздо удобнее пролезть, нежели в отверстие, оставшееся между листами, и тотчас я принялся за работу и ну протираться из страницы в страницу.

Сие многотрудное путешествие, которое можно сравнить разве с путешествиями капитана Парри[32] между льдинами океана, было мне не бесполезно; на дороге я встретился с пауком, мертвым телом, колпаком, Игошею[33] и другими любезными молодыми людьми, которых проклятый бесенок собрал со всех сторон света и заставлял разделять мою участь. Многие из этих господ от долгого пребывания в словаре так облепились словами, что начали превращаться в сказки: иной еще сохранял свой прежний образ; другой совсем превратился в печатную статью; а некоторые из них были ни то ни се: получеловек, полусказка...

Поверив друг другу свои происшествия, мы стали рассуждать о средствах избавиться от нашего заточения; я представил сотоварищам план, весьма благоразумный, а именно: пробираясь сквозь дыры, наверченные указкою, из страницы в страницу, поискать, не найдем ли подобного отверстия и в переплете, сквозь который можно было бы также пробраться тихомолком?

Но представьте себе мой ужас и удивление, когда, пока мы говорили, я почувствовал, что сам начинаю превращаться в сказку: глаза мои обратились в эпиграф, из головы понаделалось несколько глав, туловище сделалось текстом, а ногти и волосы заступили место ошибок против языка и опечаток, необходимой принадлежности ко всякой книге...

К счастию, в это время бал кончился, и гости, разъезжаясь, разбили реторту; сатаненок испугался и, схватя словарь под мышку, побежал помочь своему горю; но второпях выронил несколько листов своей дурно переплетенной книги, а с листами некоторых из своих узников — в числе коих находился и ваш покорный слуга, почтенный читатель!

На чистом воздухе я употребил все известные мне магические способы, необходимые для того, чтобы опять обратиться в человека, — не знаю, до какой степени удалось мне это; но едва я отлепился от бумаги, едва отер с себя типографские чернила, как почувствовал человеческую

натуру: схватил оброненных сатаненком моих товарищей, лежавших на земле, и, вместо того, чтобы помочь им, рассчитал, что гораздо для меня будет полезнее свернуть их в комок, запрятать в карман и, наконец — представить их на благорассмотрение почтенного читателя...





II

СКАЗКА

о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем

> Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех.
>
> *Рудый Панько в «Вечерах на хуторе»*[1]

По торговым селам Реженского уезда было сделано от земского суда следующее объявление:

«От Реженского земского суда объявляется, что в ведомстве его, на выгонной земле деревни Морковкиной-Наташино тож, 21-го минувшего ноября найдено неизвестно чье мертвое мужеска пола тело, одетое в серый суконный ветхий шинель; в нитяном кушаке, жилете суконном красного и отчасти зеленого цвета, в рубашке красной пестрядинной;[2] на голове картуз из старых пестрядинных тряпиц с кожаным козырьком; от роду покойному около 43 лет, росту 2 арш. 10 вершков, волосом светло-рус, лицом бел, гладколиц, глаза серые, бороду бреет, подбородок с проседью, нос велик и несколько на сторону, телосложения слабого. По чему сим объявляется: не окажется ли оному телу бывших родственников или владельца оного тела; таковые благоволили бы уведомить от себя в село Морковкино-Наташино тож, где и следствие об оном, неизвестно кому принадлежащем теле производится; а если таковых не найдется, то и о том благоволили б уведомить в оное же село Морковкино».

Три недели прошло в ожидании владельцев мертвого тела; никто не являлся, и наконец заседатель с уездным лекарем отправились к помещику села Морковкина в гости; в выморочной избе[3] отвели квартиру приказному Севастьянычу, также прикомандированному на следствие. В той же избе, в заклети,[4] находилось мертвое тело, которое назавтра суд собирался вскрыть и похоронить обыкновенным порядком. Ласковый помещик, для утешения Севастьяныча в его уединении, прислал ему с барского двора гуся с подливой да штоф домашней желудочной настойки.

Уже смеркалось. Севастьяныч, как человек аккуратный, вместо того чтоб, по обыкновению своих собратий, взобраться на полати возле только что истопленной и жарко истопленной печи, рассудил за благо заняться приготовлением бумаг к завтрашнему заседанию, по тому более уважению, что хотя от гуся осталися одни кости, но только четверть штофа была опорожнена; он предварительно поправил светильню в железном ночнике, нарочито для подобных случаев хранимом старостою села Морковкина, — и потом из кожаного мешка вытащил старую замасленную тетрадку. Севастьяныч не мог на нее посмотреть без умиления: то были выписки из различных указов, касающихся до земских дел, доставшиеся ему по наследству от батюшки, блаженной памяти подьячего с приписью,[5] — в городе Реженске за ябеды, лихоимство и непристойное поведение отставленного от должности, с таковым, впрочем, пояснением, чтобы его впредь никуда не определять и просьб от него не принимать, — за что он и пользовался уважением всего уезда. Севастьяныч невольно вспоминал, что эта тетрадка была единственный кодекс, которым руководствовался Реженский земский суд в своих действиях; что один Севастьяныч мог быть истолкователем таинственных символов этой Сивиллиной книги;[6] что посредством ее магической силы он держал в повиновении и исправника, и заседателей и заставлял всех жителей околотка прибегать к себе за советами и наставлениями; почему он и берег ее как зеницу ока, никому не показывал и вынимал из-под спуда только в случае крайней надобности; с усмешкою он останавливался на тех страницах, где частию рукою его покойного батюшки и частию его собственною были то замараны, то вновь написаны разные незначащие частицы, как-то: *не*, *а*, *и* и проч., и естественным образом Севастьянычу приходило на ум: как глупы люди и как умны он и его батюшка.

Между тем он опорожнил вторую четверть штофа и принялся за работу; но пока привычная рука его быстро выгибала крючки на бумаге, его самолюбие, возбужденное видом тетрадки, работало: он вспоминал, сколько раз он перевозил мертвые тела на границу соседнего уезда и тем избавлял своего исправника от излишних хлопот; да и вообще: составить ли определение, справки ли навести, подвести ли законы, войти ли в сношение с просителями, рапортовать ли начальству о невозможности исполнить его предписания, — везде и на все Севастьяныч; с улыбкою воспоминал он об изобретенном им средстве: всякий повальный обыск обращать в любую сторону; он вспоминал, как еще недавно таким невин-

ным способом он спас одного своего благоприятеля: этот благоприятель сделал какое-то дельце, за которое он мог бы легко совершить некоторое не совсем приятное путешествие; учинен допрос, наряжен повальный обыск, — но при сем случае Севастьяныч надоумил спросить прежде всех одного грамотного молодца с руки его благоприятелю; по словам грамотного молодца написали бумагу, которую грамотный молодец, перекрестяся, подписал, а сам Севастьяныч приступил к одному обывателю, к другому, к третьему с вопросом: «И ты тоже, и ты тоже?» — да так скоро начал перебирать их, что, пока обыватели еще чесали за ухом и кланялись, приготовляясь к ответу, — он успел их переспросить всех до последнего, и грамотный молодец снова, за неумением грамоты своих товарищей, подписал, перекрестяся, их единогласное показание. С не меньшим удовольствием вспоминал Севастьяныч, как при случившемся значительном начете на исправника он успел вплести в это дело человек до пятидесяти, начет разложить на всю братию, а потом всех и подвести под милостивый манифест. Словом, Севастьяныч видел, что во всех знаменитых делах Реженского земского суда он был единственным виновником, единственным выдумщиком и единственным исполнителем; что без него бы погиб заседатель, погиб исправник, погиб и уездный судья, и уездный предводитель; что им одним держится древняя слава Реженского уезда, — и невольно по душе Севастьяныча пробежало сладкое ощущение собственного достоинства. Правда, издали — как будто из облаков — мелькали ему в глаза сердитые глаза губернатора, допрашивающее лицо секретаря уголовной палаты; но он посмотрел на занесенные метелью окошки; подумал о трехстах верстах, отделяющих его от сего ужасного призрака; для увеличения бодрости выпил третью четверть штофа — и мысли его сделались гораздо веселее: ему представился его веселый реженский домик, нажитый своим умком; бутыли с наливкою на окошке между двумя бальзаминными горшками; шкап с посудою и между нею в средине на почетном месте хрустальная на фарфоровом блюдце перешница; вот идет его полная белолицая Лукерья Петровна; в руках у ней сдобный крупичатый каравай; вот телка, откормленная к Святкам,[7] смотрит на Севастьяныча; большой чайник с самоваром ему кланяется и подвигается к нему; вот теплая лежанка, а возле лежанки перина с камчатным одеялом,[8] а под периною свернутый лоскут пестрядки, а в пестрядке белая холстинка, а в холстинке кожаный книжник, а в книжнике серенькие бумажки; — тут воображение перенесло Севастьяныча в лета его юности: ему представилось его бедное житье-бытье в батюшкином доме; как часто он голодал от матушкиной скупости; как его отдали к дьячку учиться грамоте, — он от души хохотал, вспоминая, как однажды с товарищами забрался к своему учителю в сад за яблоками и напугал дьячка, который принял его за настоящего вора; как за то был высечен и в отмщение оскоромил своего учителя в самую Страстную пятницу,[9] потом представлялось ему: как наконец он обогнал всех своих сверстников и достиг до того, что читал Апостол в приходской церкви,[10] начиная самым густым басом и кончая самым тоненьким голоском, на удивление

всему городу; как исправник, заметив, что в ребенке будет прок, приписал его к земскому суду; как он начал входить в ум; оженился с своею дражайшею Лукерьей Петровной; получил чин губернского регистратора,[11] в коем и до днесь пребывает да добра наживает; сердце его растаяло от умиления, и он на радости опорожнил и последнюю четверть обворожительного напитка. Тут пришло Севастьянычу в голову, что он не только что в приказе, но хват на все руки: как заслушиваются его, когда он под вечерок, в веселый час, примется рассказывать о Бове Королевиче, о похождениях Ваньки Каина, о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим,[12] — неумолкаемые гусли, да и только! — и Севастьяныч начал мечтать: куда бы хорошо было, если бы у него была сила Бовы Королевича и он бы смог кого за руку — у того рука прочь, кого за голову — у того голова прочь; потом захотелось ему посмотреть, что за Кипрский такой остров есть, который, как описывает Коробейников, изобилен деревянным маслом и греческим мылом, где люди ездят на ослах и на верблюдах, и он стал смеяться над тамошними обывателями, которые не могут догадаться запрягать их в сани; тут начались в голове его рассуждения: он нашел, что или в книгах неправду пишут, или вообще греки должны быть народ очень глупый, потому что он сам расспрашивал у греков, приезжавших на реженскую ярмарку с мылом и пряниками, и которым, кажется, должно было знать, что́ в их земле делается, — зачем они взяли город Трою, — как именно пишет Коробейников, — а Царьград уступили туркам,[13] и никакого толку от этого народа не мог добиться: что за Троя такая, греки не могли ему рассказать, говоря, что, вероятно, выстроили и взяли этот город в их отсутствие; пока он занимался этим важным вопросом, пред глазами его проходили: и арабские разбойники, и Гнилое море,[14] и процессия погребения кота,[15] и палаты царя Фараона, внутри все вызолоченные,[16] и птица Строфокамил,[17] вышиною с человека, с утиною головою, с камнем в копыте...

Его размышления были прерваны следующими словами, которые кто-то проговорил подле него:

— Батюшка, Иван Севастьяныч! я к вам с покорнейшею просьбою.

Эти слова напомнили Севастьянычу его ролю приказного, и он, по обыкновению, принялся писать гораздо скорее, наклонил голову как можно ниже и, не сворачивая глаз с бумаги, отвечал протяжным голосом:

— Что вам угодно?

— Вы от суда вызываете владельцев поднятого в Морковкине мертвого тела.

— Та-ак-с.

— Так изволите видеть — это тело мое.[18]

— Та-ак-с.

— Так нельзя ли мне сделать милость, поскорее его выдать?

— Та-ак-с.

— А уж на благодарность мою надейтесь...

— Та-ак-с. — Что же покойник-та, крепостной, что ли, ваш был?..

— Нет, Иван Севастьяныч, какой крепостной, это тело мое, собственное мое...

— Та-ак-с.

— Вы можете себе вообразить, каково мне без тела. Сделайте одолжение, помогите поскорее.

— Все можно-с, да трудновато немного скоро-то это дело сделать, — ведь оно не блин, кругом пальца не обвернешь; справки надобно навести, кабы подмазать немного...[19]

— Да уж в этом не сомневайтесь, — выдайте лишь только мое тело, а то я и пятидесяти рублей не пожалею...

При сих словах Севастьяныч поднял голову, но, не видя никого, сказал:

— Да войдите сюда, что на морозе стоять.

— Да я здесь, Иван Севастьяныч, возле вас стою.

Севастьяныч поправил лампадку, протер глаза, но, не видя ничего, пробормотал:

— Тьфу, к черту! — да что я, ослеп, что ли? — я вас не вижу, сударь.

— Ничего нет мудреного! как же вам меня видеть без тела?

— Я, право, в толк не войду вашей речи, дайте хоть взглянуть на себя.

— Извольте, я могу вам показаться на минуту... только мне это очень трудно...

И при сих словах в темном углу стало показываться какое-то лицо без образа; то явится, то опять пропадет, словно молодой человек, в первый раз приехавший на бал, — хочется ему подойти к дамам и боится, выставит лицо из толпы и опять спрячется...

— Извините-с, — между тем говорил голос, — сделайте милость, извините, вы не можете себе вообразить, как трудно без тела показываться! Сделайте милость, отдайте его мне поскорее, — говорят вам, что пятидесяти рублей не пожалею.

— Рад вам служить, сударь, но, право, в толк не возьму ваших речей... есть у вас просьба?..

— Помилуйте, какая просьба? как мне было без тела ее написать? уж сделайте милость, вы сами потрудитесь.

— Легко сказать, сударь, потрудиться, говорят вам, что я тут ни черта не понимаю...

— Уж пишите только, — я вам буду сказывать.

Севастьяныч вынул лист гербовой бумаги.

— Скажите, сделайте милость: есть ли у вас по крайней мере чин, имя и отчество?

— Как же? Меня зовут Цвеерлей-Джон-Луи.

— Чин ваш, сударь?

— Иностранец.

И Севастьяныч написал на гербовом листе крупными словами:

«В Реженский земский суд от иностранного недоросля из дворян Савелия Жалуева, объяснение».

— Что ж далее?

— Извольте только писать, я уж вам буду сказывать; пишите: имею я...

— Недвижимое имение, что ли? — спросил Севастьяныч.

— Нет-с: имею я несчастную слабость...

— К крепким напиткам, что ли? о, это весьма непохвально...

— Нет-с: имею я несчастную слабость выходить из моего тела...

— Кой черт! — вскричал Севастьяныч, кинув перо, — да вы меня морочите, сударь!

— Уверяю вас, что говорю сущую правду, пишите, только знайте: пятьдесят рублей вам за одну просьбу да пятьдесят еще, когда выхлопочете дело...

И Севастьяныч снова принялся за перо.

«Сего 20 октября ехал я в кибитке, по своей надобности, по реженскому тракту, на одной подводе, и как на дворе было холодно, и дороги Реженского уезда особенно дурны...»

— Нет, уж на этом извините, — возразил Севастьяныч, — этого написать никак нельзя, это личность, а личности в просьбах помещать указами запрещено...

— По мне, пожалуй; ну, так просто: на дворе было так холодно, что я боялся заморозить свою душу, да и вообще мне так захотелось скорее приехать на ночлег... что я не утерпел... и, по своей обыкновенной привычке, выскочил из моего тела...

— Помилуйте! — вскричал Севастьяныч.

— Ничего, ничего, продолжайте; что ж делать, если такая у меня привычка... ведь в ней ничего нет противузаконного, не правда ли?

— Та-ак-с, — отвечал Севастьяныч, — что ж далее?

— Извольте писать: выскочил из моего тела, уклал его хорошенько во внутренности кибитки... чтобы оно не выпало... связал у него руки вожжами и отправился на станцию... в той надежде, что лошадь сама прибежит на знакомый двор...

— Должно признаться, — заметил Севастьяныч, — что вы в сем случае поступили очень неосмотрительно.

— Приехавши на станцию, я взлез на печку отогреть душу... и когда, по расчислению моему... лошадь должна была возвратиться на постоялый двор... я вышел ее проведать, но, однако же, во всю ту ночь ни лошадь, ни тело не возвращались... На другой день утром я поспешил на то место, где оставил кибитку... но уже и там ее не было... полагаю, что бездыханное тело мое от ухабов выпало из кибитки и было поднято проезжавшим исправником, а лошадь уплелась за обозами... После трехнедельного тщетного искания я, уведомившись ныне о объявлении Реженского земского суда, коим вызываются владельцы найденного тела... покорнейше прошу оное мое тело мне выдать, яко законному своему владельцу... при чем присовокупляю покорнейшую просьбу, дабы благоволил вышеописанный суд сделать распоряжение... оное тело мое предварительно опустить в холодную воду, чтобы оно отошло... если же от случившегося падения есть в том часто упоминаемом теле какой-либо

изъян... или оное от морозу где-либо попортилось... то оное чрез уездного лекаря приказать поправить на мой кошт и о всем том учинить, как законы повелевают, в чем и подписуюсь...

— Ну, извольте же подписывать, — сказал Севастьяныч, окончивши бумагу.

— Подписывать! легко сказать! говорят вам, что у меня теперь со мною рук нету — они остались при теле; подпишите вы за меня, что за неимением рук...

— Нет! извините, — возразил Севастьяныч, — эдакой и формы нет, а просьб, писанных не по форме, указами принимать запрещено; если вам угодно: за неумением грамоты...

— Как заблагорассудите! по мне все равно.

И Севастьяныч подписал: «К сему объяснению за неумением грамоты, по собственной просьбе просителя, губернский регистратор Иван Севастьянов сын Благосердов руку приложил».

— Чувствительнейше вам обязан, почтеннейший Иван Севастьянович! Ну, теперь вы похлопочите, чтоб это дело поскорее решили, — не можете себе вообразить, как неловко быть без тела!.. а я сбегаю покуда повидаться с женою... будьте уверены, что я уже вас не обижу...

— Постойте, постойте, ваше благородие! — вскричал Севастьяныч, — в просьбе противоречие... Как же вы без рук уклались... или уклали в кибитке свое тело?... Тьфу к черту, ничего не понимаю.

Но ответа не было. Севастьяныч прочел еще раз просьбу, начал над нею думать, думал, думал...

Когда он проснулся, ночник погас и утренний свет пробивался сквозь обтянутое пузырем окошко. С досадою взглянул он на пустой штоф, пред ним стоявший... эта досада выбила у него из головы ночное происшествие; он забрал свои бумаги не посмотря и отправился на барский двор в надежде там опохмелиться.

Заседатель, выпив рюмку водки, принялся разбирать Севастьянычевы бумаги и напал на просьбу иностранного недоросля из дворян...

— Ну, брат Севастьяныч, — вскричал он, прочитав ее, — ты вчера на сон грядущий порядком подтянул; экую околесную нагородил... Послушайте-ка, Андрей Игнатьевич, — прибавил он, обращаясь к уездному лекарю, — вот нам какого просителя Севастьяныч предоставил. — И он прочел уездному лекарю курьезную просьбу от слова до слова, помирая со смеху.

— Пойдемте-ка, господа, — сказал он наконец, — вскроемте это болтливое тело, да если оно не отзовется, так и похороним его подобру-поздорову, в город пора.

Эти слова напомнили Севастьянычу ночное происшествие, и как оно ни странно ему казалось, но он вспомнил о пятидесяти рублях, обещанных ему просителем, если он выхлопочет ему тело, и сурьезно стал требовать от заседателя и лекаря, чтоб тело не вскрывать, потому что этим можно его перепортить, так что оно уже никуда не будет годиться, а просьбу записать во входящий обыкновенным порядком.

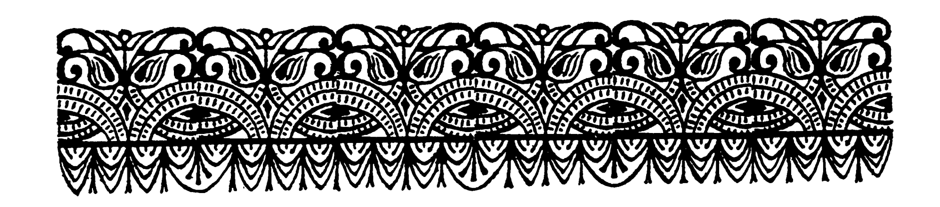
Само собою разумеется, что на это требование Севастьянычу отвечали советами протрезвиться, тело вскрыли, ничего в нем не нашли и похоронили.

После сего происшествия мертвецова просьба стала ходить по рукам; везде ее списывали, дополняли, украшали, читали, и долго реженские старушки крестились от ужаса, ее слушая.

Предание не сохранило окончания сего необыкновенного происшествия: в одном соседнем уезде рассказывали, что в то самое время, когда лекарь дотронулся до тела своим бистурием,[20] владелец вскочил в тело, тело поднялось, побежало и что за ним Севастьяныч долго гнался по деревне, крича изо всех сил: «Лови, лови покойника!»

В другом же уезде утверждают, что владелец и до сих пор каждое утро и вечер приходит к Севастьянычу, говоря: «Батюшка Иван Севастьяныч, что ж мое тело? когда вы мне его выдадите?» — и что Севастьяныч, не теряя бодрости, отвечает: «А вот собираются справки». Тому прошло уже лет двадцать.





III

ЖИЗНЬ И ПОХОЖДЕНИЯ ОДНОГО ИЗ ЗДЕШНИХ ОБЫВАТЕЛЕЙ В СТЕКЛЯННОЙ БАНКЕ, ИЛИ НОВЫЙ ЖОКО

(Классическая повесть)

Il n'est point serpent, ni de monstre
odieux,
Qui par l'art imité, ne puisse plaire
aux yeux.

Boileau

Змеи, чудовища, все гнусные
созданья
Пленяют часто нас в искусствах
подражанья.

Перевод графа Хвостова[1]

«...Что касается до меня, — сказал мне один из любезных молодых людей, — то все ваши несчастия — ничто перед моими. Великая важность, что вы попали в словарь! Сколько млекопитающихся желали бы добиться этой чести. Мне так, напротив, здесь очень хорошо: я так пообтерся о печатные листы, что, сказать без самолюбия, я никак не променяю теперешнего моего образа на прежний. Не будь я сказкою, я бы ввек не понял, что со мною случилось; теперь, по крайней мере, волею-неволею я должен ясно понимать все обстоятельства моей жизни, быть готовым каждому отдать в ней отчет, а это, право, не безделица. Вы горюете, господа, о том, что попались в словарь! Что бы сказали, когда б, подобно мне, вы попались в стеклянную банку и подвергнулись бы опасности быть съедену собственным вашим родителем? Не удивляйтесь, господа, я рассказываю сущую правду.

Но прежде, нежели я приступлю к повествованию, я должен изъяснить вам мое недоумение о предмете, которого я и до сих пор не постигаю:

зачем вы, господа человеки, терпите посреди себя злодеев, которые только и дела делают, что снимают черепа, разбирают мозг, растягивают сердце на булавочках, обрывают ноги, — злодеи, которых вы называете природонаблюдателями, естествоиспытателями, энтомологами и проч. т. п. Зачем эти господа? Зачем их холодные преступления? На какую пользу? Я до сих пор этого постичь не могу.

Вы улыбаетесь — вы как будто хотите сказать, что я не пойму ваших объяснений. Так и быть — я и на то согласен...

Слушайте ж:

Я происхожу от рода древнего и знаменитого Арахнидов или Аранеидов,[2] ибо до сих пор наши летописцы спорят о нашем наименовании. Существует предание, что мы род свой ведем от крокодилов; египетские гиероглифы, где нас или наших единоплеменников изображают вместе с нашими праотцами и творения Элиана,[3] могут служить вам в том порукою; вообще мы играли важную ролю в древности: знаменитая Лидийская жена, гонимая Минервою, приняла наш образ; Аристотель описывал наши древние битвы с ящерицами;[4] Демокрит уверял, что мы употребляем наши сети, как дикобраз свои иглы;[5] Плиний свидетельствовал, что достаточно двух насекомых, находящихся в нашей внутренности, для того чтобы истребить человека прежде его рождения,[6] и такова наша важность в природе, что над нашими колыбелями долго спорили ученые, называть ли их nymphae oviformes![7]

Семейство наше принадлежит к славной фамилии Ктенизов,[8] и отец мой назывался *Ликос*[9] — слово, которого высокое значение вы должны понять, если знаете по-гречески. Для наших обиталищ мы роем в земле глубокие пещеры; ко входу укрепляем камни и дерево, которые гордо поворачиваются на своих вереях,[10] — от нас люди заняли то, что они называют дверями. Сверх того, говоря красноречивыми устами наших биографов, природа дала нам: два четыресоставные кусательные острия, челюсти зубчатые, снабженные когтиком, но что всего важнее, одарила нас проворством, хитростию, силою мышц и неукротимою храбростию. Увы! может быть, в ней она положила зародыш и нашего злополучия!

С самых юных лет я боялся отца моего; его грозный вид, его жестокосердие устрашали меня; каждый взгляд его, казалось, грозил мне погибелью; матери моей давно уже не было; все братья мои стали жертвою его естественной лютости; уцелел один я, ибо мне удалось убежать из отеческого дома; я скрылся среди диких дебрей моей отчизны и часто, среди густых кустарников, с трепетом смотрел, как отец мой раскидывал сети пернатым, с каким искусством он заманивал их или с какою жадностию истреблял себе подобных. Между тем мне надобно было помыслить о своем пропитании; я решился, по примеру отца, сделаться охотником, расставлять сети; природа помогла мне: слабыми мышцами я натянул верви, притаился, и мне посчастливилось; пернатые, хотя изредка, но попадались ко мне; я питался ими. Так протекло долгое время, несколько уже раз светлое теплое лето уступало место мрачной, холодной зиме и снова явилось и согревало мое жилище; я возмужал;

пламенные страсти начали волновать меня, и я стал искать себе подруги. Природа, моя руководительница, совершила мое желание; я нашел подругу; взаимная любовь укрепила связь нашу; мы быстро пробегали с нею высокие скалы, на легких вервиях спускались в пропасти, вместе расставливали сети, вместе ловили пернатых и весело разделяли последнюю каплю росы, посылаемой небом; вскоре я увидел необходимость увеличить мое жилище, далее раскидывать сети: уже подруга моя чувствовала себя беременною, она уже боялась оставлять свое жилище, и я один должен был доставлять ей пищу; с какою радостию ходил я на охоту; природная ловкость и хитрость, казалось, во мне увеличились; я презирал опасности, смело нападал на врагов наших, и во время зимы, когда небо темно и когда тягостный сон налагал цепи на всех обитателей моей отчизны, я в темном гнезде благословлял Природу. Но увы! недолго продолжалось это блаженство. Скоро наступили тяжкие времена! Молва о могуществе и лютости отца моего ежедневно увеличивалась; уже почти все соседи мои или сделались его жертвою, или оставили родину; каждый день владения отца моего распространялись; от природы быстрый и сильный, он взлезал на высокие скалы, внимательным глазом осматривал все окружающее и как молния ниспадал на свою добычу. Уже отец мой приближался к моему жилищу; уже часто сети отца моего касались моих сетей и стопы его потрясали мое убежище. Я в ужасе не оставлял ни на минуту моей подруги: к счастию, отец еще не приметил ее; но, к величайшему моему прискорбию, часто он выхватывал добычу, попавшуюся в мои сети, и вместо прежней обильной пищи я принужден был разделять лишь голод с моею подругою. Еще я скрывал от нее весь ужас нашей участи; терпеливо сносил, когда она упрекала меня в бездействии, когда умоляла меня утолить ее голод; но, наконец, силы ее стали истощеваться; бледность начала разливаться по ней, все мышцы ее пришли в оцепенение... в грусти я вышел из моего жилища — вижу: сеть шевелится, еще — уже в мыслях ловлю добычу, несу к моей возлюбленной, утоляю и ее, и свой голод... таюсь, быстро бросаюсь к своей цели... что же? отец пожирает добычу, мне принадлежащую! Отчаяние овладело мною; в порыве мщения я решился сразиться с врагом моим, несмотря на превосходство его силы, но в ту минуту мысль о подруге — необходимой жертве врага после моей погибели, эта мысль поразила меня; я удержал себя и скрепя сердце смотрел, как отец мой утолил свой голод, изорвал сеть, мною раскинутую, и гордый, спокойный возвратился в свои владения. Между тем новые намерения родились в голове моей.

Близ нашей родины находилась ужасная пропасть; границы ее терялись в отдалении, и глубины ее никто еще не решался измерить; видно однако же было, что огромные камни покрывали дно ее, и мутный источник шумел между ними; некоторые смельчаки решались спускаться в сию пропасть, но все они пропали без вести, и носилась молва, что их всех унес поток в своем стремлении. Несмотря на то, один из моих соседей, по природе любивший путешествовать, рассказывал мне, что за этою пропастью есть не только страны, подобные нашей, но что близко

их есть еще другие, совсем от наших отличные, где царствует вечное лето и где дичи так много, что сетей почти не для чего раскидывать. До сих пор я считал рассказы моего соседа баснею и совсем было забыл о них; но в сию минуту они пришли мне в голову; что же, подумал я, везде гибель неминуемая: или будем жертвою гневного врага, или умрем с голода — это верно; страшно и неизвестное — но в нем есть всегда какой-то призрак надежды, испытаем! Сказано — сделано; я прицепил легкую вервь к вершине скалы и принялся спускаться; скоро достиг я другой скалы, которая служила подножием первой, и к ней также прицепил веревку, потом к третьей; наконец, уже не было скал подо мною, я качался между небом и землею и, несмотря на подымавшийся ветер, любопытным взором осматривал все, меня окружающее; уже близко был я к земле; видел, как водяное море протекало между морем камней, и приметил, что в одном месте удобно было переправиться чрез него на другую сторону, где, как мне казалось, зеленелись такие же роскошные стремнины, как и в моей родине. Надежда моя возросла, и радость взволновала сердце, как вдруг веревка моя сильно закачалась, это удивило меня, быстро поднялся я наверх и что же увидел? — отец мой гнался за моей подругой; в мое отсутствие он заметил ее, воспылал к ней преступною страстию! Несчастная собрала последние силы и, увидев веревку, опущенную в пропасть, решилась по ней спуститься; я поспешил ей помочь, уже мы были на половине пути, как вдруг дунул порывистый ветер, вервь оборвалась, и я очутился в бурном потоке; к счастию, берег был близко, и я, несмотря на ослабевшие мои силы, выбрался на сушу; минута собственной опасности заставила меня позабыть о моей подруге — эта минута прошла, грусть и недоумение сжали мое сердце. Где найти мою подругу, где найти мое пепелище? Между тем вдруг солнце затмилось, гляжу: две — не знаю, как назвать, — две движущиеся горы надо мною; небольшие рытвины, расположенные полукружием, покрывали их, и во внутренности с шумом переливалась какая-то красноватая жидкость; они приближаются, я слышу мерные удары какого-то молота, на меня пашет жар, отличный от солнечного; я сжат между двумя горами; не знаю, что было со мною в эту минуту, ибо я потерял чувства; когда же опомнился, то увидел себя в каком-то странном жилище, которого великолепие тщетно я бы хотел изобразить вам.

Вокруг меня были блестящие, прозрачные стены; в первую минуту мне показалось, что то были слившиеся капли росы; но они составлены были частию из кристальных колонн, самых разнообразных, частию из шаров, наполненных воздухом, но столь плотно и искусно сжатых, что между ними едва заметны были отверстия; вскоре солнце осветило мое жилище; тьмочисленные краски заиграли на кристаллах; переливались радужные цветы и, отражаясь на поверхности моего тела, беспрестанно производили во мне новые, разнообразные, сладкие ощущения! Как описать это величественное зрелище! Еще прежде я любил смотреть, когда солнце порождало цветы на каплях росы, но никогда я не мог вообразить, чтобы лучей его достало украсить столь обширное жилище, какова была моя темница.

Темница, — сказал я. Так! Несмотря на все великолепие, меня окружавшее, я все думал о прежнем моем жилище, о моей подруге, о моей независимости. Хватаясь за оконечности кристаллов, привязывая к ним верви, я хотя с трудом, но добрался до половины стены — вдруг что-то зашумело над моею головою; новое чудо! — стадо пернатых влетело в мое жилище. С новым усилием я продолжал подниматься, желая найти то отверстие, в которое влетели пернатые; «вокруг меня сплошные стены, — думал я, — это отверстие должно находиться вверху!» Но что увидел я, достигши потолка? Он был не что иное, как сбор произведений почти из всех царств Природы, соединенных между собою почти так же, как мы соединяем верви сетей. Я не мог довольно надивиться искусству того существа, которое составило эту ткань; в ней видны были остатки растений, остатки насекомых, минералы, все это держалось чудною связью; каких усилий, каких трудов было надобно, чтобы не только укрепить это все между собою, но даже собрать с разных концов вселенной. Всего удивительнее показалось мне то, что эта ткань плотно прилегала к кристаллу, но, однако, не была к нему привязана.

Лишь здесь удалось мне объяснить себе, для какого употребления могла быть эта чудная ткань; но и здесь еще я спрашиваю самого себя: эта драгоценная ткань, несмотря на все свое великолепие, может ли быть столь же полезна, как наши сети? — и не один я; я знаю: многие люди еще не решили этого вопроса.

Не нашед отверстия, я опустился вниз и, видя невозможность вырваться из моей темницы, решился в ожидании удобного к тому случая воспользоваться дарами судьбы или мощного волшебника, пославшего мне пернатых. К счастию, мне это не стоило большого труда; все они были весьма слабы и не попадали, а падали в сети, которые я расставлял им.

Так прошло долгое время, солнце уже начинало скрываться, я приготовлял себе теплый угол на время зимы; но как изобразить мое удивление? Едва сокрылось солнце, как явилось другое. Признаюсь, трепет обнял меня, когда я подумал, до какой степени может простираться власть чародеев! Вызвать свое солнце — как бы в насмешку над светилом Природы! Превратить ее порядок! до сих пор я не могу вспомнить об этом без ужаса! Правда, это волшебное солнце только светом напоминало о настоящем; не было у него теплоты; но, несмотря на то, оно так же, как настоящее, раскрашивало стены кристаллов, меня окружавшие.

В то время, как я рассматривал это чудное явление, послышался далекий гром. Ну, думал я, он разразит чародея за его преступления, разрушит мою темницу, и я восторжествую...

Чрез мгновение я заметил, что этот гром был действие самого чародейства; он не походил на обыкновенный гром Природы, ибо продолжался беспрерывно; между тем жилище мое трепетало; не только каждый кристалл отзывался внешним звукам, но даже вервь, на которой я находился, звучала; доселе я не могу себе объяснить этого странного действия: вероятно, чародей, во власти которого я находился, совершал в это время какое-либо столь страшное таинство, что все предметы, им сотво-

ренные, вторили его заклинаниям; еще более уверяет меня в этом то, что трепет окружавших меня предметов и на меня распространился; мало-помалу все мои мышцы стали приходить в движение; чувство, подобное чувству любви, меня взволновало; невидимая сила приковала к тому месту, где были слышнее звуки, и на меня нашло сладкое самозабвение; не знаю, долго ли продолжалось это состояние; когда я опомнился, тогда уже чародейская сила иссякла; звуки умолкли, ложное солнце погасло, и мрак облекал всю Природу.

Однажды, когда светило дня сияло во всем блеске и жар его усиливался, проходя сквозь шары, находившиеся в стенах моей темницы, снова я услышал шум, потолок приподнялся — и как выразить мое восхищение? Я увидел мою подругу, мое гнездо; оставляю сердцам чувствительным дополнить, что я чувствовал в эту минуту; темница мне показалась чистой, свободной равниной — и я, может быть, только в сию минуту оценил вполне ее великолепие; но недолго продолжался мой восторг — снова потолок зашевелился, и — о ужас! — мой отец спустился в мою темницу.

С сего времени начались мои бедствия; в великолепном замке негде было укрыться от отца моего; пока еще были пернатые, я был спокоен; но известна жадность отца моего; скоро он истребил всех пернатых; новых не являлось на их место; голод представился нам со всеми терзаниями. К величайшей горести, я в то же время сделался отцом многочисленного семейства, потребности увеличились. Рассказывать ли все ужасы нашего положения? Уже многие из детей моих сделались жертвою отца моего; в страхе, полумертвые, бродили мы с моею подругою по великолепным кристаллам; наконец, природа превозмогла! Однажды — уже мрак начинал распространяться — вдруг я замечаю, что нет со мною подруги, собираю последние силы, обхожу замок и — увы! — в отдаленном углу подруга моя пожирает собственное детище! В ту минуту все чувства вспылали во мне: и гнев, и голод, и жалость, все соединилось, и я умертвил и пожрал мою подругу.

После одного преступления другие уже кажутся легкими: вместе с отцом моим мы истребили все, что было живого в темнице; наконец, мы встретились с ним на трепещущем теле моего последнего сына; мы взглянули друг на друга, измерили свои силы, готовы были броситься на смертную битву... как вдруг раздался страшный треск, темница моя разлетелась вдребезги, и с тех пор я не видал более отца моего...

Что скажете? — моя повесть не ужаснее ли повести Эдипа, рассказов Энея?[11]

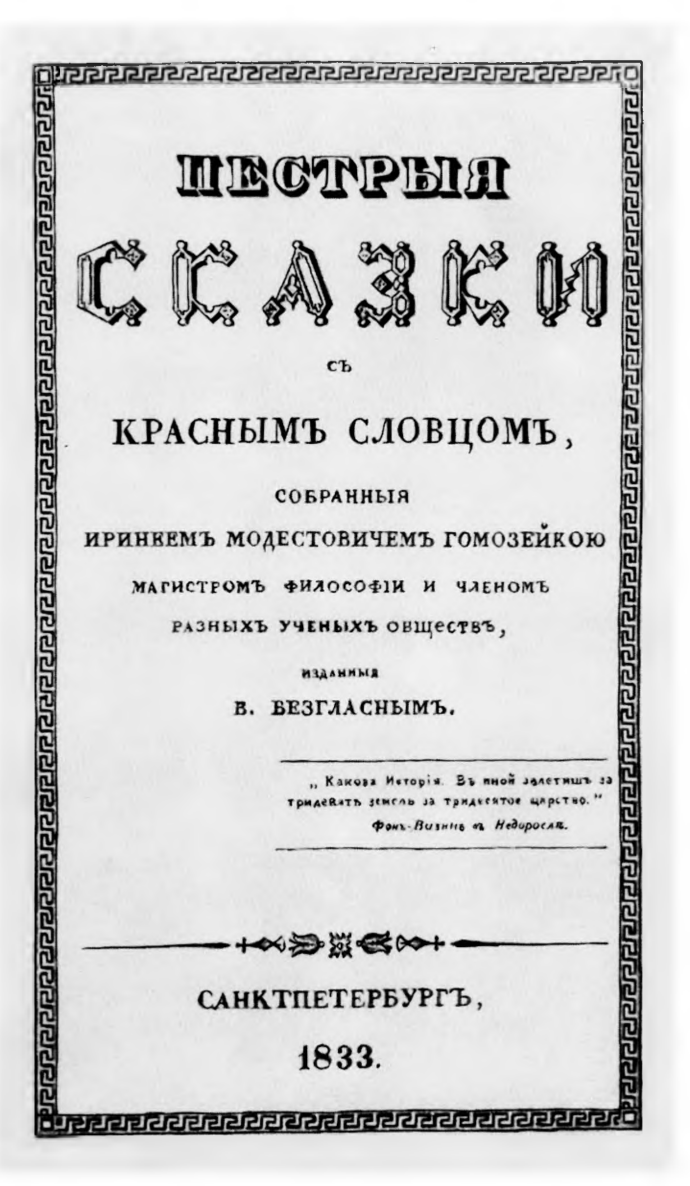
Но вы смеетесь, вы не сострадаете моим бедствием!

Слушайте ж, гордые люди! Отвечайте мне, вы сами уверены ли, убеждены ли вы, как в математической истине, что ваша земля — земля, а что вы — люди? Что, если ваш шар, который вам кажется столь обширным, на котором вы гордитесь и своими высокими мыслями, и смелыми изобретениями, — что, если вся эта спесивая громада не иное

что, как гнездо неприметных насекомых на какой-нибудь другой земле? Что, если исполинам, на ней живущим, вздумается делать над вами — как надо мною — физические наблюдения, для опыта морить вас голодом, а потом прехладнокровно выбросить и вас, и земной шар за окошко? Изрытыми горами вам покажутся их пальцы, морем их канавка, годом — их день, свечка — волшебным солнцем, великолепным замком — банка, покрытая бумагой, смиренно стоящая на окне и в которой вы, по тонкости своего взора, заметите то, чего исполины не замечают.[12] А, господа! что вы на это скажете?..»

Господин Ликос замолчал — не знаю, что подумали другие, но меня до смерти испугали его вопросы; испугали больше, нежели пугают гг. критики, которым я смело отдаю на съедение моего мохноногого героя — пусть они себе кушают его на здоровье!





ПЕСТРЫЯ

СКАЗКИ

съ

КРАСНЫМЪ СЛОВЦОМЪ,

СОБРАННЫЯ

ИРИНЕЕМЪ МОДЕСТОВИЧЕМЪ ГОМОЗЕЙКОЮ

МАГИСТРОМЪ ФИЛОСОФІИ И ЧЛЕНОМЪ

РАЗНЫХЪ УЧЕНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ,

изданныя

В. БЕЗГЛАСНЫМЪ.

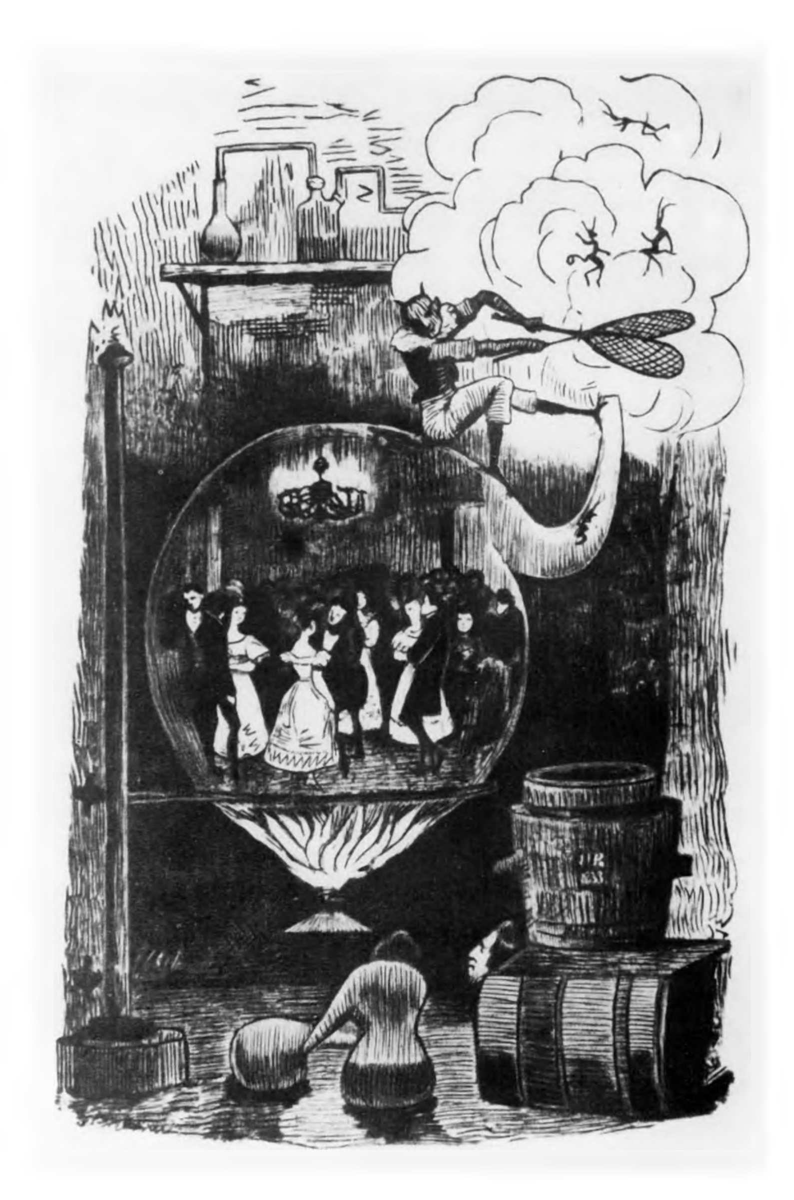
„Какова Исторія. Въ иной залетишъ за тридевять земель за тридесятое царство."

Фонъ-Визинъ въ Недорослѣ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

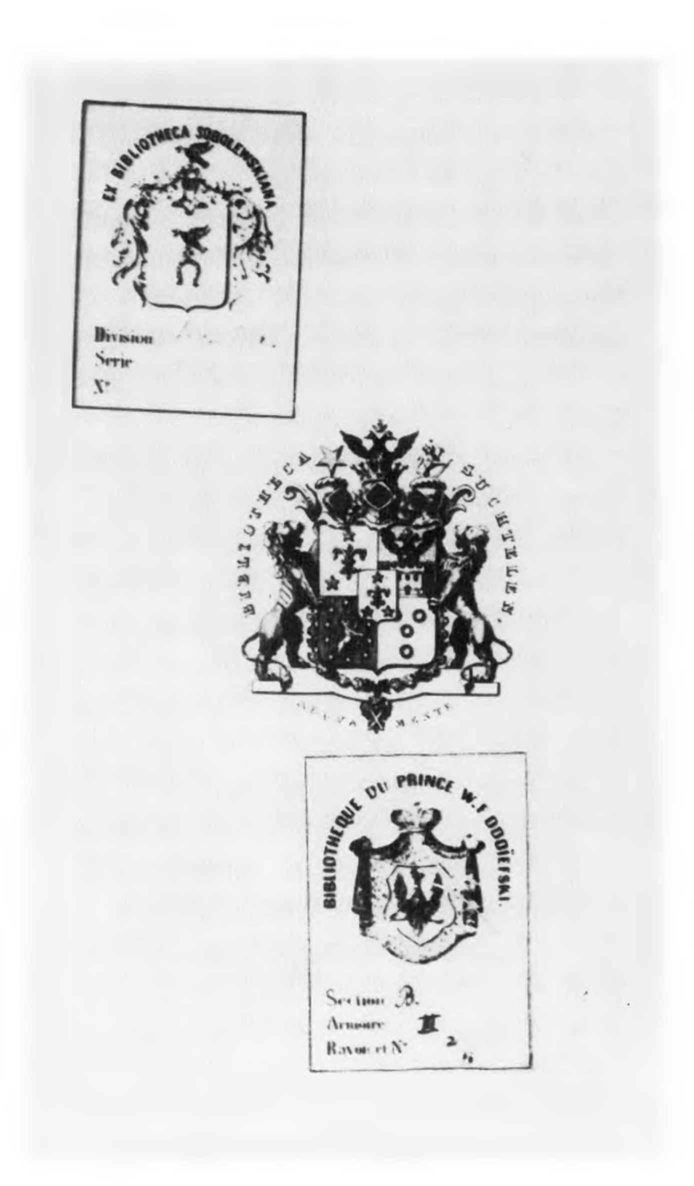
1833.

Обложка «Пестрых сказок» издания 1833 г.



Фронтиспис «Пестрых сказок» издания 1833 г.

Первоначальный план «Пестрых сказок».



Экслибрисы П. К. Сухтелена, В. Ф. Одоевского и С. А. Соболевского на подарочном экземпляре «Пестрых сказок» издания 1833 г.



IV

СКАЗКА

о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в Светлое воскресенье[1] поздравить своих начальников с праздником

Во светлой мрачности блистающих ночей
Явился темный свет из солнечных лучей.
Кн. Шаховской[2]

Коллежский советник Иван Богданович Отношенье, — в течение сорокалетнего служения своего в звании председателя какой-то временной Комиссии, — провождал жизнь тихую и безмятежную. Каждое утро, за исключением праздников, он вставал в 8 часов; в 9 отправлялся в Комиссию, где хладнокровно — не трогаясь ни сердцем, ни с места, не сердясь и не ломая головы понапрасну, — очищал нумера, подписывал отношения, помечал входящие. В сем занятии проходило утро. Подчиненные подражали во всем своему начальнику: спокойно, бесстрастно писали, переписывали бумаги и составляли им реестры и алфавиты, не обращая внимания ни на дела, ни на просителей. Войдя в Комиссию Ивана Богдановича, можно было подумать, что вы вошли в трапезу молчальников, — таково было ее безмолвие. Какая-то тень жизни появлялась в ней к концу года, пред составлением годовых отчетов; тогда заметно было во всех чиновниках особенного рода движение, а на лице Ивана Богдановича даже беспокойство; но когда по составлении отчета Иван Богданович подводил итог, тогда его лицо прояснялось и он — ударив по столу рукою и сильно вздохнув, как после тяжкой работы, — восклицал: «Ну, слава Богу! в нынешнем году у нас бумаг вдвое более против прошлогоднего!» — и радость разливалась по целой Комиссии, и назавтра снова с тем же спокойствием чиновники принимались за обык-

новенную свою работу; подобная же аккуратность замечалась и во всех действиях Ивана Богдановича: никто ранее его не являлся поздравлять начальников с праздником, днем именин или рожденья; в Новый год ничье имя выше его не стояло на визитных реестрах; мудрено ли, что за все это он пользовался репутациею основательного делового человека и аккуратного чиновника. Зато Иван Богданович позволял себе и маленькие наслаждения: в будни едва било 3 часа, как Иван Богданович вскакивал с своего места — хотя бы ему оставалось поставить одну точку к недоконченной бумаге, — брал шляпу, кланялся своим подчиненным и, проходя мимо их, говорил любимым чиновникам — двум начальникам отделений и одному столоначальнику: «Ну... сегодня... знаешь?» Любимые чиновники понимали значение этих таинственных слов, кланялись и после обеда являлись в дом Ивана Богдановича на партию бостона;[3] и аккуратным поведением начальника было произведено столь благодетельное влияние на его подчиненных, что для них — поутру явиться в канцелярию, а вечером играть в бостон — казалось необходимою принадлежностию службы. В праздники они не ходили в Комиссию и не играли в бостон, потому что в праздничный день Иван Богданович имел обыкновение после обеда, — хорошенько расправив свой Аннинский крест,[4] — выходить один или с дамами на Невский проспект; или заходить в кабинет восковых фигур или в зверинец,[5] а иногда и в театр, когда давали веселую пиесу и плясали по-цыгански. В сем безмятежном счастии протекло, как сказал я, более сорока лет, — и во все сие время ни образ жизни, ни даже черты лица Ивана Богдановича нимало не изменились; только он стал против прежнего немного подороднее.

Однажды случись в Комиссии какое-то экстренное дело, и, вообразите себе, в самую Страстную субботу;[6] с раннего утра собрались в канцелярию все чиновники, и Иван Богданович с ними; писали, писали, трудились, трудились и только к 4 часам успели окончить экстренное дело. Устал Иван Богданович после девятичасовой работы; почти обеспамятел от радости, что сбыл ее с рук, и, проходя мимо своих любимых чиновников, не утерпел, проговорил: «Ну... сегодня... знаешь?» Чиновники нимало не удивились сему приглашению и почли его естественным следствием их утреннего занятия, — так твердо был внушен им канцелярский порядок; они явились в уреченное время, разложились карточные столы, поставились свечки, и комнаты огласились веселыми словами: шесть в сюрах, один на червях, мизер уверт[7] и проч. т. п.

Но эти слова достигли до почтенной матушки Ивана Богдановича, очень набожной старушки, которая имела обыкновение по целым дням не говорить ни слова, не вставать с места и прилежно заниматься вывязыванием на длинных спицах фуфаек, колпаков и других произведений изящного искусства. На этот раз отворились запекшиеся уста ее, и она прерывающимся от непривычки голосом произнесла:

— Иван Богданович! А! Иван Богданович! что ты... это?.. ведь это... это... это... не водится... в такой день... в карты... Иван Богданович!.. а!.. Иван Богданович! что ты... что ты... в эдакой день... скоро заутреня...[8] что ты...

Я и забыл сказать, что Иван Богданович, тихий и смиренный в продолжение целого дня, делался львом за картами; зеленый стол производил на него какое-то очарование, как Сивиллин треножник,[9] — духовное начало деятельности, разлитое природою по всем своим произведениям, потребность раздражения, то таинственное чувство, которое заставляет иных совершать преступления, других изнурять свою душу мучительною любовию, третьих прибегать к опиуму, — в организме Ивана Богдановича образовалось под видом страсти к бостону; минуты за бостоном были *сильными минутами* в жизни Ивана Богдановича; в эти минуты сосредоточивалась вся его душевная деятельность, быстрее бился пульс, кровь скорее обращалась в жилах, глаза горели, и весь он был в каком-то самозабвении.

После этого не мудрено, если Иван Богданович почти не слыхал или не хотел слушать слов старушки: к тому же в эту минуту у него на руках были десять в сюрах, — неслыханное дело в четверном бостоне!

Закрыв десятую взятку, Иван Богданович отдохнул от сильного напряжения и проговорил:

— Не беспокойтесь, матушка, еще до заутрени далеко; мы люди деловые, нам нельзя разбирать времени, нам и Бог простит — мы же тотчас и кончим.

Между тем на зеленом столе ремиз цепляется за ремизом; пулька растет горою; приходят игры небывалые, такие игры, о которых долго сохраняется память в изустных преданиях бостонной летописи; игра была во всем пылу, во всей красе, во всем интересе, когда раздался первый выстрел из пушки; игроки не слыхали его; они не видали и нового появления матушки Ивана Богдановича, которая, истощив все свое красноречие, молча покачала головою и наконец ушла из дома, чтобы приискать себе в церкви место попокойнее.

Вот другой выстрел — а они все играют: ремиз цепляется за ремизом, пулька растет, и приходят игры небывалые.

Вот и третий, игроки вздрогнули, хотят приподняться — но не тут-то было: они приросли к стульям; их руки сами собою берут карты, тасуют, раздают; их язык сам собою произносит заветные слова бостона; двери комнаты сами собою прихлопнулись.

Вот на улице гул колокольный, все в движении, говорят прохожие, стучат экипажи, а игроки все играют, и ремиз цепляется за ремизом.

«Пора б кончить!» — хотел было сказать один из гостей, но язык его не послушался, как-то странно перевернулся и, сбитый с толку, произнес:

— Ах! что может сравниться с удовольствием играть в бостон в Страстную субботу!

«Конечно! — хотел отвечать ему другой, — да что подумают о нас домашние?» — но и его язык также не послушался, а произнес:

— Пусть домашние говорят что хотят, нам здесь гораздо веселее.

С удивлением слушают они друг друга, хотят противоречить, но голова их сама нагибается в знак согласия.

Вот отошла заутреня, отошла и обедня;[10] добрые люди — а с ними матушка Ивана Богдановича — в веселых мечтах сладко разговеться[11] залегли в постелю; другие примеривают мундир, справляются с адрес-календарем, выправляют визитные реестры. Вот уже рассвело, на улицах чокаются, из карет выглядывает золотое шитье, трехугольные шляпы торчат на фризовых и камлотных шинелях,[12] курьеры навеселе шатаются от дверей к дверям, суют карточки в руки швейцаров и половину сеют на улице, мальчики играют в биток и катают яицы.

Но в комнате игроков все еще ночь; все еще горят свечи; игроков мучит и совесть, и голод, и сон, и усталость, и жажда; судорожно изгибаются они на стульях, стараясь от них оторваться, но тщетно: усталые руки тасуют карты, язык выговаривает «шесть» и «восемь», ремиз цепляется за ремизом, пулька растет, приходят игры небывалые.

Наконец догадался один из игроков и, собрав силы, задул свечки; в одно мгновение они загорелись черным пламенем; во все стороны разлились темные лучи, и белая тень от игроков протянулась по полу; карты выскочили у них из рук: дамы столкнули игроков со стульев, сели на их место, схватили их, перетасовали — и составилась целая масть Иванов Богдановичей, целая масть начальников отделения, целая масть столоначальников, и началась игра, игра адская, которая никогда не приходила в голову сочинителя «Открытых таинств картежной игры».[13]

Между тем короли уселись на креслах, тузы на диванах, валеты снимали со свечей, десятки, словно толстые откупщики, гордо расхаживали по комнате, двойки и тройки почтительно прижимались к стенкам.

Не знаю, долго ли дамы хлопали об стол несчастных Иванов Богдановичей, загибали на них углы, гнули их в пароль,[14] в досаде кусали зубами и бросали на пол...

Когда матушка Ивана Богдановича, тщетно ожидавшая его к обеду, узнала, что он никуда не выезжал, и вошла к нему в комнату, — он и его товарищи, усталые, измученные, спали мертвым сном: кто на столе, кто под столом, кто на стуле...

И по канцеляриям долго дивились: отчего Ивану Богдановичу не удалось в Светлое воскресение поздравить своих начальников с праздником?





V

ИГОША

Я сидел с нянюшкой в детской; на полу разостлан был ковер, на ковре игрушки, а между игрушками я; вдруг дверь отворилась, а никто не взошел. Я посмотрел, подождал — все нет никого.

— Нянюшка! нянюшка! кто дверь отворил?

— Безрукий, безногий дверь отворил, дитятко!

Вот безрукий, безногий и запал мне на мысль.

— Что за безрукий, безногий такой, нянюшка?

— Ну, да так, известно что, — отвечала нянюшка, — безрукий, безногий.

Мало мне было нянюшкиных слов, и я, бывало, как дверь ли, окно ли отворится — тотчас забегу посмотреть: не тут ли безрукий — и, как он ни увертлив, верно бы мне попался, если бы в то время батюшка не возвратился из города и не привез с собою новых игрушек, которые заставили меня на время позабыть о безруком.

Радость! веселье! прыгаю! любуюсь игрушками! А нянюшка ставит да ставит рядком их на столе, покрытом салфеткою, приговаривая: «Не ломай, не разбей, помаленьку играй, дитятко». Между тем зазвонили к обеду.

Я прибежал в столовую, когда батюшка рассказывал, отчего он так долго не возвращался. «Все постромки[1] лопались, — говорил он, — а не постромки, так кучер то и дело что кнут свой теряет; а не то пристяжная ногу зашибет, беда, да и только! Хоть стань на дороге; уж в самом деле я подумал, не от Игоши ли?»

— От какого Игоши? — спросила его маменька.

— Да вот послушай — на завражке[2] я остановился лошадей покормить; прозяб я и вошел в избу погреться; в избе за столом сидят трое извозчиков, а на столе лежат четыре ложки; вот они хлеб ли режут, лишний ломоть к ложке положат; пирога ли попросят, лишний кусок отрушат...[3]

— Кому это вы, верно, товарищу оставляете, добрые молодцы? — спросил я.

— Товарищу не товарищу, — отвечали они, — а такому молодцу, который обид не любит.

— Да что же он такое? — спросил я.

— Да Игоша, барин.

Что за Игоша, вот я их и ну допрашивать.

— А вот послушайте, барин, — отвечал мне один из них, — летось[4] у земляка-то родился сынок, такой хворенький, Бог с ним, без ручек, без ножек, в чем душа; не успели за попом сходить, как он и дух испустил; до обеда не дожил. Вот, делать нечего, поплакали, погоревали, да и предали младенца земле. Только с той поры все у нас стало не по-прежнему... впрочем, Игоша, барин, малый добрый: наших лошадей бережет, гривы им заплетает,[5] к попу под благословенье подходит; но если же ему лишней ложки за столом не положишь или поп лишнего благословенья при отпуске в церкви не даст, то Игоша и пойдет кутить: то у попадьи квашню опрокинет или из горшка горох повыбросает; а у нас или у лошадей подкову сломает, или у колокольчика язык вырвет — мало ли что бывает.

— И! да я вижу, Игоша-то проказник у вас, — сказал я, — отдайте-ка его мне, и если он хорошо мне послужит, то у меня ему славное житье будет, я ему, пожалуй, и харчевые назначу.

Между тем лошади отдохнули, я отогрелся, сел в бричку, покатился: не отъехали версты — шлея[6] соскочила, потом постромки оборвались, а наконец ось пополам, — целых два часа понапрасну потеряли. В самом деле подумаешь, что Игоша ко мне привязался.

Так говорил батюшка; я не пропустил ни одного слова. В раздумье пошел я в свою комнату, сел на полу, но игрушки меня не занимали — у меня в голове все вертелся Игоша да Игоша. Вот я смотрю — няня на ту минуту вышла — вдруг дверь отворилась; я по своему обыкновению хотел было вскочить, но невольно присел, когда увидел, что ко мне в комнату вошел, припрыгивая, маленький человечек в крестьянской рубашке, подстриженный в кружок; глаза у него горели, как угольки, и голова на шейке у него беспрестанно вертелась; с самого первого взгляда я заметил в нем что-то странное, посмотрел на него пристальнее и увидел, что у бедняжки не было ни рук, ни ног, а прыгал он всем туловищем. Смотрю, маленький человечек — прямо к столу, где у меня стояли рядком игрушки, вцепился зубами в салфетку и потянул ее, как собачонка; посыпались мои игрушки: и фарфоровая моська вдребезги, барабан у барабанщика выскочил, у колясочки слетели колеса, — я взвыл и закричал благим матом: «Что ты за негодный мальчишка — зачем ты сронил мои игрушки, эдакой злыдень! да что еще мне от нянюшки достанется! Говори — зачем ты сронил игрушки?»

— А вот зачем, — отвечал он тоненьким голоском, — затем, — прибавил он густым басом, — что твой батюшка всему дому валежки[7] сшил,

а мне, маленькому, — заговорил он снова тоненьким голоском, — ни одного не сшил, а теперь мне, маленькому, холодно, на дворе мороз, гололедица, пальцы костенеют.

— Ах, жалкинький! — сказал я сначала, но потом, одумавшись, — да какие пальцы, негодный, да у тебя и рук-то нет, на что тебе валежки?

— А вот на что, — сказал он басом, — что ты вот видишь, твои игрушки вдребезгах, так ты и скажи батюшке: «Батюшка, батюшка, Игоша игрушки ломает, валежек просит, купи ему валежки».

Игоша не успел окончить, как нянюшка вошла ко мне в комнату; Игоша не прост молодец, разом лыжи навострил, а нянюшка на меня: «Ах, ты, проказник, сударь! зачем изволил игрушки сронить? Вот ужо тебя маменька...»

— Нянюшка! не я уронил игрушки, право, не я, это Игоша...

— Какой Игоша, сударь — еще изволишь выдумывать.

— Безрукий, безногий, нянюшка.

На крик прибежал батюшка, я ему рассказал все, как было, он расхохотался:

«Изволь, дам тебе валежки, отдай их Игоше».

Так я и сделал. Едва я остался один, как Игоша явился ко мне, только уже не в рубашке, а в полушубке.

— Добрый ты мальчик, — сказал он мне тоненьким голоском, — спасибо за валежки; посмотри-ка, я из них себе какой полушубок сшил, вишь, какой славный!

И Игоша стал повертываться со стороны на сторону и опять к столу, на котором нянюшка поставила свой заветный чайник, очки, чашку без ручки и два кусочка сахару, — и опять за салфетку, и опять ну тянуть.

— Игоша! Игоша! — закричал я, — погоди, не роняй — хорошо, мне один раз прошло, а в другой не поверят; скажи лучше, что тебе надобно?

— А вот что, — сказал он густым басом, — я твоему батюшке верой и правдой служу, не хуже других слуг ничего не делаю, а им всем батюшка к празднику сапоги пошил, а мне, маленькому, — прибавил он тоненьким голоском, — и сапожишков нет, на дворе днем мокро, ночью морозно, ноги ознобишь... — и с сими словами Игоша потянул за салфетку, и полетели на пол и заветный нянюшкин чайник, и очки выскочили из очешника, и чашка без ручки расшиблась, и кусочек сахарца укатился...

Вошла нянюшка, опять меня журит; я на Игошу, она на меня.

— Батюшка, безногий сапогов просит, — закричал я, когда вошел батюшка.

— Нет, шалун, — сказал батюшка, — раз тебе прошло, в другой раз не пройдет; эдак ты у меня всю посуду перебьешь; полно про Игошу-то толковать, становись-ка в угол.

— Не бось, не бось, — шептал мне кто-то на ухо, — я уже тебя не выдам.

В слезах я побрел к углу. Смотрю: там стоит Игоша; только батюшка отвернется, а он меня головой толк да толк в спину, и я очутюсь на ковре

с игрушками посредине комнаты; батюшка увидит, я опять в угол; отворотится, а Игоша снова меня толкнет.

Батюшка рассердился.

— Так ты еще не слушаться? — сказал он, — сейчас в угол и ни с места.

— Батюшка, это не я — это Игоша толкается.

— Что ты за вздор мелешь, негодяй; стой тихо, а не то на целый день привяжу тебя к стулу.

Рад бы я был стоять, но Игоша не давал мне покоя; то ущипнет меня, то оттолкнет, то сделает мне смешную рожу — я захохочу; Игоша для батюшки был невидим — и батюшка пуще рассердился. «Постой, — сказал он, — увидим, как тебя Игоша будет отталкивать», — и с сими словами привязал мне руки к стулу.

А Игоша не дремлет: он ко мне и ну зубами тянуть за узлы; только батюшка отворотится, он петлю и вытянет; не прошло двух минут — и я снова очутился на ковре между игрушек, посредине комнаты.

Плохо бы мне было, если бы тогда не наступил уже вечер; за непослушание меня уложили в постель ранее обыкновенного, накрыли одеялом и велели спать, обещая, что завтра сверх того меня запрут одного в пустую комнату.

Ночью, едва нянюшка загнула в свинец свои пукли, надела коленкоровый чепчик,[8] белую канифасную кофту,[9] пригладила виски свечным огарком, покурила ладаном и захрапела, — я прыг с постели, схватил нянюшкины ботинки и махнул их за окошко, проговоря вполголоса: «Вот тебе, Игоша».

— Спасибо! — отвечал мне со двора тоненький голосок.

Разумеется, что ботинок назавтра не нашли, — и нянюшка не могла надивиться, куда они девались.

Между тем батюшка не забыл обещания и посадил меня в пустую комнату, такую пустую, что в ней не было ни стола, ни стула, ни даже скамейки.

«Посмотрим, — сказал батюшка, — что здесь разобьет Игоша!» — и с этими словами запер двери.

Но едва он прошел несколько шагов, как рама выскочила, и Игоша с ботинкой на голове запрыгал у меня по комнате: «Спасибо! Спасибо! — закричал он пискляво, — вот какую я себе славную шапку сшил!»

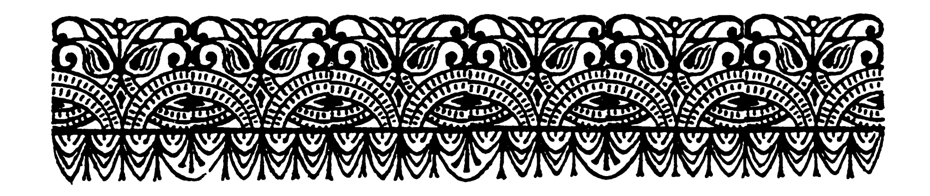
— Ах, Игоша! не стыдно тебе! Я тебе и полушубок достал, и ботинки тебе выбросил из окошка, — а ты меня только в беды вводишь!

— Ах, ты, неблагодарный, — закричал Игоша густым басом, — я ли тебе не служу, — прибавил он тоненьким голоском, — я тебе и игрушки ломаю, и нянюшкины чайники бью, и в угол не пускаю, и веревки развязываю; а когда уже ничего не осталось, так рамы бью; да к тому ж служу тебе и батюшке из чести, обещанных харчевых не получаю, а ты еще на меня жалуешься. Правду у нас говорится, что люди самое неблагодарное творение! Прощай же брат, если так, не поминай меня лихом. К твоему батюшке приехал из города немец, док-

тор, попробую ему послужить; я уж и так ему стклянки перебил, а вот к вечеру после ужина и парик под билиярд закину — посмотрим, не будет ли он тебя благодарнее...

С сими словами исчез мой Игоша, и мне жаль его стало.





VI

ПРОСТО СКАЗКА

> Галлер прежде меня заметил, что в ту минуту, когда мы засыпаем, но еще не совершенно заснули, все, что для нас было легким очерком, получает образ полный и определенный.
>
> *Жан-Поль-Рихтер*[1]

Лысый Валтер опустил перо в чернильницу и заснул. В ту же минуту тысячи голосов заговорили в его комнате. Валтер хочет вынуть перо, но тщетно — перо прицепилось к краям чернильницы; в досаде он схватывает его обеими руками — все тщетно, перо упорствует, извивается между пальцами, словно змея, растет и получает какую-то сердитую физиогномию. Вот из узкого отверстия слышится жалостный стон, похожий то на кваканье лягушки, то на плач младенца. «Зачем ты вытягиваешь из меня душу? — говорил один голос, — она так же, как твоя, бессмертна, свободна и способна страдать». — «Мне душно, — говорил другой голос, — ты сжимаешь мои ребра, ты точишь плоть мою — я живу и страдаю».

Между тем дверь отворилась, и Волтеровские кресла, изгибая спинку и медленно передвигая ножками, вступали в комнату, и на Волтеровских креслах сидел надувшись колпак; он морщился, кисть становилась ежом на его теме, и он произнес следующие слова: «Ру, ру, ру! храп, храп, храп! усха, усха, усха! Молчите, слабоумные! Отвечайте мне: слыхали ли вы о вязальных спицах? Ваш мелкий ум постигал ли когда-нибудь чулочную петлю? В ней начало вещей и пучина премудрости; глубокомысленные нити зародили петлю; петлю создали спицы; спицы с петлею создали колпак, венец природы и искусства, альфа и омега вселенной, лебединая песнь чулочного мастера. Здесь таинство! все для колпака, все колпак, и ничего нет вне колпака!»

Перо взъерошилось, чернилица зашаталась и хотела уже брызнуть на колпак своею черною кровию. Горе было бы колпаку, если б в самое то время не раздалось по комнате: «Шуст, шуст, клап, шуст, шуст клап», — и красная с пуговкой туфля, кокетствуя и вертясь на каблуке, не прихлопнула крышечку чернильницы. Чернильница принуждена была выпустить перо, а перо без его души, как мертвое, упало на стол и засохло с досады.

«Ру, ру, ру, моя красавица, скажи, какой чулочный мастер мог создать такое чудо природы, такую красоту неописанную?»

«Шуст, шуст клап, — отвечала туфля, — меня создал не чулочный мастер, а тот, кто превыше чулочного мира, кто топчет чулки, от кого прячутся башмаки и самые высокие ботфорты трепещут; меня создал сапожник!»

«Как! — возразил колпак, — кто-нибудь, кроме чулочного мастера, мог так искусно выгнуть твою шкурку, так ловко спустить твою пятку? — храп, храп, храп! позвольте мне вам сделать вопрос, может быть, нескромный: на скольких петлях вас вязали?»

«Несчастный! какой туман затмевает твой рассудок! неужели ты, подобно перьям, чернилицам, стульям и всем бессмысленным тварям, никогда не знавшим шила и колодки, неужели, подобно им, ты не признаешь великого сапожника? неужели спицы не дали тебе понятия о чем-то высшем, о том, без чего не могли бы существовать ни башмаки, ни калоши, ни самые ботфорты; чего нельзя утаить и в самом мелко связанном мешке, шуст, шуст клап! и что называют — шилом?»

Колпак смутился и побледнел; петли находились в судорожном движении и шептали между собою: «Што там туфля шушукает про сапошного мастера? што за штука? неушли он больше чулошного?»

Между тем туфля, сверкая блестящею пуговкою, вспрыгнула на креслы, нагнула носик колпачной шишечки и, нежно затрогивая его каблучком, говорила ему с лаской: «Храпушка, храпушка! шуст, шуст клап, шуст, шуст клап! обратися к нам, у нас хорошо, у нас небо сафьянное, у нас солнце пуговка, у нас месяц шишечкой, у нас звезды гвоздики, у нас жизнь сыромятная, в ваксе по горло, щетки не считаны...»

Не совсем понимал ее колпак, однако догадывался, что в словах туфли есть что-то высокое и таинственное. Еще долго говорили они, долго нежный лепет туфли сливался с рукуканьем колпака; миловидность ее докончило то, чего не могло бы сделать одно красноречие, и колпак, прикрывая туфлю своею кисточкою, поплелся за нею, нежно припевая: «Храп, храп, храп, ру, ру, ру».

«Куда ведут тебя, бедный колпак?» — закричала ему мыльница. — Зачем веришь своей предательнице? не душистое мыло ты найдешь у нее, там ходят грубые щетки; и не розовая вода, а каплет черная вакса! Воротись, пока еще время, а после — не отмыть мне тебя».

Но колпак ничего не слыхал, он лишь вслушивался в шушуканье туфли и следовал за ней, как младенец за нянькою.

Пришли. Смотрят. Мудрено. На огромной колодке торчало шило; кон-

цы купались в вару; рядами стояли башмаки, сапоги всех званий и возрастов, смазные, с отворотами; калоши волочились за ботинками и почтительно кланялись ботфортам, занимавшим первые места, и между тем огромные щетки потчивали гостей ваксою!

Величественна была эта картина! Она поразила колпак; все, что ни воображал когда-либо нитяный мозг его, не могло сравниться с сим зрелищем, и он невольно наклонил свою кисточку. Одни петли заметили, что все ботфорты и большая часть сапогов были пьяны; тщетно докладывали они о том колпаку, колпак в пылу своих восторгов не верил ничему и называл предусмотрительное шушуканье петель пустыми придирками.

Между тем туфля не дремала, она быстро подвела колпак к колодке; колпак, встревоженный, вне себя от восторга, думал, что наконец близка минута его соединения с прекрасною туфлею... как вдруг колодка зашевелилась, ботфорты попадали, калоши застучали, каблуки затопали, туфля захлопала; бешеное шило вертелось и кричало между толпою, и чугунный молоток сглупу хлопнул от радости по толстому брюху бутыли; реки ваксы полились на бедный колпак... и где ты, прежняя белизна колпака? где его чистота и невинность? где то сладкое время, когда, бывало, колпак выходил из корыта, как Киприда из морской пены,[2] и солнце, отражаясь на огромной лысине Валтера, улыбалось ему? Вспомнил он слова мыльницы! Несчетный ряд воспоминаний пробудился в душе колпака; угрызение совести толстыми спицами кололо его внутренность; он почувствовал весь ужас своего положения, всю легкомысленность своего поступка; он узрел пагубные следствия своей опрометчивой доверенности к ветреной туфле, опрометью бросился он к корыту: «Щелок спасет меня! — думал он, — мыло! корыто! заклинаю вас! поспешите ко мне на помощь, омойте меня от бесчестия, пока не проснулся наш Валтер...»

Но колпак остался невымытым, потому что в эту минуту Валтер проснулся...





VII

СКАЗКА

о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту

«Как, сударыня! вы уже хотите оставить нас? С позволения вашего попровожду вас». — «Нет, не хочу, чтоб так учтивый господин потрудился для меня». — «Изволите шутить, сударыня».

*Manuel pour la conversation par madame de Genlis, p. 375**[1]

Однажды в Петербурге было солнце; по Невскому проспекту шла целая толпа девушек; их было одиннадцать, ни больше, ни меньше, и одна другой лучше; да три маменьки, про которых, к несчастию, нельзя было сказать того же. Хорошенькие головки вертелись, ножки топали о гладкий гранит, но им всем было очень скучно: они уж давно друг друга пересмотрели, давно друг с другом обо всем переговорили, давно друг друга пересмеяли и смертельно друг другу надоели; но все-таки держались рука за руку и, не отставая друг от дружки, шли монастырь монастырем; таков уже у нас обычай: девушка умрет со скуки, а не даст своей руки мужчине, если он не имеет счастия быть ей братом, дядюшкой или еще более завидного счастия — восьмидесяти лет от роду; ибо «что скажут маменьки?». Уж эти мне маменьки! когда-нибудь доберусь я до них! я выведу на свежую воду их старинные проказы! я разберу их устав благочиния, я докажу им, что он не природой написан, не умом скреплен!

---

* Руководство к беседе, составленное мадам Жанлис, с. 375 (*фр.*).

Мешаются не в свое дело, а наши девушки скучают-скучают, вянут-вянут, пока не сделаются сами похожи на маменек, а маменькам то и по сердцу! Погодите! Я вас!

Как бы то ни было, а наша толпа летела по проспекту и часто набегала на прохожих, которые останавливались, чтобы посмотреть на красавиц; но подходить к ним никто не подходил — да и как подойти? Спереди маменька, сзади маменька, в середине маменька — страшно!

Вот на Невском проспекте новоприезжий искусник выставил блестящую вывеску! Сквозь окошки светятся парообразные дымки;[2] сыплются радужные цветы, золотистый атлас льется водопадом по бархату, и хорошенькие куколки, в пух разряженные, под хрустальными колпаками, казалось, кивают головою. Вдруг наша первая пара остановилась, поворотилась — и прыг на чугунные ступеньки; за ней другая, потом третья, и, наконец, вся лавка наполнилась красавицами. Долго они разбирали, любовались — да и было чем: хозяин такой быстрый, с синими очками, в модном фраке, с большими бакенбардами, затянут, перетянут, чуть не ломается; он и говорит и продает, хвалит и бранит, и деньги берет и отмеривает; беспрестанно он расстилает и расставляет перед моими красавицами то газы из паутины с насыпью бабочкиных крылышек, то часы, которые укладывались на булавочной головке, то лорнет из мушиных глаз, в который в одно мгновение можно было видеть все, что кругом делается, то блонду,[3] которая таяла от прикосновения; то башмаки, сделанные из стрекозиной лапки, то перья, сплетенные из пчелиной шерстки, то — увы — румяна, которые от духу налетали на щечку. Наши красавицы целый бы век остались в этой лавке, если бы не маменьки! Маменьки догадались, махнули чепчиками, поворотили налево кругом и, вышедши на ступеньки, благоразумно принялися считать, чтобы увериться, все ли красавицы выйдут из лавки; но, по несчастию (говорят, ворона умеет считать только до четырех), наши маменьки умели считать только до десяти: не мудрено же, что они обочлись и отправились домой с десятью девушками, наблюдая прежний порядок и благочиние, а одиннадцатую позабыли в магазине.

Едва толпа удалилась, как заморский басурманин тотчас дверь на запор и к красавице; все с нее долой: и шляпку, и башмачки, и чулочки, оставил только, окаянный, юбку да кофточку; схватил несчастную за косу, поставил на полку и покрыл хрустальным колпаком.

Сам же за перочинный ножичек, шляпку в руки — и с чрезвычайным проворством ну с нее срезывать пыль, налетевшую с мостовой; резал, резал, и у него в руках очутились две шляпки, из которых одна чуть было не взлетела на воздух, когда он надел ее на столбик; потом он так же осторожно срезал тисненые цветы на материи, из которой была сделана шляпка, и у него сделалась еще шляпка; потом еще раз — и вышла четвертая шляпка, на которой был только оттиск от цветов, потом еще — и вышла пятая шляпка простенькая; потом еще, еще — и всего набралось у него двенадцать шляпок; то же, окаянный, сделал и с платьицем, и с шалью, и с башмачками, и с чулочками, и вышло у него каждой вещи

по дюжине, которые он бережно уклал в картон с иностранными клеймами... и все это, уверяю вас, он сделал в несколько минут.

— Не плачь, красавица, — приговаривал он изломанным русским языком, — не плачь! тебе же годится на приданое!

Когда он окончил свою работу, тогда прибавил:

— Теперь и твоя очередь, красавица!

С сими словами он махнул рукою, топнул; на всех часах пробило тринадцать часов,[4] все колокольчики зазвенели, все органы заиграли, все куклы запрыгали, и из банки с пудрой выскочила безмозглая французская голова; из банки с табаком чуткий немецкий нос с ослиными ушами; а из бутылки с содовой водою туго набитый англинский живот. Все эти почтенные господа уселись в кружок и выпучили глаза на волшебника.

— Горе! — вскричал чародей.

— Да, горе! — отвечала безмозглая французская голова, — пудра вышла из моды!

— Не в том дело, — проворчал английский живот, — меня, словно пустой мешок, за порог выкидывают.

— Еще хуже, — просопел немецкий нос, — на меня верхом садятся, да еще пришпоривают.

— Все не то! — возразил чародей, — все не то! еще хуже; русские девушки не хотят больше быть заморскими куклами! вот настоящее горе! продолжись оно — и русские подумают, что они в самом деле такие же люди.

— Горе! горе! — закричали в один голос все басурманы.

— Надобно им навезти побольше романов мадам Жанлис, — говорила голова.

— Внушить им правила нашей нравственности, — толковал живот.

— Выдать их замуж за нашего брата, — твердил чуткий нос.

— Все это хорошо! — отвечал чародей, — да мало! Теперь уже не то, что было! На новое горе — новое лекарство; надобно подняться на хитрости!

Думал, долго думал чародей, наконец махнул еще рукою, и пред собранием явился треножник, мариина баня[5] и реторта,[6] и злодеи принялись за работу.

В реторту втиснули они множество романов мадам Жанлис, Честерфильдовы письма,[7] несколько листов из русской азбуки, канву, итальянские рулады, дюжину новых контрадансов,[8] несколько выкладок из английской нравственной арифметики и выгнали из всего этого какую-то бесцветную и бездушную жидкость. Потом чародей отворил окошко, повел рукою по воздуху Невского проспекта и захватил полную горсть городских сплетней, слухов и рассказов; наконец из ящика вытащил огромный пук бумаг и с дикою радостию показал его своим товарищам; то были обрезки от дипломатических писем и отрывки из письмовника,[9] в коих содержались уверения в глубочайшем почтении и истинной преданности; все это злодеи, прыгая и хохоча, ну мешать с своим бесовским составом: француз-

ская голова раздувала огонь, немецкий нос размешивал, а английский живот, словно пест, утоптывал.

Когда жидкость простыла — чародей к красавице: вынул, бедную, трепещущую, из-под стеклянного колпака и принялся из нее, злодей, вырезывать сердце! О! как страдала, как билась бедная красавица! как крепко держала она свое невинное, свое горячее сердце! с каким славянским мужеством противилась она басурманам. Уже они были в отчаянии, готовы отказаться от своего предприятия, но, на беду, чародей догадался, схватил какой-то маменькин чепчик, бросил на уголья — чепчик закурился, и от этого курева красавица одурела.

Злодеи воспользовались этим мгновением, вынули из нее сердце и пустили его в свой бесовский состав. Долго, долго они распаривали бедное сердце русской красавицы, вытягивали, выдували, и когда они вклеили его в свое место, то красавица позволила им делать с собою все, что им было угодно. Окаянный басурманин схватил ее пухленькие щечки, маленькие ножки, ручки и ну перочинным ножом соскребать с них свежий славянский румянец и тщательно собирать его в баночку с надписью rouge végétal;* и красавица сделалась беленькая-беленькая, как копчик;[10] насмешливый злодей не удовольствовался этим: маленькой губкой он стер с нее белизну и выжал в сткляночку с надписью: lait de concombre;** и красавица сделалась желтая, коричневая; потом к наливной шейке он приставил пневматическую машину, повернул — и шейка опустилась и повисла на косточках; потом маленькими щипчиками разинул ей ротик, схватил язычок и повернул его так, чтобы он не мог порядочно выговорить ни одного русского слова; наконец затянул ее в узкий корсет, накинул на нее какую-то уродливую дымку и выставил красавицу на мороз к окошку. Засим басурмане успокоились; безмозглая французская голова с хохотом прыгнула в банку с пудрою; немецкий нос зачихал от удовольствия и поплелся в бочку с табаком; английский живот молчал, но только хлопал по полу от радости и также уплелся в бутылку с содовою водою; и все в магазине пришло в прежний порядок, и только стало в нем одною куклою больше!

Между тем время бежит да бежит; в лавку приходят покупщики, покупают паутинный газ и мушиные глазки, любуются и на куколок. Вот один молодой человек посмотрел на нашу красавицу, задумался, и как ни смеялись над ним товарищи, купил ее и принес к себе в дом. Он был человек одинокий, нрава тихого, не любил ни шуму, ни крику, он поставил куклу на видном месте, одел, обул ее, целовал ее ножки и любовался ею, как ребенок. Но кукла скоро почуяла русский дух: ей понравилось его гостеприимство и добродушие. Однажды, когда молодой человек задумался, ей показалось, что он забыл о ней — она зашевелилась, залепетала; удивленный, он подошел к ней, снял хрустальный колпак, посмотрел: его красавица кукла куклою. Он приписал это действию воображения и снова

* Растительные румяна (*фр.*).
** Огуречное молоко (*фр.*).



Разворот авантитула „Пестрых сказок” издания 1833 г. с анонимными записями.
Из собрания библиотеки Кембриджского университета (Англия).

Надписи В. Ф. Одоевского на подарочном экземпляре „Пестрых сказок" издания 1833 г.
Из собрания Британской библиотеки (Англия).

задумался, замечтался; кукла рассердилась: ну опять шевелиться, прыгать, кричать, стучать об колпак, ну так и рвется из-под него.

— Неужели ты в самом деле живешь? — говорил ей молодой человек, — если ты в самом деле живая, я тебя буду любить больше души моей; ну, докажи же, что ты живешь, вымолви хотя словечко!

— Пожалуй! — сказала кукла, — я живу, право живу.

— Как! ты можешь и говорить? — воскликнул молодой человек, — о, какое счастие! Не обман ли это? Дай мне еще раз увериться, говори мне о чем-нибудь!

— Да об чем будем мы говорить?

— Как об чем? на свете есть добро, есть искусство!

— Какая мне нужда до них! — отвечала кукла, — эти выражения не употребительны!

— Что это значит? Как не употребительны? Разве до тебя еще никогда не доходило, что есть на свете мысли, чувства?..

— А, чувства! чувства? знаю, — скоро проговорила кукла, — чувства глубочайшего почтения и такой же преданности, с которыми честь имею быть, милостивый государь, вам покорная ко услугам...

— Ты ошибаешься, моя красавица; ты смешиваешь условные фразы, которые каждый день переменяются, с тем, что составляет вечное, незыблемое украшение человека.

— Знаешь ли, что говорят? — прервала его красавица, — одна девушка вышла замуж, но за нею волочится другой, и она хочет развестися. Как это стыдно!

— Что тебе нужды до этого, моя милая? подумай лучше о том, как многого ты на свете не знаешь; ты даже не знаешь того чувства, которое должно составлять жизнь женщины; это святое чувство, которое называют любовью, которое проникает все существо человека; им живет душа его, оно порождает рай и ад на земли...

— Когда на бале много танцуют, то бывает весело, когда мало, так скучно, — отвечала кукла.

— Ах, лучше бы ты не говорила! — вскричал молодой человек, — ты не понимаешь меня, моя красавица!

И тщетно он хотел ее образумить: приносил ли он ей книги — книги оставались неразрезанными; говорил ли ей о музыке души — она отвечала ему италиянскою руладою;[11] показывал ли картину славного мастера — красавица показывала ему канву.

И молодой человек решился каждое утро и вечер подходить к хрустальному колпаку и говорить кукле: «Есть на свете добро, есть любовь; читай, учись, мечтай, исчезай в музыке; не в светских фразах, но в душе чувства и мысли».

Кукла молчала.

Однажды кукла задумалась, и думала долго. Молодой человек был в восхищении, как вдруг она сказала ему:

— Ну, теперь знаю, знаю: есть на свете добродетель, есть искусство, есть любовь, не в светских фразах, но в душе чувства и мысли. Примите,

милостивый государь, уверения в чувствах моей истинной добродетели и пламенной любви, с которыми честь имею быть...

— О! перестань, Бога ради, — вскричал молодой человек, — если ты не знаешь ни добродетели, ни любви, то по крайней мере не унижай их, соединяя с поддельными, глупыми фразами...

— Как не знаю! — вскричала с гневом кукла, — на тебя никак не угодишь. неблагодарный! Нет, — я знаю, очень знаю: *есть* на *свете добродетель, есть Искусство, есть любовь*, как равно и глубочайшее почтение, с коими честь имею быть...

Молодой человек был в отчаянии. Между тем кукла была очень рада своему новому приобретению; не проходило часа, чтоб она не кричала: *есть добродетель, есть любовь, есть Искусство,* — и не примешивала к сим словам уверений в глубочайшем почтении; идет ли снег — кукла твердит: *есть добродетель!* — принесут ли обедать — она кричит: *есть любовь!* — и вскоре дошло до того, что эти слова опротивели молодому человеку. Что он ни делал: говорил ли с восторгом и умилением, доказывал ли хладнокровно, бесился ли, насмехался ли над красавицею — все она никак не могла постигнуть, какое различие между затверженными ею словами и обыкновенными светскими фразами; никак не могла постигнуть, что любовь и добродетель годятся на что-нибудь другое, кроме письменного окончания.

И часто восклицал молодой человек: «Ах, лучше бы ты не говорила!» Наконец он сказал ей:

— Я вижу, что мне не вразумить тебя, что ты не можешь к заветным, святым словам добра, любви, искусства присоединить другого смысла, кроме *глубочайшего почтения и таковой же преданности...* Как быть! Горько мне, но я не виню тебя в этом. Слушай же, всякий на сем свете должен что-нибудь делать; не можешь ты ни мыслить, ни чувствовать; не перелить мне своей души в тебя... так занимайся хозяйством по старинному русскому обычаю — смотри за столом, своди счеты, будь мне во всем покорна; когда ты меня избавишь от механических занятий жизни, я — правда, не столько тебя буду любить, сколько любил бы тогда, когда бы души наши сливались, — но все любить тебя буду.

— Что я за ключница? — закричала кукла, рассердилась, заплакала, — разве ты затем купил меня? Купил — так лелей, одевай, утешай. Что мне за дело до твоей души и до твоего хозяйства! Видишь, я верна тебе, я не бегу от тебя — так будь же за то благодарен, мои ручки и ножки слабы; я хочу и люблю ничего не делать, ни думать, ни чувствовать, ни хозяйничать, — а твое дело забавлять меня.

И в самом деле так было. Когда молодой человек занимался своей куклой, когда одевал, раздевал ее, когда целовал ее ножки — кукла была смирна и добра, хоть и ничего не говорила; но если он забудет переменить ее шляпку, если задумается, если отведет от нее глаза, кукла так начнет стучать о свой хрустальный колпак, что хоть вон беги. Наконец не стало ему терпенья: возьмет ли он книгу, сядет ли обедать, ляжет ли на диван отдохнуть, — кукла стучит и кричит, как живая, и не дает

ему покоя ни днем, ни ночью; и стала его жизнь — не жизнь, но ад. Вот молодой человек рассердился; несчастный не знал страданий, которые вынесла бедная красавица; не знал, как крепко она держалась за врожденное ей природою сердце, с какою болью отдала его своим мучителям, или учителям, — и однажды спросонья он выкинул куклу за окошко; за это все проходящие его осуждали, однако же куклы никто не поднял.

А кто всему виною? Сперва басурманы, которые портят наших красавиц, а потом маменьки, которые не умеют считать дальше десяти. Вот вам и нравоучение.





VIII

ТА ЖЕ СКАЗКА, ТОЛЬКО НА ИЗВОРОТ

> Мне все кажется, что я пред ящиком с куклами; гляжу, как движутся передо мною человечки и лошадки; часто спрашиваю себя, не обман ли это оптический; играю с ними, или, лучше сказать, мною играют, как куклою; иногда, забывшись, схвачу соседа за деревянную руку и тут опомнюсь с ужасом.
>
> *Гете. Вертер. — Перевод Рожалина*[1]

Хорошо вам, моя любезная пишущая, отчасти читающая и отчасти думающая братия! хорошо вам на высоких чердаках ваших, в тесных кабинетах, между покорными книгами и молчаливой бумагой! Из слухового окошка, а иногда, извините, и из передней вы смотрите в гостиную; из нее доходит до вас невнятный говор, шарканье, фраки, лорнеты, поклоны, люстры — и только; за что ж вы так сердитесь на гостиные? смешно слушать! вы, опять извините за сравнение, право, не я виноват в нем, — вы вместе с лакеем сердитесь, зачем барин ездит четвернею в покойной карете, зачем он просиживает на бале до четырех часов утра, зачем из бронзы вылитая страсбургская колокольня считает перед ним время,[2] зачем Рафаэль и Корреджио[3] висят перед ним в золотых рамах, зачем он говорит другому вежливости, которым никто не верит; разве в том дело? Господи, Боже мой! Когда выйдут из обыкновения пошлые нежности и приторные мудрования о простом, искренном, откровенном семейственном круге, где к долгу человечества причисляется: вставать в 7 часов, обедать в 2 1/2 и ложиться спать в 10?[4] Еще раз скажу: разве в том дело? Что может быть отвратительнее невежества, когда оно начинает вам поверять тайны своей нелепости? когда оно обнажает пред вами все свое безобразие, всю низость души своей? Что может быть несноснее, как видеть человека, которого приличие не за-

ставляет скрывать свою щепетильную злость против всего священного на свете; который не стыдится ни своей глупости, ни своих бесчестных расчетов, словом, который откровенно глуп, откровенно зол, откровенно подл и проч. и проч.? Зачем нападаете вы на то состояние общества, которое заставляет глупость быть благоразумною, невежество — стыдливым, грубое нахальство — скромным, спесивую гордость — вежливою? которое многолюдному собранию придает всю прелесть пустыни, в которой спокойно и бессмысленно журчат волны ручья, не обижая души ни резко нелепою мыслию, ни низко униженным чувством? Подумайте хорошенько: все эти вещи, заклейменные названием *приличий*, может быть, не сами ли собою родились от непрерывающегося хода образованности? не суть ли они дань уважения, которую посредственность невольно приносит уму, любви, просвещению, высокому смирению духа? Они не туман ли пред светом какого-то нового мира, который чудится царям людских мнений, как некогда, в другие веки, чудились им открытие новой части земного шара, обращение крови, паровая машина и над чем люди так усердно смеялись?

Нет, господа, вы не знаете общества! вы не знаете его важной части — гостиных![5] вы не знаете их зла и добра, их Озириса и Тифона.[6] И оттого достигают ли ваши эпиграммы своей цели? Если бы вы посмотрели, как смеются в гостиных, смотря мимоходом на ваши сражения с каким-то фантомом! смотря, как вы плачете, вы негодуете, до истощения издеваетесь над чем-то несуществующим! О! если бы вы положили руку на истинную рану гостиных, не холодный бы смех вас встретил; вы бы грустно замолкли, или бы от мраморных стен понесся плач и скрежет зубов!

Попались бы вы в уголок между двумя диванами, где дует сквозной перекрестный студеный ветер, от которого стынет грудь, мерзнет ум и сердце перестает биться! Хотел бы я посмотреть, как бы вы вынесли эту простуду! достало ли бы у вас в душе столько тепла, чтобы заметить, как какая-нибудь картина Анжело,[7] купленная тщеславием, сквозь холодную оболочку приличий невзначай навеяла поэзию на душу существа повидимому бесцветного, бесчувственного; как аккорды Моцарта и Бетговена и даже Россини[8] проговорили утонченным чувствам яснее ваших нравоучений; как в причуде моды перенеслись в гостиную семена какой-нибудь новой мысли, только что разгаданной человечеством, как будто в цветке, которую пришлец из стран отдаленных небрежно бросил на почву и сам, не ожидая того, обогатил ее новым чудом природы.

Но где я?.. простите меня, почтенный читатель: я обещал вам сказку и залетел в какие-то заоблачные мудрования... то-то привычка, точно, она хуже природы, которая сама так скучна — в описаниях наших стихотворцев и романистов! Простите и вы меня, моя любезная пишущая братия! я совсем не хотел с вами браниться; напротив, я начал эти строки с намерением сказать вам комплимент, дернул же меня лукавый, простите, Бога ради простите: вперед не буду...

Я начал, помнится, так: хорошо вам, моя любезная пишущая братия, на высоких чердаках ваших, в теплых кабинетах, окруженная книгами и бумагами и проч. и проч.; вслед за сим я хотел сказать вам следующее:

Я люблю вас, и люблю потому, что с вами можно спорить; положим, что мы противных мнений, ну, с вами, разумеется, за исключением тех, с которыми говорить запрещает благопристойность, — с вами потолкуешь, поспоришь, докажешь; вы знаете, что против логики спорить нельзя — и концы в воду, вы согласитесь; в гостиных не то; гостиная, как женщина, о которой говорит Шекспир, что с нею бьешься три часа, доказываешь, доказываешь — она согласилась, вы кончили, вы думали убедить ее? ничего не бывало: она отвечает вам — и что же? опять то ж, что говорила сначала; начинай ей доказывать сызнова![9] такая в ней постоянная мудрость. В подобных случаях, вы сами можете рассудить, спорить невозможно, а надлежит слепо соглашаться. Так поступил и я; лукавый дернул меня тиснуть предшедшую сказку в одном альманахе[10] и еще под чужим именем, нарочно, чтобы меня не узнали: так нет, сударь, догадались! Если бы вы знали, какой шум подняли мои дамы и что мне от них досталось! хором запели мне: «Мы не куклы; мы не хотим быть куклами, прошло то время, когда мы были куклами; мы понимаем свое высокое назначение; мы знаем, что мы душа этого четвероногого животного, которое называют супругами». Ну так, что я хоть в слезы — однако ж в слезы радости, мой почтенный читатель! Этого мало: вывели на справку всю жизнь красавицы, не хуже моего Ивана Севастьяныча Благосердова,[11] собрали, едва ли не по подписке, следующую статью и приказали мне приобщить ее к таковым же; нечего делать — должно было повиноваться; читайте, но уже за нее браните не меня, а кого следует; потому что мне и без того достанется за мои другие сказки; увы! я знаю, не пощадят причуд воображения за горячее, неподкупное чувство. Читайте ж:

ДЕРЕВЯННЫЙ ГОСТЬ, ИЛИ СКАЗКА ОБ ОЧНУВШЕЙСЯ КУКЛЕ И ГОСПОДИНЕ КИВАКЕЛЕ

Итак, бедная кукла лежала на земле, обезображенная, всеми покинутая, презренная, без мысли, без чувства, без страдания; она не понимала своего положения и твердила про себя, что она валяется по полу *для изъявления глубочайшего почтения и совершенной преданности...*

В это время проходил прародитель славянского племени, тысячелетний мудрец, пасмурный, сердитый на вид, но добрый, как всякий человек, обладающий высшими знаниями. Он был отправлен из древней славянской отчизны — Индии[1] к северному полюсу по весьма важному делу: ему надлежало вымерить и математически определить, много ли в продолжение последнего тысячелетия выпарилось глупости из скудельного человеческого сосуда и много ли прилилось в него благодатного ума. Задача важная, которую давно уже решила моя почтенная бабушка, но которую индийские мудрецы все еще стараются разрешить посредством долгих наблюдений и самых утонченных опытов и исчислений — не на что им время терять!

Как бы то ни было, индийский мудрец остановился над бедною куклою, горькая слеза скатилась с его седой ресницы, канула на красавицу, и красавица затрепетала какою-то мертвою жизнию, как обрывок нерва, до которого дотронулся гальванический прутик.

Он поднял ее, овеял гармоническими звуками Бетговена, свел на лицо ее разноцветные, красноречивые краски, рассыпанные по созданиям Рафаэля и Анжело, устремил на нее магический взор свой, в котором, как в бесконечном своде, отражались все вековые явления человеческой мудрости, — и прахом разнеслись нечестивые цепи иноземного чародейства вместе с испарениями старого чепчика, и новое сердце затрепетало в красавице, высоко поднялася душистая грудь, и снова свежий славянский румянец вспыхнул на щеках ее; наконец, мудрец произнес несколько таинственных слов на древнем славянском языке, который иностранцы называют санскритским, благословил красавицу поэзией Байрона, Державина и Пушкина, вдохнул ей искусство страдать и мыслить[2] и продолжал путь свой.

И в красавице жизнь живет, мысль пылает, чувство говорит; вся природа улыбается ей радужными лучами; нет китайских жемчужин в нити ее существования, каждая блещет светом мечты, любви и звуков...

И помнит красавица свое прежнее ничтожество; с стыдом и горем помышляет о нем и гордится своею новою прелестию, гордится своим новым могуществом, гордится, что понимает свое высокое назначение.

Но злодеи, которых чародейская сила была поражена вдохновенною силою индийского мудреца, не остались в бездействии. Они замыслили новый способ для погубления славянской красавицы.

Однажды красавица заснула; в поэтических грезах ей являлись все гармонические видения жизни: и причудливые хороводы мелодий в безбрежной стране Эфира;[3] и живая кристаллизация человеческих мыслей, на которых радужно играло солнце поэзии, с каждою минутою все более и более яснеющее; и пламенные, умоляющие взоры юношей; и добродетель любви; и мощная сила таинственного соединения душ. То жизнь представлялась ей тихими волнами океана, которые весело рассекала ладья ее, при каждом шаге вспыхивая игривым фосфорическим светом; то она видела себя об руку с прекрасным юношею, которого, казалось, она давно уже знала; где-то в незапамятное время, как будто еще до ее рождения, они были вместе в каком-то таинственном храме без сводов, без столпов, без всякого наружного образа; вместе внимали какому-то торжественному благословению; вместе преклоняли колена пред невидимым алтарем Любви и Поэзии; их голоса, взоры, чувства, мысли сливались в одно существо; каждое жило жизнию другого, и гордые своей двойною гармоническою силою, они смеялись над пустыней могилы, ибо за нею не находили пределов бытию любви человеческой...

Громкий хохот пробудил красавицу — она проснулась — какое-то существо, носившее человеческий образ, было пред нею; в мечтах еще не улетевшего сновидения ей кажется, что это прекрасный юноша, который являлся ее воображению, протягивает руки — и отступает с ужасом.

Пред нею находилося существо, которое назвать человеком было бы преступление; брюшные полости поглощали весь состав его; раздавленная голова качалась беспрестанно, как бы в знак согласия; толстый язык шевелился между отвисшими губами, не произнося ни единого слова; деревянная душа сквозилась в отверстия, занимавшие место глаз, и на узком лбе его насмешливая рука написала: *Кивакель*.

Красавица долго не верила глазам своим, не верила, чтобы до такой степени мог быть унижен образ человеческий... Но она вспомнила о своем прежнем состоянии, вспомнила все терзания, ею понесенные, подумала, что через них перешло и существо, пред нею находившееся; в ее сердце родилось сожаление о бедном Кивакеле, и она безропотно покорилась судьбе своей; гордая искусством любви и страдания, которое передал ей мудрец Востока, она поклялась посвятить жизнь на то, чтобы возвысить, возродить грубое, униженное существо, доставшееся на ее долю, и тем исполнить высокое предназначение женщины в этом мире.

Сначала ее старания были тщетны: что она ни делала, что ни говорила — Кивакель кивал головою в знак согласия — и только: ничто не достигало до деревянной души его. После долгих усилий красавице удалось как-то механически скрепить его шаткую голову, но что же вышло? Она не кивала более, но осталась совсем неподвижною, как и все тело. Здесь началась новая долгая работа: красавице удалось и в другой раз придать тяжелому туловищу Кивакеля какое-то искусственное движение.

Достигши до этого, красавица начала размышлять, как бы пробудить какое-нибудь чувство в своем товарище: она долго старалась раздразнить в нем потребность наслаждения, разлитую природой по всем тварям; представляла ему все возможные предметы, которые только могут расшевелить воображение животного; но Кивакель, уже гордый своими успехами, сам избрал себе наслаждение: толстыми губами стиснул янтарный мундштук, и облака табачного дыму сделались его единственным, непрерывным поэтическим наслаждением.

Еще безуспешнее было старание красавицы вдохнуть в своего товарища страсть к какому-нибудь занятию, к чему-нибудь, об чем бы он мог вымолвить слово, по чему он мог бы узнать, что существует нечто такое, что называется мыслить; но гордый Кивакель сам выбрал для себя и занятие: лошадь сделалась его наукою, искусством, поэзиею, жизнию, любовью, добродетелью, преступлением, верою; он по целым часам стоял, устремивши благоговейный взор на это животное, ничего не помня, ничего не чувствуя, и жадно впивал в себя воздух его жилища.

Тем и кончилось образование Кивакеля; каждое утро он вставал с утренним светом; пересматривал восемьдесят чубуков, в стройном порядке пред ним разложенных; вынимал табачный картуз; с величайшим тщанием и сколь можно ровнее набивал все восемьдесят трубок; садился к окошку и молча, ни о чем не думая, выкуривал все восемьдесят одну за другою: сорок до и сорок после обеда.

Изредка его молчание прерывалось восторженным, из глубины сердца вырвавшимся восклицанием при виде проскакавшей мимо него лошади;

или он призывал своего конюшего, у которого после глубокомысленного молчания с важностию спрашивал:

— Что лошади?

— Да ничего.

— Стоят на стойле? не правда ли? — продолжал господин Кивакель.

— Стоят на стойле.

— Ну то-то же...

Тем оканчивался разговор, и снова господин Кивакель принимался за трубку, курил, курил, молчал и не думал.

Так протекли долгие годы, и каждый день постоянно господин Кивакель выкуривал восемьдесят трубок, и каждый день спрашивал конюшего о своей лошади.

Тщетно красавица призывала на помощь всю силу воли, чувства, ума и воображения; тщетно призывала на помощь молитву души — вдохновение; тщетно старалась пленить деревянного гостя всеми чарами искусства; тщетно устремляла на него свой магнетический взор, чтобы им пересказать ему то, чего не выговаривает язык человека; тщетно терзалась она; тщетно рвалась; ни ее слова, ни ее просьбы, ни отчаяние, ни та горькая язвительная насмешка, которая может вырваться лишь из души глубоко оскорбленной, ни те слезы, которые выжимает сердце от долгого, беспрерывного, томительного страдания, — ничто даже не проскользнуло по душе господина Кивакеля!

Напротив, обжившись хозяином в доме, он стал смотреть на красавицу как на рабу свою; горячо сердился за ее упреки; не прощал ей ни одной минуты самозабвения; ревниво следил каждый невинный порыв ее сердца, каждую мысль ее, каждое чувство; всякое слово, непохожее на слова, им произносимые, он называл нарушением законов Божеских и человеческих; и иногда в свободное от своих занятий время, между трубкою и лошадью, он читал красавице увещания, в которых восхвалял свое смиренномудрие и охуждал то, что он называл развращением ума ее.

Наконец мера исполнилась. Мудрец Востока, научивший красавицу искусству страдать, не передал ей искусства переносить страдания; истерзанная, измученная своею ежеминутною лихорадочною жизнию, она чахла, чахла... и скоро бездыханный труп ее Кивакель снова выкинул из окошка.

Проходящие осуждали ее больше прежнего.

ЭПИЛОГ[4]

«...И все мне кажется, что я перед ящиком с куклами; гляжу, как движутся передо мною человечки и лошадки; часто спрашиваю себя, не обман ли это оптической; играю с ними, или, лучше сказать, мною играют, как куклою; иногда, забывшись, схвачу соседа за деревянную руку и тут опомнюсь с ужасом...»



ДОПОЛНЕНИЯ

ВАРИАНТЫ И ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ ПРИЖИЗНЕННЫХ ИЗДАНИЙ

Основные принципы подачи вариантов в данном издании таковы: здесь отражены только смысловые и стилистические разночтения; орфографические нормативные изменения типа *сурьезно—серьезно*, *от морозу — от мороза*, *быстрой — быстрый* и т. д. не учитываются.

В качестве основного принят текст 1833 г.; для «Отрывка из записок Иринея Модестовича Гомозейки» — текст его первой публикации в «Библиотеке для чтения». Основной текст печатается слева; правее, после косой черты, — последующий его вариант или варианты. Новые фрагменты текста, появившиеся в последующих изданиях, даются после последнего совпадающего с основным текстом слова. В больших по объему отрывках неварьирующиеся внутри него части опускаются и заменяются знаком ~ (тильда).

Обозначение источников вариантов дается общее, в соответствии с принятыми сокращениями (см. ниже). Варианты правки Одоевского для предполагавшегося второго издания «Сочинений» ввиду их немногочисленности приводятся в каждом отдельном случае с соответствующим указанием на источник. Промежуточный вариант, совпадающий с основным текстом, заменяется словами: *как в тексте*. Недописанная часть слова заключается в ломаные скобки < >.

В этом же разделе печатается вторая редакция «Игоши» (см. с. 171).

Печатные источники вариантов обозначаются следующими сокращениями:

1833 — Пестрые сказки с красным словцом... СПб., 1833;
КБ — Комета Белы, альманах на 1833 год. СПб., 1833;
БдЧ — Библиотека для чтения. 1834. № 4;
1844 — *Одоевский В. Ф.* Сочинения. СПб., 1844. Ч. III;
1844_2 — *Одоевский В. Ф.* Сочинения. СПб., 1844. Ч. III. С авторской правкой для предполагавшегося второго издания (хранится в ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 69).

СКАЗКА О МЕРТВОМ ТЕЛЕ, НЕИЗВЕСТНО КОМУ ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ

1833 *1844*

С. 18, эпиграф
Рудый Панько / Гоголь
С. 19
[11–12]возле только что истопленной / возле только что истопленной и жарко истопленной печи печи
С. 19
[18]на нее посмотреть/ на нее смотреть
С. 19
[45]воспоминал / вспоминал
С. 20
[2]он мог бы / мог бы
С. 20
[14–15]человек до пятидесяти / человек до пятнадцати
С. 21
[17]запрягать / запрячь
С. 22
[10]а то я / так я
С. 22
[18]как же вам меня видеть без тела? / *Как в тексте* / как же вам меня видеть? я — без тела! (1844_2)
С. 22
[19]в толк не войду / в толк не возьму
С. 22
[22]при сих словах / при этих словах
С. 23
[17]это личность / это личности
С. 23
[39]проезжавшим / проезжим
С. 23
[43]при чем присовокупляю / при чем совокуплю / к чему присовокуплю (1844_2)
С. 23
[44]тело мое / мое тело
С. 24
[4]окончивши / окончив
С. 24
[25]пробивался / пробился

СКАЗКА О ТОМ, ПО КАКОМУ СЛУЧАЮ ИВАНУ БОГДАНОВИЧУ ОТНОШЕНЬЮ НЕ УДАЛОСЯ В СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ НАЧАЛЬНИКОВ С ПРАЗДНИКОМ

1833 *1844*

С. 34
[6]зато Иван Богданович / Но Иван Богданович
С. 34
[12–13]слов, кланялись и после обеда / слов и после обеда
С. 34
[23]во все сие время / во все это время
С. 34
[25]подороднее / поплотнее
С. 34
[35]в уреченное время / в урочное время
С. 34
[36]свечки / свечи

СКАЗКА О ТОМ, КАК ОПАСНО ДЕВУШКАМ ХОДИТЬ ТОЛПОЮ ПО НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ

1833 *КБ*

С. 46
[1]не в свое дело / не в свои дела
С. 47
[23–24]такие же люди / такие же люди, как и мы
С. 48
[24–25]не мог порядочно выговорить / не мог выговорить
С. 49
[5]докажи же / скажи мне
С. 49
[6–8]живу. — Как! ты можешь ~ о / живу — но об чем чем-нибудь! — Да об чем
С. 49
[11]добро / добродетель
С. 49
[13–14]не употребительны! — Что это значит? / не употребительны!
С. 49
[14–15]до тебя еще никогда не доходило / ты никогда не слыхала

С. 49
[16]А, чувства! чувства? знаю / А, чувства! знаю, знаю
С. 49
[17]такой же / таковой же
С. 49
[23–24]развестися. Как это стыдно! / развестись
С. 49

[25—26]о том, как многого ты на свете не/ знаешь; ты даже не знаешь того чувства, которое	о том, что есть на свете чувство, которого ты не знаешь, которое ты должна изучать

С. 49
[27–28]чувство, которое называют / чувство называют
С. 49
[28]которое проникает / оно проникает
С. 49
[39]добро / добродетель
С. 50
[25]словам добра / словам добродетели
С. 50
[26]Как быть! / что делать?

1833 *1844*

После: проспекту — в *1844* авторское примечание: Мыслящие люди не обвинят автора в *квасном* патриотизме за эту шутку. Кто понимает цену западного просвещения, тому понятны и его злоупотребления.
С. 45, эпиграф
так учтивый / такой учтивый
После: *р. 375* — «Русское отделение»
С. 46
[12]головою / головками
С. 46
[19]газы / газ
С. 46
[27]принялися / принялись
С. 46
[34]башмачки / башмаки
С. 47
[11]с содовой / с содовою
С. 47
[11]англинский / английский

С. 47

[26]Надобно им навезти побольше романов мадам Жанлис / Надобно для них выдумать новую шляпку

С. 47

[37]несколько листов из русской азбуки / несколько заплесневелых сентенций

С. 48

[5–6]как крепко держала она свое невинное ~ сердце! / как крепко держалась она за свое невинное ~ сердце!

С. 48

[29]поплелся / убрался

С. 48

[41]показалось / показалося

С. 49

[5]докажи же / докажи

С. 49

[10]будем мы говорить? / мы будем говорить?

С. 49

[11]об чем? / о чем?

С. 49

[12–13]эти выражения не употребительны! / это все очень скучно!

С. 49

[14]Как не употребительны? / Как скучно?

С. 49

[16–17]чувства глубочайшего почтения и такой же преданности / чувства почтения и преданности

С. 49

[23]за нею / за ней

С. 50

[8–9]равно и глубочайшее почтение / равно и почтение

С. 50

[13]к сим словам / к своим словам

С. 50

[15]эти слова опротивели / это слово опротивело

С. 50

[25]любви, искусства / любви и искусства

С. 50

[26]кроме *глубочайшего почтения и таковой же преданности* / кроме почтения и преданности

С. 50

[31]когда ты меня / когда меня

С. 50

[40–41]своей куклой / своею куклою

С. 50
[42]была смирна и добра, хотя / была и смирна, и добра, хоть
С. 51
[2]страданий / страдания
С. 51
[5–6]за это / за то
С. 51
[7]басурманы / басурмане

ТА ЖЕ СКАЗКА, ТОЛЬКО НА ИЗВОРОТ

1833 *1844*

С. 52, эпиграф
я пред / я перед
С. 52
[4]доходит / доходят
С. 52
[9]страсбуржская / страсбургская
С. 53
[46]сказать вам / вам сказать
С. 54
[19]в слезы / слезы
С. 54
[26]неподкупное чувство / неподкупное, но горькое чувство

ДЕРЕВЯННЫЙ ГОСТЬ, ИЛИ СКАЗКА ОБ ОЧНУВШЕЙСЯ КУКЛЕ И ГОСПОДИНЕ КИВАКЕЛЕ

1833 *1844*

С. 55
[4]гальванический / магический
С. 55
[9]и прахом / прахом
С. 55
[9]иноземного / обезьянного
С. 55
[11]поднялася / поднялась
С. 55
[16]чувство говорит / чувство горит

С. 56
[1]находилося / находилось
С. 56
[10]через / чрез

ОТРЫВОК ИЗ ЗАПИСОК ИРИНЕЯ МОДЕСТОВИЧА ГОМОЗЕЙКИ

БдЧ *1844*

С. 72
Отрывок из записок Иринея Модестовича Гомозейки / История о петухе, кошке и лягушке. Рассказ провинциала. Дмитрию В. Путяте
С. 72
[4]сие происшествие / *Как в тексте* / это происшествие (1844_2)
С. 73
[25]такой от Него положен / такой положен
С. 74
[10]был в нем / в нем был.
С. 74
[13]Не то чтобы / Не то чтоб
С. 74
[21]Не то чтобы / Не то чтоб
С. 74
[33]любил, чтобы / любил, чтоб
С. 74
[34]Вкруг шеи / вокруг шеи
С. 75
[18–19]И еще это / И это
С. 75
[20–21]Две было цели / Две были цели
С. 75
[36]чтобы за нее / чтоб за нее
С. 75
[41]а Васька / Васька
С. 76
[22]до развязки / до страшной завязки
С. 77
[37]Операцию? / Операцию!
С. 77
[39]голову! / голову?

С. 78
[17]концы / хвосты
С. 78
[31]к Великому пришлю / к Великому посту пришлю
С. 79
[8]пьяницей / пьяницею
С. 79
[18]рукой / рукою
С. 80
[46]попадется / попадался
С. 81
[43]они все / все они
С. 81
[44]Прочитавши / Прочитав
С. 83
[2]уменьшить / отдалить
С. 83
[18]до головы / до его головы

ИГОША

(Алек. Степ. Хомякову)

<2-я редакция>

Я сидел с нянюшкой в детской; на полу разостлан был ковер, на ковре игрушки, а между игрушками — я; вдруг дверь отворилась, а никто не взошел. Я посмотрел, подождал — все нет никого.

— Нянюшка! нянюшка! кто дверь отворил?

— Безрукий, безногий дверь отворил, дитятко!

Вот безрукий, безногий и запал мне на мысль.

— Что за безрукий, безногий такой, нянюшка?

— Ну, да так, известно что, — отвечала нянюшка, — безрукий, безногий.

Мало мне было нянюшкиных слов, и я, бывало, как дверь ли, окно ли отворится — тотчас забегу посмотреть: не тут ли безрукий — и, как он ни увертлив, верно бы мне попался, если бы в то время батюшка не возвратился из города и не привез с собою новых игрушек, которые заставили меня на время позабыть о безруком.

Радость! веселье! прыгаю! любуюсь игрушками! А нянюшка ставит да ставит рядком их на столе, покрытом салфеткою, приговаривая: «Не ломай, не разбей, помаленьку играй, дитятко». Между тем зазвонили к обеду.

Я прибежал в столовую, когда батюшка рассказывал, отчего он так долго не возвращался. «Все постромки лопались, — говорил он, — а не постромки, так кучер то и дело что кнут свой теряет; а не то пристяжная ногу зашибет, беда, да и только! Хоть стань на дороге; уж в самом деле я подумал, не от Игоши ли?»

— От какого Игоши? — спросила его маменька.

— Да вот послушай — на завражке я остановился лошадей покормить; прозяб я и вошел в избу погреться; в избе за столом сидят трое извозчиков, а на столе лежат четыре ложки; вот они хлеб ли режут, лишний ломоть к ложке положат; пирога ли попросят, лишний кусок отрушат...

— Кому это вы, верно, товарищу оставляете, добрые молодцы? — спросил я.

— Товарищу не товарищу, — отвечали они, — а такому молодцу, который обид не любит.

— Да кто ж он такой? — спросил я.

— Да Игоша, барин.

Что за Игоша, вот я их и ну допрашивать.

— А вот послушайте, барин, — отвечал мне один из них, — летось у земляка-то родился сынок, такой хворенький, Бог с ним, без ручек, без ножек,— в чем душа; не успели за попом сходить, как он и дух испустил; до обеда не дожил. Вот, делать нечего, поплакали, погоревали, да и предали младенца земле. Только с той поры все у нас стало не по-прежнему... впрочем, Игоша, барин, малый добрый: наших лошадей бережет, гривы им заплетает, к попу под благословенье подходит; но если же ему лишней ложки за столом не положишь или поп лишнего благословенья при отпуске в церкви не даст, то Игоша и пойдет кутить: то у попадьи квашню опрокинет или из горшка горох выбросает; а у нас или у лошадей подкову сломает, или у колокольчика язык вырвет — мало ли что бывает.

— И! да я вижу, Игоша-то проказник у вас, — сказал я, — отдайте-ка его мне, и если он хорошо мне послужит, то у меня ему славное житье будет, я ему, пожалуй, и харчевые назначу.

Между тем лошади отдохнули, я отогрелся, сел в сани, покатился: не отъехали версты — шлея соскочила, потом постромки оборвались, а наконец оглобля пополам, — целых два часа понапрасну потеряли. В самом деле подумаешь, что Игоша ко мне привязался.

Так говорил батюшка; я не пропустил ни одного слова. В раздумье пошел я в свою комнату, сел на полу, но игрушки меня не занимали — у меня в голове все вертелся Игоша да Игоша. Вот я смотрю — няня на ту минуту вышла — вдруг дверь отворилась; я по своему обыкновению хотел было вскочить, но невольно присел, когда увидел, что ко мне в комнату вошел, припрыгивая, маленький человечек в крестьянской рубашке, подстриженный в кружок; глаза у него горели, как угольки, и голова на шейке у него беспрестанно вертелась; с самого первого взгляда я заметил в нем что-то странное, посмотрел на него пристальнее и

увидел, что у бедняжки не было ни рук, ни ног, а прыгал он всем туловищем. Как мне его жалко стало! Смотрю, маленький человечек — прямо к столу, где у меня стояли рядком игрушки, вцепился зубами в салфетку и потянул ее, как собачонка; посыпались мои игрушки: и фарфоровая моська в дребезги, барабан у барабанщика выскочил, у колясочки слетели колеса, — я взвыл и закричал благим матом: «Что за негодный мальчишка! зачем ты сронил мои игрушки, эдакой злыдень! да что еще мне от нянюшки достанется! Говори, зачем ты сронил игрушки?»

— А вот зачем, — отвечал он тоненьким голоском, — затем, — прибавил он густым басом, — что твой батюшка всему дому валежки сшил, а мне, маленькому, — заговорил он снова тоненьким голоском, — ни одного не сшил, а теперь мне, маленькому, холодно, на дворе мороз, гололедица, пальцы костенеют.

— Ах, жалкинький! — сказал я сначала, но потом, одумавшись, — да какие пальцы, негодный, да у тебя и рук-то нет, на что тебе валежки?

— А вот на что, — сказал он басом, — что ты вот видишь, твои игрушки в дребезгах, так ты и скажи батюшке: «Батюшка, батюшка, Игоша игрушки ломает, валежек просит, купи ему валежки», — а ты возьми да и брось их ко мне в окошко.

Игоша не успел окончить, как нянюшка вошла ко мне в комнату; Игоша не прост молодец, разом лыжи навострил, а нянюшка — на меня: «Ах, ты, проказник, сударь! зачем изволил игрушки сронить? Нельзя тебя одного ни на минуту оставить. Вот ужо тебя маменька...»

— Нянюшка! не я уронил игрушки, право, не я, это Игоша...

— Какой Игоша, сударь?.. еще изволишь выдумывать.

— Безрукий, безногий, нянюшка.

На крик прибежал батюшка, я ему рассказал все, как было, он расхохотался. —Изволь, дам тебе валежки, отдай их Игоше.

Так я и сделал. Едва я остался один, как Игоша явился ко мне, только уже не в рубашке, а в полушубке.

— Добрый ты мальчик, — сказал он мне тоненьким голоском, — спасибо за валежки; посмотри-ка, я из них себе какой полушубок сшил, вишь, какой славный!

И Игоша стал повертываться со стороны на сторону и опять к столу, на котором нянюшка поставила свой заветный чайник, очки, чашку без ручки и два кусочка сахара, — и опять за салфетку, и опять ну тянуть.

— Игоша! Игоша! — закричал я, — погоди, не роняй — хорошо мне один раз прошло, а в другой не поверят; скажи лучше, что тебе надобно?

— А вот что, — сказал он густым басом, — я твоему батюшке верой и правдой служу, не хуже других слуг ничего не делаю, а им всем батюшка к празднику сапоги пошил, а мне, маленькому, — прибавил он тоненьким голоском, — и сапожишков нет, на дворе днем мокро, ночью морозно, ноги ознобишь... — и с сими словами Игоша потянул за салфетку, и полетели на пол и заветный нянюшкин чайник, и очки выскочили из очешника, и чашка без ручки расшиблась, и кусочек сахарца укатился...

Вошла нянюшка, опять меня журит; я на Игошу, она на меня.

— Батюшка, безногий сапогов просит, — закричал я, когда вошел батюшка.

— Нет, шалун, — сказал батюшка, — раз тебе прошло, в другой раз не пройдет; эдак ты у меня всю посуду перебьешь; полно про Игошу-то толковать, становись-ка в угол.

— Не бось, не бось, — шептал мне кто-то на ухо, — я уже тебя не выдам.

В слезах я побрел к углу. Смотрю: там стоит Игоша; только батюшка отвернется, а он меня головой толк да толк в спину, и я очутюсь на ковре с игрушками посредине комнаты; батюшка увидит, я опять в угол; отворотится, а Игоша снова меня толкнет.

Батюшка рассердился.

— Так ты еще не слушаться? — сказал он, — сейчас в угол и ни с места.

— Батюшка, это не я ... это Игоша толкается.

— Что ты вздор мелешь, негодяй; стой тихо, а не то на целый день привяжу тебя к стулу.

Рад бы я был стоять, но Игоша не давал мне покоя; то ущипнет меня, то оттолкнет, то сделает мне смешную рожу — я захохочу; Игоша для батюшки был невидим — и батюшка пуще рассердился.

— Постой, — сказал он, — увидим, как тебя Игоша будет отталкивать, — и с сими словами привязал мне руки к стулу.

А Игоша не дремлет: он ко мне и ну зубами тянуть за узлы; только батюшка отворотится, он петлю и вытянет; не прошло двух минут — и я снова очутился на ковре между игрушек, посредине комнаты.

Плохо бы мне было, если б тогда не наступил уже вечер; за непослушание меня уложили в постель ранее обыкновенного, накрыли одеялом и велели спать, обещая, что завтра, сверх того, меня запрут одного в пустую комнату.

Ночью, едва нянюшка загнула в свинец свои пукли, надела коленкоровый чепчик, белую канифасную кофту, пригладила виски свечным огарком, покурила ладаном и захрапела, — я прыг с постели, схватил нянюшкины ботинки и махнул их за форточку, приговоря вполголоса: «Вот тебе, Игоша».

— Спасибо! — отвечал мне со двора тоненький голосок.

Разумеется, что ботинок назавтра не нашли, и нянюшка не могла надивиться, куда они девались.

Между тем батюшка не забыл обещания и посадил меня в пустую комнату, такую пустую, что в ней не было ни стола, ни стула, ни даже скамейки.

— Посмотрим, — сказал батюшка, — что здесь разобьет Игоша! Нет, брат, я вижу, что ты не по летам вырос на шалости... пора за ученье. Теперь сиди здесь, а чрез час за азбуку, — и с этими словами батюшка запер двери. Несколько минут я был в совершенной тишине и прислушивался к тому странному звуку, который слышится в ухе, когда совер-

шенно тихо в пустой комнате. Мне приходил на мысль и Игоша. Что-то он делает с нянюшкиными ботинками? Верно, скачет по гладкому снегу и взрывает хлопья.

Как вдруг форточка хлопнула, разбилась, зазвенела, и Игоша, с ботинкой на голове, запрыгал у меня по комнате. «Спасибо! Спасибо! — закричал он пискляво, — вот какую я себе славную шапку сшил!»

— Ах, Игоша! не стыдно тебе? Я тебе и полушубок достал, и ботинки тебе выбросил из окошка, — а ты меня только в беды вводишь!

— Ах, ты, неблагодарный, — закричал Игоша густым басом, — я ли тебе не служу, — прибавил он тоненьким голоском, — я тебе и игрушки ломаю, и нянюшкины чайники бью, и в угол не пускаю, и веревки развязываю; а когда уже ничего не осталось, так рамы бью; да к тому ж служу тебе и батюшке из чести, обещанных харчевых не получаю, а ты еще на меня жалуешься. Правда у нас говорится, что люди — самое неблагодарное творение! Прощай же, брат, если так, не поминай меня лихом. К твоему батюшке приехал из города немец, доктор, который надоумил твоего батюшку тебя за азбуку посадить, да все меня к себе напрашивается, попробую ему послужить; я уж и так ему стклянки перебил, а вот к вечеру после ужина и парик под бильярд закину — посмотрим, не будет ли он тебя благодарнее...

С сими словами исчез мой Игоша, и мне жаль его стало.

С тех пор Игоша мне более не являлся. Мало-помалу ученье, служба, житейские происшествия отдалили от меня даже воспоминание о том полусонном состоянии моей младенческой души, где игра воображения так чудно сливалась с действительностью; этот психологический процесс сделался для меня недоступным; те условия, при которых он совершался, уничтожились рассудком; но иногда, в минуту пробуждения, когда душа возвращается из какого-то иного мира, в котором она жила и действовала по законам, нам здесь неизвестным, и еще не успела забыть о них, в эти минуты странное существо, являвшееся мне в младенчестве, возобновляется в моей памяти, и его явление кажется мне понятным и естественным.

ОТРЫВОК ИЗ ЗАПИСОК ИРИНЕЯ МОДЕСТОВИЧА ГОМОЗЕЙКИ

Критик. Какая цель вашей сказки?
Автор (*униженно кланяясь*). Рассказать ее вам.

В бытность свою в городе Реженске покойная моя бабушка была свидетельницею одного странного происшествия: будучи уверен, что публике необходимо знать все, что касается до меня или до моих родственников и знакомых, я расскажу сие происшествие со всею подробностью, как мне

его рассказывали, и, по моему обыкновению, не прибавляя от себя ни единого слова.

Много лет тому назад находился в нашем городе в звании городничего отставной прапорщик Иван Трофимович Зернушкин. Давно уже исправлял он эту должность, — да и не мудрено: все так им были довольны — никогда он ни во что не мешался, позволял всякому делать, что ему было угодно, зато не позволял никому и в свои дела вмешиваться. Некоторые затейники, побывавшие в Петербурге, часто приступали к нему с разными, небывалыми у нас и вредными нововведениями; они, например, толковали, что не худо бы осматривать, хотя изредка, лавки с съестными припасами, потому что реженские торговцы имели, не знаю отчего, привычку продавать в мясоястие баранину, а в пост рыбу, да такую, прости Господи! — что хоть вон беги с рынка; иные прибавляли, что не худо бы хотя песку подсыпать по улицам и запретить выкидывать на них всякий вздор из домов, ибо от того будто бы в осень никуда пройти нельзя и будто бы от того заражается воздух; бывали даже такие, которые утверждали, что необходимо в городе завести хотя одну пожарную трубу с лестницами, баграми, топорами и другими вычурами. Иван Трофимович на все сии неразумные требования отвечал весьма рассудительно, остроумно и с твердостию. Он доказывал, что лавочники никому своего товару не навязывают и что всякий сам должен смотреть, что покупает; что одни лишь пустодомы да непорядочные люди могут требовать от городничего наблюдения за таким делом, которое должна знать последняя кухарка. Касательно мостовой он говорил, что Бог дает дождь и хорошую погоду и, видно, уж такой от Него положен предел, чтобы осенью была по улицам грязь по колено: сверх того, добрые люди сидят дома и не шатаются по улицам, а когда русскому человеку нужда, так он везде пройдет. Если бы, прибавлял он, на улицу ничего не выкидывали, свиньям бедных людей нечего было бы есть в осеннее и зимнее время. Что касается до воздуха, то воздух не человек и заразиться не может. Относительно пожарной трубы Иван Трофимович доказывал, что таковой и прежде в городе Реженске не имелось, а ныне, когда три части оного уже выгорели, для четвертой нечего уже затевать такие затеи; что, наконец, он, карабинерного полка отставной прапорщик Иван Трофимов сын Зернушкин, уже не первый десяток на сем свете живет и сам знает свою должность исправлять, городом управлять и начальству отвечать. Такие благоразумные и неоднократно повторенные рассуждения скоро закрыли уста затейникам, особенно, когда однажды, в сердитый час, Иван Трофимович присовокупил, что его, городничего, должность не за грязью на мостовых и не за гнилою рыбою смотреть, а за теми, которые учнут в фортеции злые толки распускать и противу службы злое умышлять.[1]

Все в городе похвалили Ивана Трофимовича за его твердый нрав и обычай, и, благодаря Бога, у нас, в Реженске, и до сих пор все осталось по-прежнему: на улицах грязь по колено, по рынкам пройти нельзя. Та только разница, что вместо пожарной трубы в последнее время у нас заведена прекрасная зеленая бочка с двумя также зелеными баграми,

но, по завещанию Ивана Трофимовича, на пожар они никогда не вывозятся, ибо иначе легко могли бы испортиться, а хранятся за замком, в нарочно для того определенном сарае. Время оправдало благоразумное распоряжение Ивана Трофимовича: скоро потом проезжавший чиновник долгом почел донести губернатору об отличном устройстве пожарных инструментов в городе Реженске.

Как бы то ни было, Иван Трофимович, избавившись от докуки реженских затейников, обратился к своим любимым занятиям, которых у него было два, — а именно: чай и кошка. Да, милостивые государи! Иван Трофимович очень любил чай и даже был в нем большой знаток.

По сей-то причине он часто хаживал по лавкам собирать у купцов чайные пробочки, чтоб не ошибиться. Таким образом, у Иван Трофимовича набиралось когда четверть, когда полфунтика. Не то чтобы он все пробочки мешал вместе: нет! Как настоящий знаток, он выпивал каждую поодиночке, и которого чай он похвалит, тот купец и несет ему гостинец. Говорят, однако же, к чести Ивана Трофимовича, — такая была у него добрая душа! — что он при этом случае руководствовался не столько качеством чая, сколько или очередью между купцами, или разными случавшимися обстоятельствами: так, например, тот, у кого что-нибудь было на душе, уже наверное знал, что Иван Трофимович придет к нему за пробочкою. Не то чтобы это можно было назвать взяткою! Нет! Наши реженские лавочники так любили Ивана Трофимовича, что носили к нему все из чести! Да не для чего было и взятки давать: дел таких, как нынче, не было. Разумеется, и тогда в городе было не без ссор, не без зависти, не без злости — только тогда обычай был другой; придут, бывало, к Ивану Трофимовичу тяжущиеся: оба говорят, говорят, — кто кого перекричит; а Иван Трофимович послушает, послушает, да одному толчок, другому другой — никого не обидит покойник, и вот тяжущиеся потолкуют между собою, потолкуют, много что подерутся — душеньку отведут, да тут же в питейном дому и помирятся — да еще за здравие Ивана Трофимовича выпьют. Счастливое тогда времечко было!

Любил кушать чай Иван Трофимович, но не менее того любил он и кошку. Не то чтобы он кошку любил, — нет! — а любил, чтобы кошка у него вкруг шеи ходила, ластилась, терлась да на ухо ему шептала. Правду сказать, да что и за кошка! Нынче уж нет таких кошек! Большая, лоснистая, черная, а мордка, душка и лапки белые, как снег, словно в перчатках.[2] Уж нечего и говорить: у Ивана Трофимовича мышей и в заводе не бывало. Да какие у ней были милые привычки! Говорю вам, что нынче уж нет таких кошек. Бывало, Иван Трофимович проснется, а кошка прямо к нему на постелю, то вытянется, то согнется дугою, то замурлычет, то замяучит — а зеленые глазки у ней так и катаются, словно изумруды. Тогда Иван Трофимович вставал, разводил огонь, ставил чайник в печку, надевал фризовую шинель, брал кулечек и отправлялся на рынок, а кошка вслед за ним. Тут и собаки лают, и возы везут, и народ кричит, а ей горя мало: только что через лужицы перепрыгивает да лапки отряхает. Куда в лавку Иван Трофимович, туда и

его кошка — удивленье всему городу! — и вот ей где рыбку, где свежинки: она знай кушает да мурлычет! Возвратится Иван Трофимович, возьмет чайник, сядет к столику возле окошка, а кошка даром, что сыта: не думайте, чтобы она, как нынешние кошки, свернулась в кружок да захрапела, — нет! — она на столик проберется, между чашки и сахарницы, ничего не заденет, или сядет на окошке на солнышко, или на плечо к Ивану Трофимовичу, и мурлыкать не мурлычет, а трется, трется вокруг шеи и шепчет-шепчет на ухо Ивану Трофимовичу; Иван же Трофимович то погладит ее, то чайку прихлебнет... Так протекали долгие дни.

Один из новейших сочинителей описал эти немые минуты семейственного счастия, когда в голове не проходит ни одной мысли, в душе рождается какое-то тихое, невыразимое чувство,[3] но кто опишет счастие Ивана Трофимовича в этом уединении! Теплая избушка, теплый тулуп, пестрые обои, мыши кота погребают во всю стену, треугольная шляпа, шпага; солнышко светит, от чаю пар столбом, мимо окошка всякий кланяется, вкруг шеи теплая Васькина шкурка, и больше никого — ни детей, ни жены, ни кухарки, и триста верст от губернского города! И еще это тихое, невыразимое счастие повторяется каждый день, и не один раз в день, а два, поутру и после обеда; иногда же и в промежутках! Две было цели в жизни Ивана Трофимовича: напиться чаю и молча держать Ваську на шее. Эта мысль не оставляла его ни на минуту: он засыпал с нею, видел ее во сне и с нею просыпался; к этой мысли были привязаны все его поступки, все желания, все малейшие движения его души, — других в ней не было. Приставал ли к нему кто-нибудь с делом, случалось ли что важное в городе, он отлагал все, чтоб не пропустить положенного часа для чаю. Говорили ли о ревизоре, — он боялся его только потому, что к нему неловко будет явиться вместе с Ваською.

Но нет вечного счастия в этой жизни! У Ивана Трофимовича была однофамилица, и даже несколько сродни, из дворян, — вдова Марфа Осиповна Зернушкина. Случись у ней какое-то дело в городе Реженске: никак, кто-то у ней мельницу околдовал, ртути в плотину напустил.[4] Марфа Осиповна была женщина бойкая, умная, скопидомка и хотя грамоте не умела, но тяжебные дела знала лучше иного приказного: потому решилась она хлопотать о делах сама, своею особою, а Иван Трофимович был ей нужен, чтобы за нее по родству руку прикладывать. Она въехала к нему прямо в дом. Соблазна тут никакого быть не могло, потому что им обоим вместе было лет сотня с лишком: добрый Иван Трофимович с радушием отвел ей у себя каморку. Вот, разумеется, при свидании родные обрадовались. Пошли толки о том, о сем, о старине, о новизне, об урожае — а Васька туда же, то ластится, то трется, то замурлычет, то замяучит, то посмотрит на них прищуренными глазками...

— Э! да какая у тебя товарка! — сказала Марфа Осиповна, — давно ли, батюшка, завелся?

— Да давно уж, матушка! лет восемь; с тех пор как мы с тобою не видались...

— Да где, батюшка, и видеться! Ведь восемьдесят верст не шутка! Ты человек служебный, а мне уж не под лета. Три дня, батюшка, к тебе тащилась: ведь на своих!.. Чуть было в грязи не утонула, а еще все большой дороги держалась; ты знаешь, у нас новую дорогу сделали! Кисанька! Кисанька!.. Экая славная!.. Ну, вижу я, ты, право, домком позавелся! Уж не жениться ли хочешь? На дворе я у тебя видела матерого петуха, а здесь кота заморского: а ведь, по нашему, по бабьему реченью, кот да петух что жена, милый друг!

— Ну уж, матушка Марфа Осиповна: что до петуха касается, то его хоть бы не было. Такой крикун — провал его возьми! — глаз свести не даст. Я, пожалуй, вам его хоть даром отдам...

— Благодарствую, батюшка Иван Трофимович. Да зачем это?

— И! ничего, матушка! свои люди, сочтемся. А уж Васька-то мой! То уж подлинно сказать, Марфа Осиповна, что мой Васька милее иной жены. Кабы вы знали, какой затейник, какой забавник! Не только что на охоту ходит, да песни поет, да старую шею у меня греет; нет, матушка: ведь от меня он крохи не получает, а сам со мною по городу бродит да с лавочников оброк берет!..

— Неужели в самом деле?

Невозможно описать всех рассказов Ивана Трофимовича и всех расспросов Марфы Осиповна, и я, подобно сочинителям чувствительных романов, когда дело доходит до развязки, предоставляю читателям дополнить воображением все, что было сказано, недосказано и пересказано при этом свидании.

Прошло несколько дней. Однажды после обеда, сидя за чайным столиком, Марфа Осиповна сказала Ивану Трофимовичу:

— Смотрю я на тебя, батюшка!..

— Да! — отвечал Иван Трофимович. — Так что же?

— А то, что нехорошо!

— Что нехорошо?..

— Да так! нехорошо...

— Да что оно такое нехорошо, матушка?

— А то, зачем ты позволяешь кошке себе на ухо шептать!

— На ухо шептать?

— Да, вон видишь: ты, батюшка, ее отогнал, а она тебе опять в ухо лезет.

— Признательно вам сказать, Марфа Осиповна, что же тут дурного? Оно тепло и приятно.

— Да то тут дурного, Иван Трофимович, что она тебе жабу в голове нашепчет.[5]

— Как жабу нашепчет?

— Да так, что у тебя ни с того ни с сего жаба в голове заведется.

— Что ты, матушка, говоришь? Уж жаба в голове заведется!.. Да как она туда зайдет?

— Как хочешь, Иван Трофимович! верь или не верь: я тебе не свои слова говорю, а что от родителей слыхала. Ты помнишь батюшку, по-

койника: он, бывало, слова даром не проронит; а он частенько — царство ему небесное! — толковал, что если кому кошка на ухо шепчет, у того непременно в голове жаба заведется.

«Что эта баба мелет? — думал про себя Иван Трофимович, ложась в постелю и поглаживая Ваську. — Вишь, кошка жабу может нашептать! Чего эти бабы не выдумают!»

Однако ж у Ивана Трофимовича в голове и один и два. Вот кажется Ивану Трофимовичу, что его что-то в голову стукнуло и будто голова у него заболела. И он думает: «Болит она аль нет? болит, точно болит!.. Нет, не болит, точно не болит!..»

Вставши поутру, Иван Трофимович, как человек благоразумный, рассудил, что в таких случаях лучше всего спросить человека знающего. Был у него задушевный приятель, Богдан Иванович, уездный лекарь. Давно они уже с ним не видались. «Дай-ка зайду к Богдаше, — сказал Иван Трофимович, — да спрошу: он человек искусный и верно мне всю правду скажет». Сказано — сделано.

Не хотелось Ивану Трофимовичу признаться, что он поверил бабьим сплетням, но, как человек тонкий, завел речь стороною.

После обыкновенных приветствий Иван Трофимович сказал лекарю:

— Что это, батюшка, Богдан Иванович? У нас в городе все головой жалуются. Отчего бы это?

— Да не мудрено, Иван Трофимович! — отвечал лекарь. — Теперь пора осенняя, а в эту пору обыкновенно усиливается геморрой.

— А разве только что от геморрою и может болеть голова?

— Нет; она может болеть и от разных причин: от простуды, от угару, от несварения пищи.

— А от каких ни есть других причин может болеть голова?

— Да от каких же это?

— Ну, примером сказать, правда ли это, батюшка, что будто бы иногда у человека жаба заводится в голове?

— Мало ли чудес в теле человеческом! Бывали и такие примеры.

— Как! Бывали?

— Да, но, к счастию, очень редко.

— Какие чудеса на свете бывают! Да как же помочь в таком несчастном случае?

— Ну, тут уж надобно делать операцию!

— Операцию?

— Да! И очень трудную. Вскрывают голову.

— Вскрывают голову! Да как же это?

— Да вот, видишь: есть такой инструмент; он словно крышка с чайника, только кругом его острые зубчики, как у пилки.

— Ну?

— Вот на голове выбреют волосы, кожицу подрежут кругом, да и примутся вертеть этот инструмент на черепе: он и выпилит из него кружочек.

— Ну?

— Ну, кружочек снимут: если лягушка или что другое на том месте, то...

— Как, если на том месте!.. А если на другом?

— Ну, так еще вертят череп.

Ноги оледенели у Ивана Трофимовича; однако ж он собрался с силами и выговорил:

— Как же это, батюшка! этак всю голову как тыкву изрежут!.. Да что ж с человеком-то в это время бывает?

— Чему быть с человеком! Он лежит без памяти.

— И живут еще после этакого мучения?

— Признательно сказать, Иван Трофимович, так почти всегда умирают.

В раздумье пошел Иван Трофимович от лекаря. «Не соврала баба! — сказал он дорогою, — не соврала! Экая беда какая!» И, пришедши домой, он увидел, что Марфа Осиповна уже собирается в путь.

— Куда спешишь, матушка?

— Да что, Иван Трофимович, время терять! Спасибо тебе, все дела мои покончила; какие концы остались, ты и без меня их заправишь. Благодарим за хлеб, за соль...

— Не на чем, матушка, не на чем!

Когда Марфа Осиповна собралась совсем уже садиться в кибитку, Иван Трофимович скрепя сердце сказал ей:

— Послушай, матушка: подарил я тебе петуха... возьми уж... и кошку!

Марфе Осиповне того только и хотелось.

— И, зачем это! — отвечала она. — Ведь у тебя Васька единое утешение...

— Нет, матушка! Я вот, видишь, человек холостой, прибирать в доме некому, а ведь кошка блудница; прыгнет неравно куда да заденет, разобьет... У тебя же в деревне простор большой.

— И подлинно так, Иван Трофимович! Давай, давай; а я тебе за то к Великому пришлю медку к чаю да грибков сушеных... Ведь ты, чай, постничаешь?..

Почти слезы навернулись у Ивана Трофимовича, когда пришлось расставаться с Ваською; но делать было нечего. Петуха усадили в лукошко, Ваську в мешок, Марфу Осиповну в кибитку, и все тряхнулось и покатилось.

С тех пор жизнь опостыла Ивану Трофимовичу. Все ему грустно, все холодно вокруг шеи; даже чай ему казался горьким, сколько он ни прикусывал сахару. Войдет ли в комнату — ему чудится, что Васька мурлычет; пойдет ли по городу — все оборачивается полюбоваться на него; то схватится за холодную шею — и нет Васьки!..

Однажды, когда Иван Трофимович сидел за чайным столиком и перед ним стыла налитая чашка, зашел к нему приятель.

— Здравствуй, батюшка Иван Трофимович! Подобру ли, поздорову поживаешь?..

— Нет, почтеннейший!.. нездоровится! Даже чай в горлышко нейдет.

— Да что ж такое с вами, Иван Трофимович?

— Да Бог весть что!.. И голова побаливает, да и что-то грустно все; ни на что глядеть не хочется.

— И, батюшка, Иван Трофимович! Хотите, я вас лекарству научу?

— Удружи, почтеннейший!

— Прибавляйте кизлярской водочки[6] к чаю — так не то заговорите.

— Что ты, почтеннейший! Я сроду хмельного в рот не брал и вкусу в нем не знаю.

— Попробуйте. Ведь вам уж пьяницей не сделаться!.. А кизлярская водка с чаем, скажу вам, лучшее лекарство от всех болезней. Лекаря обыкновенно ее отсоветывают оттого, что это лекарство отнимает у них барыши, а его действительность я сам на себе испытал. Вот, ономнясь,[7] у бугорья мост у меня под кибиткою провалился: кучер еще как-то удержался, а меня отбросило в промоину, — по уши в воду, батюшка! — Нитки сухой не осталось! Приехал домой — день-то был морозный — такая меня проняла трясовица,[8] что свету Божьего не взвидел: в голову бьет, зубы стучат, руки и ноги ходенем ходят. Что ж я? — Жена! давай чаю, давай водки! Да как вытянул стаканчика два, на другой день как рукой сняло. Ведь это уж видимый опыт!.. Какое бы лекарство так скоро подействовало? Послушайтесь, Иван Трофимович, попробуйте: право, благодарить меня будете! Ведь есть у вас кизлярская?..

— Держу для приятелей.

— Ну, попробуйте! Ведь раз — ничего не стоит!

Иван Трофимович послушался, попробовал; сперва было поморщился, но потом он сказал: «Странное дело!.. Водка лучше вкусу придает чаю! Посмотрим, какая-то будет польза».

После двух чашек в самом деле Ивану Трофимовичу сделалось гораздо веселее. Это наслаждение он повторил и на другой день, и на третий, и на четвертый, и так далее.

Однажды сильная головная боль разбудила Ивана Трофимовича: он вскочил с постели как угорелый. Скорей к кизлярке: выпил — помогло. Через несколько времени другой толчок, и сильнее первого: опять к кизлярке — и опять помогло. Потом еще третий — и кизлярка уже не помогла. Тщетно Иван Трофимович увеличивал прием своего лекарства: ему все было хуже да хуже. Иван Трофимович струсил; ему уже кажется, что у него в голове что-то шевелится и царапается: беда, и только!

И с этого времени страшные сны пошли у Ивана Трофимовича. То ему кажется, что у него череп снимают, как крышку, а в черепе-то целое гнездо лягушек и всяких гадов. То ему кажется, будто он сам обратился в огромную и толстую жабу: и горько, и стыдно ему!.. Хочет надеть сертук, чтоб прикрыться, а сертук не застегивается! — Лишь рукава по воздуху болтаются!.. То, наконец, ему кажется, что у него в голове целый город Реженск, — крик, шум, скрип от возов... а по улицам все ходят не люди, а лягушки на задних лапках и с ножки на ножку переваливаются!..

Не на шутку испугался Иван Трофимович! И стыд прочь, и бросился он к лекарю.

— Батюшка, Богдан Иванович! помогите, спасите!

— Что с вами случилось, Иван Трофимович? Дайте-ка пульс пощупать...

— И! полно, батюшка!.. какой тут пульс! Помните, мы с вами недавно разговор имели об одной странной болезни?..

— Ну, помню. Так что же?

— Ну, батюшка? Эта самая болезнь со мною, грешным, и приключилась...

— Я вас не понимаю, Иван Трофимович...

— Чего тут не понимать, батюшка! Жаба у меня в голове завелась. Да!.. жаба, понимаете? Жаба в голове...

— Бог с вами, Иван Трофимович! Да с чего вы это взяли?

— Как с чего взял! Я перед вами, батюшка, как перед отцом духовным, таиться не буду; все вам расскажу. Пристрастился я к кошке... Помните, у меня кошка была, такая славная, теплая — провал ее возьми! — черная, лоснистая... Вот и повадилась она, окаянная, мне на ухо шептать: шептала, шептала да жабу и нашептала...

Лекарь захохотал во все горло.

— Помилуйте, Иван Трофимович! С вашим умом, и верить такому вздору?..

— Смейся, батюшка, смейся, как хочешь! — вскричал Иван Трофимович сквозь слезы. — Ведь ты не знаешь, что у меня в голове делается, а я так знаю; я ведь чувствую, как в ней кто-то, проклятый, царапается, — инда голова трещит; а уж болит-то она, болит-то — едва рассудка не теряю! Что за беда такая! Уж шестой десяток живу на свете, на службе уже сороковой год, всегда верой и правдой служил и под турку ходил, и под картечью бывал, дошел до звания городничего, и никогда со мною таковой оказии не бывало, а теперь, под старость лет, Бог меня посетил таким позором!.. Помоги, батюшка, помоги как хочешь, не то я сам на себя руки наложу!..

Лекарь, видя, что все его увещания будут тщетны в эту минуту, решился более не противоречить старику и сказал:

— Ну, слушайте ж, Иван Трофимович! Если подлинно в вас есть такая болезнь, то возьмите несколько терпенья: я уже вам, кажется, сказывал, что я только мельком слыхал о такой странной болезни, но, признательно вам откроюсь, никогда в глаза не видывал, ни в книгах не читывал. Дайте мне время немножко подумать да в книжках справиться. Я сам не замедлю к вам ответ принести, а теперь вот примите этот прохладительный порошок да привяжите к голове капустных листьев, а там, даст Бог, увидим, что надобно делать.

По выходе Ивана Трофимовича лекарь задумался. В нем невольно взволновалась старая студенческая кровь; он невольно вспомнил то восхищение, с каким, бывало, он и его товарищи узнавали о поступлении в клинику какого-нибудь странного больного или странного мертвого. «Что за несчастие! — говаривали они, — зима уже давно началась, а еще так мало к нам привозят замороженных кадаверов!»[9] — «Какое счастие! — кричали они друг другу, — целых шесть славных кадаверов привезли!» А если между кадаверами попадется какой-нибудь урод с шестью паль-

цами, с сердцем на правой стороне, с двойным желудком: то-то радость!.. то-то восхищение!.. Новое знание! надежда открытия! пояснение наблюдений! новые толки профессора! новые системы![10]

Давно уже этот род наслаждения потерялся для нашего уездного лекаря; уже пятнадцать лет, как он оставил столицу: до него не дошло почти ни одного из наблюдений, сделанных в продолжение этого времени, в продолжение пятнадцати лет — этого медицинского века! Близ него ни академии, ни журналов, ни библиотеки, а одна почти механическая работа, одна нужда доставать себе пропитание посреди людей необразованных: не с кем проверить даже самого простого наблюдения; нет минуты, чтобы привести в порядок свои опыты! все двадцать четыре часа в сутки расходуются на разъезды, на следствия, на самые мелочные занятия жизни. С отчаянием врач посмотрел на свою скудную библиотеку: Лаврентия Гейстера «Анатомия», изданная в 1775 году;[11] какой-то «Полный врач», того же времени;[12] школьная диссертация его приятеля «О нервном соке»; его собственная диссертация на степень лекаря, в свое время наделавшая много шума: «О пристойном железы наименовании», с эпиграфом из Гейстера:

Железа, какая часть, чтоб сказал врач, трудно;
Ибо доктора в том все учили скудно, —

несколько нумеров «Московских ведомостей»,[13] школьные тетрадки — вот и все!..

С чем справиться? Где найти не только средство лечения, но даже описание болезни своего пациента?..

В досаде, в уверенности ничего не найти, он берет своего руководителя Гейстера, отыскивает главу «О голове», читает: «Содержимые части (contentae partes) суть: мозг (cerebrum)... Около мозга головного жестокая мать (dura mater), или твердая оболонка над мозгом, из волокн сухожильных состоящая...»[14]

Он бросил от себя книгу: все это было им читано, перечитано, учено и переучено!..

Тут ему пришла на мысль еще книга, которую некогда получил он в университете в награду за прилежание, которую тщательно завертывал он в бумажку и бережно хранил особо от других книг по причине ее дорогого переплета: то был перевод книги «О предчувствиях и видениях», только что тогда появившейся в свет.

Развернув эту книгу, он напал на то место, где описывается известный поступок знаменитого Бургава в Гарлемском сиротском доме.[15] Одна из воспитанниц дома впала в судороги: на нее смотря, другая, третья, четвертая и таким образом почти все до последней. Бургав, видя, что это было действие одного воображения, приказал принести в комнату жаровню с угольями и щипцы и объявил, что у первой, которая впадет в судороги, станут жечь руку раскаленными щипцами. Это лекарство так устрашило больных, что они все в одну минуту выздоровели.

Прочитавши это описание, Богдан Иванович задумался. Продолжая чи-

тать, он встретил описание больного, который воображал, будто у него ноги хрустальные, и которого излечила служанка, уронив ему на ноги вязанку дров. Потом нашел он еще описание больного, который воображал, будто у него на носу сидит муха, и беспрестанно махал рукою, тщетно желая согнать ее. «Остроумный врач, — сказано было в книге, — уверив больного, что он имеет средство излечить его, ударил его по носу ланцетом, и в ту же минуту показал больному приготовленную прежде для того муху».

Слова «остроумный врач, знаменитый Бургав» невольно остановили Богдана Ивановича.

— Что! — сказал он сам себе, — если бы и мне удалось произвести в действие подобное лечение! Я бы описал подробно темперамент моего пациента, его мономанические припадки,[16] средство, мною придуманное для его излечения, полный успех мой, и слава обо мне пролилась бы во всем мире, мое описание послал бы я в Академию... даже в иностранных газетах возвестили бы миру о том, как редки и замечательны в летописях науки подобные случаи, какую трудность представлял Иван Трофимович для излечения, как «остроумный» врач искусно воспользовался состоянием нервного сока в своем пациенте и прочая и прочая; и, может быть, за это бы вызвали меня в Петербург, приняли бы в Академию?.. О, радость! о, счастие!.. Решено!

И Богдан Иванович поспешно собрал все находившиеся у него инструменты — кривые и прямые ножницы, кривые и прямые ножички; присоединил еще к ним все, что только могло найтися в его скудном хозяйстве: вертела, пирожные загибки, обломки невинных щипцов, — все пошло впрок! Засим в ближнем болоте он поймал огромную лягушку, согнул ей лапки, положил ее в карман камзола и с этим запасом, нахмурив брови как можно грознее, явился к Ивану Трофимовичу. Не говоря ни слова, он разложил на столе возле самого окошка, где обыкновенно сиживал Васька, все свои военные снаряды. Иван Трофимович побледнел.

— Что это? — вскричал городничий с ужасом.

— Я долго размышлял, рылся в книгах о вашей болезни, Иван Трофимович, — сказал лекарь с величайшею важностию, — и нахожу, что единственное средство для вашего спасения есть операция... правда, ужасная.

— Операция! — вскричал Иван Трофимович, — то есть провертеть мне голову!.. Нет, ни за что на свете! Уж лучше так умереть, нежели под твоими ножами...

— Но это единственное средство.

— Нет! Ни за что на свете!

— Но вы чувствуете в голове нестерпимую боль, которая будет усиливаться все больше и больше...

— Нет! Ничего не бывало!.. теперь уж все прошло...

— Но за два часа перед сим?..

— Прошло, говорят тебе! Совсем прошло!

Тщетны были все усилия лекаря: он видел, что цель его испугать

больного была слишком достигнута, и рассудил, что надобно несколько уменьшить ее.

— Но послушайте! — сказал он. — Ведь эта операция совсем не так опасна, как вы думаете...

— Нет, отец родной! Меня не перехитришь: я сам человек лукавый. Я помню все ужасти, которые ты мне рассказывал. Я как подумаю о том, то едва голова с плеч не валится.

— Но уверяю вас, что я сделаю так искусно, так осторожно, что вы и не почувствуете...

— Какое тут искусство поможет, как начнешь мне череп сверлить!.. Дурак, что ли, я тебе дался?

Лекарь был в отчаянии. Он к Ивану Трофимовичу и с вертелом, и с ланцетом, и с щипцами: Иван Трофимович не дается. Наконец городничий рассердился, лекарь также; минута была решительная: от нее зависели и будущая слава Богдана Ивановича, и богатство, и Академия, и статьи в газетах, и завидная участь его ученого поприща. Вооруженный ланцетом, он в отчаянии бросается на своего пациента, стараясь хотя дотронуться до головы и показать ему успех операции; но Иван Трофимович вдруг вспомнил прежнюю молодецкую силу... они борются: стол вверх ногами; чашки, чайник, все вдребезги: для обоих дело о жизни и смерти!.. И в самую эту минуту... холодная свидетельница и невинная участница происшествия, пользуясь одним из движений лекаря, изо всех сил шлепнулась на пол.

— Что это? — вскричал удивленный Иван Трофимович. — Злодей! окаянный! Ты не только хотел умертвить меня, но и посадить мне в голову какую-то гадину!.. Вон отсюда, окаянный!.. вон, говорю тебе!..

И с сими словами Иван Трофимович, понатужившись, выкинул Богдана Ивановича из окошка...

Доныне в архиве Реженского земского суда хранится жалоба отставного прапорщика пехотного карабинерного полка, реженского городничего, Ивана Трофимова сына Зернушкина, на таковаго же уезда лекаря Богдана Иванова сына Горемыкина, о разбитии фаянсовых чашек и чайника, о явном умысле предать его, Зернушкина, умертвию и посадить ему в голову некую гадину.

Старики говорят, однако же, что с того времени Иван Трофимович освободился навсегда от своего припадка.

ОТРЫВКИ ИЗ «ПЕСТРЫХ СКАЗОК»

<Предисловие>

Под сим названием я издал в 1833-м году шутку, которой главная цель была: доказать возможность роскошных изданий в России и *пус-*

тить в ход резьбу на дереве, а равно и другие политипажи — дело тогда совершенно новое,[1] в котором деятельно помог мне опытный и почтенный друг мой Яков Васильевич Рейхель.[2] Некоторые рисунки были нарисованы и *вырезаны на дереве* в Петербурге; для истории искусства и ради библиоманов, сохранивших экземпляры «Пестрых сказок», замечу, что на стр. 145 находится политипаж, *единственный в своем роде* и о котором только теперь начали говорить в чужих краях; занимаясь тогда химиею, я вздумал испытать: не возможно ли сделать на литографическом камне *выпуклость* (en relief) не резцом, но *химическим составом*, почти так, как делаются les eaux fortes, что мне и удалось, хотя не совершенно, при пособии изобретательного художника А. Ф. Грекова,[3] которому я и предоставил дальнейшее развитие сего способа, доныне еще нового, но могущего иметь важное применение, ибо *выпуклый* литографический камень печатается *вместе с набором*, по нем удобно отливать металлические политипажи, наконец, протравливание его представляет возможность *без затруднения выделывать те тонкие черты*, которые так трудны в резьбе на дереве.

Здесь выбраны из «Пестрых сказок» те статьи, которые написаны были не для политипажей и могут иметь чисто литературное значение.

ОПЫТЫ РАССКАЗА О ДРЕВНИХ И НОВЫХ ПРЕДАНИЯХ

<Предисловие>

Считаю нужным сказать несколько слов в том смысле, в котором я принимаю слово *предание*, смысле, до некоторой степени уклоняющемся от того, который большею частию в сем случае предполагается. Обыкновенно сему слову присвояется значение *древнего сказания*; я принимаю это слово в более простом и общем его значении, то есть в значении всего, что *передается* от лица к лицу. — Я уверился (по основаниям, о которых бы надобно было написать целую книгу ex professo[1]), что независимо от отдельных лиц, производящих то, что вообще называется *литературою*, каждый самобытный народ в целости творит свою эпопею более или менее полную, более или менее сомкнутую. Такая эпопея есть поэтическое воплощение всех элементов народа, выражение его идеального характера, его быта, его радостей, его печалей, наконец его собственного суда над самим собою. Таковы, например, русские песни; при внимательном рассмотрении нельзя не убедиться, что в них дело идет об одном и том же герое, об одной и той же героине; они не названы, ибо всякий знает их безыменное имя. Это имя — человек, как он представляется человеку в данной стране и в данную эпоху. Все эти песни, сказания — суть отрывки из одной и той

---

[1] по обязанности (*лат.*).

же классической поэмы, в которой отчетливо сохранено единство происшествия, то есть жизнь человека, представленная с различных сторон поэтического воззрения. Один завел песню, другой ее продолжает.

Совершилась первая эпоха развития основных элементов; поэтические цветы вянут, пригвожденные к печатным листам, но вянут потому, что плод созревает; к нему устремлены все силы организма; для плода вырабатывается в таинственных сосудах живительный сок; для него веет ветер, для него листья обмываются студеной росою, для него палящие лучи солнца. Цветок переходит в воспоминание; ученые подводят под него комментарии; его вид одушевляет новых поэтов — а поэма продолжается, хотя под иною формою, ибо творец ее все тот же — он лишь переродился; сначала являются эпизоды более или менее близкие к главному предмету, принимающие различный характер, смотря по временам: религиозный, сатирический, философский и проч.; в них зародыш новой поэмы; никто не знает ее содержания, но всякий собирает для нее материалы; все поглощается в них: и часть действительного события, и разгадка того, что могло бы случиться, и следствие глубокой думы, и разгульное слово. Сего рода предания вокруг нас; со времен *новой* русской поэзии, то есть со времен Кантемира, эти предания идут двумя путями; одни из них — *памяти* сердца: выражения чистого, безусловного, бессознательного, девственного развития жизни; таковы наши летописи, легенды, аскетические и военные рассказы; этого рода предания вошли в состав большей части произведений нашей литературы; другие предания — *памяти* ума: выражение нашего суда над самим собою, часто грустное, исполненное негодования, большею частию ироническое; сего рода предания послужили материалами для произведений сатирических, которых резкая черта протянулась в нашей литературе от Кантемира до Гоголя. — В обоих направлениях источник один: высокая любовь народа к самому себе, и в обоих одни материалы (независимо от творческого дара отдельных лиц) — предания народные, никем не изобретенные и всем принадлежащие. Сохранять сии предания — долг; выражать их по собственному своему воззрению — право каждого, ибо сии предания суть достояние общее.

<ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН «ПЕСТРЫХ СКАЗОК»>

1. Реторта
2. Сказка о девушках
3. — о мертвом теле
4. Игоша
5. Паук
6. Сказка о титулярном советнике

МЫСЛИ, РОДИВШИЕСЯ ПРИ ЧТЕНИИ «ПЕСТРЫХ СКАЗОК» г. ГОМОЗЕЙКИ, ИЗДАННЫХ г. БЕЗГЛАСНЫМ

(Письмо к старым и новым литераторам)

Позвольте мне, м<илостивые> г<осудари>, обратиться к вам с покорнейшею просьбою; дело вот в чем: я сам в старину занимался литературою и до сих пор люблю ее страстно; некоторые[а] из моих знакомых говорят мне, что я отстал от нее, потому что не читаю произведений[б] новой так называемой литературы; но что прикажете делать? Пытал<ся> читать, м<илостивые> г<осудари>, и не выдержал, сил не стало. Если плохие сочинители моего времени наводили сон на читателя, то нынешние (говорю вам не шутя) производят бессонницу, что в некоторые лета, согласитесь, довольно неприятно.[в] Будемте рассуждать здраво:[г] для чего существует литература? для чего мы читаем? для нашего удовольствия;[д] вы поутру занимались серьезными предметами, сухими, а иногда и неприятными домашними делами; вы (говорю просто, как делается в жизни) вы отобедали, душа и тело жаждут успокоения, вы хотите забыться, развлечь себя изящными картинами — вы берете книгу;[е] читаете,[ж] словно греза;[з] ни конца, ни начала; ни определения, ни заключения, понимай, как угодно;[и] хотите[к] в самом деле заснуть — тут являются вам и пытки, и прелюбодеяния, и отцеубийцы, и воры, и картежники, и бешеные, и все исчадия ада.[л] Кончилось, вы не могли свести глаз и[м] ваше воображение, напуганное варварским зрелищем, портит желудок на целую неделю.[н] И поневоле бросишь от себя новую книгу и примешься за какое-нибудь из творений, презираемых новомодными авторами, — хоть за роман г-жи Жанлис,[1] до которой,[о] что ни говори, далеко новым романтикам, — развернешь — сладко, приятно, натурально, душа отдыхает. Это последнее обстоятельство доказывает мне и другим моим сверстникам, что мы[п] еще не совсем остыли к прелестям литературы; но отчего же мы[р] не понимаем[с] красоты новых превозносимых авторов? Это приводит меня в большое недоумение, и я осмеливаюсь,[т] гг. литераторы старого и нового поколения, покорнейше просить вас — искренно[у] положа руку на сердце, беспристрастно и решительно отвечать

[а] *Было*: правда, поотстал я, но с некоторого времени [б] *Далее было*: так называемой [в] *Далее вписано на полях*: Я говорю вам это не шутя. [г] *Было*: просто [д] *Далее было*: для успокоения нашей души изящными картинами; после утренних серьезных занятий делами [е] *Текст*: Будемте рассуждать ~ книгу — *вписан.* [ж] *Было*: читаешь [з] *Было*: грезишь [и] *Текст*: ни конца, ни начала ~ угодно — *вписан.* [к] *Было*: хочешь [л] *Далее было начато* : Истинно говорю вам от [м] *Далее было*: желудок ваш и [н] *Текст*: воображение ~ неделю — *вписан*; *далее было начато*: Тут [о] *Было начато*: у которой все нынешние везде [п] *Было*: я [р] *Было*: я [с] *Было*: не понимали [т] *Далее было*: обратиться к вам, гг. литераторы, с следующими вопросами, покорнейше просить Вас, гг. литераторы старого и нового поколения [у] *Далее было*: и

мне: можно ли выходящие ныне книги причислить к литературе или в самом деле мы, старики, из ума выжили и не в состоянии понимать ее?

Знаю, что наша[ф] молодежь расхохочется, прочитав эти строки, назовет меня париком, классиком, старовером, словом, придаст мне все те названия, которыми нынешние молодые люди показывают, как[х] они понимают уважение к старости, — эту добродетель, столь некогда чтимую[ц] в славной[ч] Спарте![2]

<АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ «ХРОНИКА»>

I

ЖИЗНЬ И ПОХОЖДЕНИЯ ИЛАРИОНА МОДЕСТОВИЧА ГОМОЗЕЙКИ

Рождение в уездном городе.[а] Строгое воспитание — наказание за умничанье. И. М. делается робким и боязливым. Он поступает в губернскую гимназию, против воли матери, которую насилу убедили, что без этого нельзя будет Илар. Мод. вступить в службу;[1] ибо она помнит своего покойного дядюшку из ученых, который был горький пьяница и все имение растерял.[2]

Поступление в университет. Тамошние интриги — добивается до степени магистра философии; возвращается на родину; матушка объявляет ему, что он уже не ребенок и на первый раз предлагает высечь старосту на конюшне. Отчаяние И. М.; жизнь в родительском доме — ежедневные мучения, побранки.[3] Матушка его умирает. Он хочет заниматься хозяйством; приказывает навозить известки на то поле, где сеют пшеницу; сосед, который хочет оттягать у него имение, приказывает свозить известку, чтобы земля[б] не пропала; пшеница не урожается — смех в целом уезде; во время голода продает хлеб за бесценок — еще больший смех.[в] Процессы; продают его имение — все обижают; увещания старого городничего ехать на службу; И. М. предпочитает жить в уездном городке с маленьким капиталом — живет уединенно; его подозревают в делании фальшивых бумажек, сектатором, раскольником и пр. т. п. Спасенная девушка от разврата родных — гонения от оных.[г,4] Проезжий господин берет его в Петербург — И. М. решается искать место — употребляет весь свой капитал; решается во всем слушать людей; для приискания места втирается в известные дома; одевается со вкусом; напуганный ищет понравиться каждому не от подлости,[д] но

[ф] *Далее было*: буйная [х] *Было*: свое [ц] *Было*: уважаемую [ч] *Было*: древней
[а] *Было*: в деревне. [б] *Было*: она [в] *Текст*: Он хочет заниматься ~ смех — *вписан*.
[г] *Фраза*: Спасенная девушка ~ от оных — *вписана*. [д] *Было*: робости

от робости — чтобы только его не обидели и позволили ему спокойно заниматься своим делом и окончить его разные предприятия: его сочинения. Его покровитель, горячий молодой человек, но разбитый, охлажденный светск ю жизнию.

Мысль, которая рождается в И. М., — помирить книги со светом и свет с книгами; доселе они были две параллельные линии, и человек читал книгу, в которой выставлен бескорыстный, в то же время жертвовал своим другом для своей выгоды.

Вообще он живет вечно **вне себя** — его задушит недосказанная мысль.

II

Жизнь и похождения Иринея Модестовича Гомозейки, или семейственные обстоятельства, сделавшие из него то, что он есть и чем бы он быть не должен

После слов: в губернскую гимназию — *вписано*: здесь ученики вбивают гвоздь под стул учителя; Ир. Мод., не открывая никому сей тайны, прорезывает стул и тем спасает учителя; за это он получает от товарищей название **пустого человека**, которое впоследствии вредит ему в жизни и в приискании службы по[а] причине одного старого товарища.

После слов: Тамошние интриги — *вписано*:

Происшествие с греческим языком и не вычесанною головою, покрытою пухом.

После слов: мучения, побранки — *вписано*:

рассуждения — его упрекают в эгоизме потому, что он не принимает участия в рассказах о 1812[м] годе.

После слов: ...в делании фальшивых бумажек — *вписано*: вольтов столб.

После слов: ...раскольником и пр. т. п. — *вписано*: Крестная мать его[б] в столице доставляет И. М. место. И. М. поступает к купцу[в] в учители к сыну — он его берет больше для того, чтобы иметь в нем постоянного партнера для виста. Его жизнь в этом доме — его кормят на убой, он не уживается

[а] *Было*: от [б] *Было*: Одна из теток [в] *Было*: к ростовщику

в нем и все бранят его. Купец заставляет его вслух читать себе книги — Гомозейко принужден читать[г] все переводы французских романов. Мало-помалу странности Гомозейки делают из него род шута. Разные подлипалы у купца хотят его обмануть. Гомозейко не хочет[д] объявить о том купцу — но старается сам расстроить их планы и получает от своих товарищей название **пустого** человека; после, уже когда он оставляет купца, замученный его обедами, и в то время, когда все родные нападают на него за это, купец открывает плутни и почитает Гомозейку замешанным в оные.

III

После слов: наказание за умничанье — *вписано*:
Умный священник.

После слов: ...и все имение растерял — *вписано*:
Его успехи не трогают его родных.

После слов: ...переводы французских романов — *вписано*: человек украл 50 тысяч — но у него 12 человек детей.

СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИРИНЕЯ МОДЕСТОВИЧА ГОМОЗЕЙКИ, СДЕЛАВШИЕ ИЗ НЕГО ТО, ЧТО ОН ЕСТЬ И ЧЕМ БЫ ОН БЫТЬ НЕ ДОЛЖЕН

Бога ради оставьте меня в покое![1]

Долгом считаю начать уведомлением, что я никогда бы не решился издать в свет описание моих семейных обстоятельств,[а] если бы к тому не принудил меня мой издатель. И это не одна из тех остроумных выдумок, которыми[б] обыкновенно скромные авторы прикрывают издание в свет посильных грехов своих. Нет; я говорю сущую правду.

Когда я[в] представлял сему почтенному человеку, что я еще не сделал[г] на сем свете ничего такого, почему бы происшествия моей жизни могли быть интересными для публики, тогда мой тонкий диалектик,[д] хотя и не

[г] *Было*: читает [д] *Далее было начато*: ни

[а] *Было*: простых происшествий моей жизни [б] *Было*: остроумная выдумка, которую [в] *Далее было*: отговаривался ему [г] *Далее было*: ничего такого; порядочного [д] *Вместо*: мой тонкий диалектик — *было*: сей почтенный человек отвечал

литератор, возразил мне: «Эта[е] ложная скромность не должна тебя останавливать; каждый день люди, написавшие несколько томов для доказательства,[ж] что их авторы не стоят биографии, поверяют публике[з] те тайные причины,[и] с помощию которых они[к] достигли до своей посредственности; если эти господа сообщают читателям[л] свои семейные обстоятельства во имя прежних своих[м] творений, то почему <не> сделать того же во имя буду<щих> твоих произведений; прошедшее[н] есть дело[о] <...> свою биографию. Этот явный софизм не убедил бы меня, когда бы[п] к тому <не присое>динились другие обстоятельства.[р] Откровенно признаюся: если, с одной стороны,[с] я должен сетовать на моего почтенного издателя[т] за то, что он собранные мною сказки[у] обернул[ф] в такую обвертку, которая лучше содержания, то, с другой стороны, не могу не быть благодарным[х] за все его усилия сделать мое произведение достойным читателей и достойным до такой степени, что мою книгу, смело могу сказать, можно держать в руках без перчаток.[2] Словом, мой издатель своими услугами[ц] приобрел надо мною такое право, что пред его желанием[ч] должно исчезнуть всякое с моей стороны недоумение.[ш] К тому же он представил мне, что я навлек на него разные хлопоты;[щ] что стрелы критиков, пролетая сквозь меня как будто сквозь какой-то фантом, попадали прямо в издателя; что ему, человеку солидному и деловому, очень было неприятно видеть, как поминали в журналах его почтенное имя, которое доселе[ъ] он с честию подписывал[ы] под одними[ь] биржевыми сделками;[э] что все[ю] основательные и благоразумные люди осуждали его великодушие; и, наконец, что многие самые благомыслящие читатели находили противоречие в моем характере,[я] не могли согласить моей студенческой точки зрения[а] с претензиями на фешенебельство и даже отказывали мне в чести существовать на сем свете, носить[б] звание магистра философии[в] и быть членом разных ученых обществ.[г,3]

Смею надеяться, что после прочтения моей[д] биографии исчезнут все сии недоразумения, по крайней мере я того желаю и так думает мой почтенный и благодетельный издатель.

Надеюсь, что после сих объяснений никто не скажет, что одно тщеславие заставило меня издать в свет описание моей жизни.[е]

[е] *Было*: я [ж] *Было*: служащих живым доказательством [з] *Далее было*: и тайные происшествия своей жизни и [и] *Далее было*: разве служащие развитию посредством [к] *Было*: они; эти господа [л] *Вместо*: эти господа ~ читателям — *было*: они не посовестились издать их; сообщить публ<ике> [м] *Было*: их [н] *Было*: о прошедшем [о] *Далее конец страницы с частью текста поврежден.* [п] *Было*: если бы [р] *Далее было*: услуги, мне им оказанные, давали ему право надо мною; *текст*: И это не одна из тех ~ другие обстоятельства — *вписан.* [с] *Было*: я дол<жен> [т] *Было*: на него [у] См. книгу «Пестрые сказки с красным словцом, собранные И.<ринеем> М.<одестовичем> Г.<омозейкою> М.<агистром> и пр.» — *прим. В. Ф. Одоевского.* [ф] *Было*: издал их с [х] *Было*: не благодарить его [ц] *Было*: мне услугами [ч] *Далее было начато*: которым [ш] *Было*: недоразумение [щ] *Было*: литературные хлопоты [ъ] *Было*: уважаемое дос<еле> [ы] *Далее было*: лишь; на зависть всей почтен<ной> публике [ь] *Далее было начато*: важные миллионными [э] *Далее было*: и под приказами своим конторам [ю] *Далее было*: хулили за [я] *Было*: в моих сказках; после: характере — *было*: и проч. и проч., называли ме<ня> [а] *Было*: моего студенческого образа [б] *Было*: и носить [в] *Далее было начато*: и впрочем [г] Далее *было*: Все эти причины; *текст*: носить звание ~ причины — *вписан.* [д] *Было*: моих [е] *Вместо*: описание ~ жизни — *было*: мою жизнь

Мое рождение не было ознаменовано никаким примечательным явлением природы, не явилась ни комета, ни новая звезда, не было ни тени затмения — ни солнечного, ни лунного; даже[ж] солнце не захотело взглянуть на новорожденного; напротив, на дворе был туман, дождь, слякоть, словом, русская осень во всей своей безыскусственной прелести. Я это знаю наверное, потому что бабушка[з] к числу двух любимых своих анекдотов с тех пор присоединила и рассказ о бричке, посланной в город по случаю моего рождения за лекарем и которая, не отъехав[и] от деревни двух верст по большой дороге, завязла;[к] примечательнейшее при сем обстоятельство, которое долго возбуждало[л] любопытство и всеобщее участие в нашем уезде, было то, что одно колесо брички утонуло в грязи;[м] его отыскали уже на будущее лето на аршин под землею. Так исправно то<гда> были устроены пути сооб<щения>, которые нынешними <...> почитаются необходимым у<словием> п<рос>веще<ния> и общественной <...>[н] В старину не так[о] думали и оттого, говорят, все было лучше. Как бы то ни было,[п] бабушке удалось на своем веку рассказать раз сто об этом происшествии.

Итак:[р] я родился, вслед за чем меня окрестили,[с] крепко-накрепко спеленали и положили в колыбельку. Батюшка вскоре после моего рождения скончался. Матушка, предварительно выделив себе седьмую часть, приняла на себя опеку над моим имением,[4] а бабушка принялась пеленать меня и качать колыбельку.

Так протекли долгие годы.

Матушка с бабушкою, наслышавшись довольно на своем веку о неповиновении детей своим родителям, с самого начала решили, чтобы приучить меня к покорности и уважению, обходиться со мною как возможно строже. Еще более они утвердились в этой мысли, заметив во мне с самого младенчества зародыш самого буйного и неуважительного характера:[т] <...>

На беду мою причудливая природа поселила во мне отвращение к огурцам. О огурцы! чего вы мне стоили. До сих пор я не могу об них вспомнить без ужаса. Матушка с бабушкою никак не могли понять этой причуды; несмотря на их[у] долголетнюю опытность им[ф] разу не случалося встретить, чтобы человек[х] мог иметь отвращение к огурцам, и потому они положили во что бы ни стало победить мое упрямство,[ц] глубокомысленно рассудив, что обуздывать[ч] непокорный характер должно на первых порах, не упуская времени.

Вследствие сей системы каждый вечер[ш] принесут[щ] проклятые огурцы, подзовут[ъ] меня — я затрясусь, заплачу, отворочусь — меня высекут, пристращают, заставят проглотить несколько кусков, на другой день я болен,[ы] матушка[ь] в отчаянии, хлопочет со мною, горько жалуется сосе-

---

[ж] *Было*: напротив [з] *Было*: моя бабушка [и] *Было*: не доехав [к] *Далее было*: в грязи [л] *Далее было*: всеобщее [м] *Далее было*: так что [н] *Текст*: Так исправно ~ и общественной <...> — *частично поврежден.* [о] *Было*: и не так [п] *Текст*: В старину ~ как бы то ни было — *вписан.* [р] *Было начато*: Как бы то ни было [с] *Далее было*: и [т] *Далее часть текста повреждена.* [у] *Было*: свою [ф] *Было начато*: они не [х] *Было*: кто-нибудь [ц] *Далее было*: и ослу<шание> [ч] *Было*: обуздать [ш] *Далее было*: позовут [щ] *Далее было*: огурцы [ъ] *Было*: принесут [ы] *Далее было начато*: а; и [ь] *Далее было*: жалуется соседям, что Бог дал ей та<кого>

дям, <что>[э] Бог дал ей такого р<ебенка>,[ю] который ни с того ни с сего беспрестанно хворает. Но едва я оправлюсь — опять проклятые огурцы явятся на сцену — и опять я трясусь, плачу, опять меня секут, и опять я болен. До сих пор от этих минут осталось во мне страшное впечатление, котороe[я] врезалось в мою память и не изгладится с жизнию.

ЖИЗНЬ И ПОХОЖДЕНИЯ ИРИНЕЯ МОДЕСТОВИЧА ГОМОЗЕЙКИ, ИЛИ ОПИСАНИЕ ЕГО СЕМЕЙСТВЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СДЕЛАВШИХ ИЗ НЕГО ТО, ЧТО ОН ЕСТЬ И ЧЕМ БЫ ОН БЫТЬ НЕ ДОЛЖЕН

Бога ради оставьте меня в покое!

Глава 1-я

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Мое рождение не было ознаменовано никаким примечательным явлением природы: не явилась ни комета, ни новая звезда, не было ни тени затмения ни солнечного ни лунного, хотя солнце не захотело взглянуть на новорожденного: на дворе был туман, дождь, слякоть, словом, русская глубокая осень во всей своей безыскусственной простоте.[а] Я это знаю наверное потому, что тетушка[б] с тех пор к числу двух любимых своих анекдотов присоединила рассказ о бричке, посланной в город по случаю моего рождения за лекарем и которая, не отъехав[в] от деревни двух верст по большой дороге, завязла, потому что тогда большую дорогу только что исправили; примечательнейшее при сем обстоятельство, которое долго возбуждало любопытство и всеобщее участие в нашем уезде, было то, что одно колесо брички утонуло в грязи. Его отыскали уже на следующее лето на аршин под землею. Таковы были тогда пути сообщения;[г] нынче[д] говорят, будто бы они почитаются необходимым условием просвещения и общественной жизни. В старину, когда люди были поосновательнее нынешних, об этом просто не думали.[е] Но еще и ныне не все в этом не уверены. <Так в тексте. — *М. Т.*> Как бы то ни было, тетушке[ж] удалось на своем веку рассказать раз сто об этом происшествии.

[э, ю] *Часть текста повреждена.* [я] *Далее было начато*: никогда

[а] *Было*: прелести [б] *Было*: бабушка [в] *Было*: не доехав [г] *Вместо*: Таковы ~ сообщения — *Было начато*: Так исправно тогда были устроены [д] *Было начато*: которые [е] *Вместо*: В старину ~ не думали — *было*: В старину об этом не думали, а ныне еще [ж] *Было*: бабушке

Итак: я родился, вслед за чем меня окрестили, крепко-накрепко спеленали и положили в колыбельку. Батюшка вскоре после моего рождения скончался, матушка предварительно выделила себе седьмую часть,[з] приняла на себя опеку над моим маленьким имением, а тетушка[и] — старая девушка, всегда жившая в нашем доме, из усердия принялась пеленать меня и качать в колыбели до истощения сил. Так протекли долгие годы, о которых, к сожалению, ничего не могу рассказать читателю, хотя они должны были быть очень любопытны. Что[к] осталось у меня в памяти, то я пожалуй расскажу, но остроумный читатель тотчас поймет, что я не могу рассказать истории моих пеленок, не прибавляя ничего такого, что[л] я узнал после. Это кажется очень ясно.

Матушка с тетушкою,[м] наслышавшись довольно на своему веку о неповиновении детей своим родителям, с самого начала решились приучить меня к покорности и уважению и для того обходиться со мною как возможно строжее. Еще более[н] они утвердились в этой мысли потому, что заметили во мне с самого младенчества зародыш самого буйного и неуважительного характера: например, я громко кричал и бился из рук, когда меня пеленали, кричал также, когда меня по два и три часа держали в духоте на праздниках,[1] и еще сильнее принялся кричать, когда на помочах мне стали выворачивать лопатки. На беду мою причудливая природа поселила во мне отвращение — к чему бы вы думали? — к огурцам. О огурцы! чего вы мне стоили! До сих пор одно воспоминание о них заставляет меня дрожать всем телом. Матушка с тетушкою никак не могли понять, чтобы можно было иметь отвращение к огурцам, потому что в течение их долгой жизни им никогда не случалось встретить человека, который бы имел подобное отвращение; вследствие чего они положили, что это не[о] что иное, как упрямство, которое немедленно[п] должно переломить[р] во что бы ни стало, — глубокомысленно рассудив, что[с] непокорный характер надлежит обуздывать на первых порах,[т] не упуская времени.

Эта система была наблюдаема с большою точностию: каждый вечер принесут проклятые огурцы, подзовут меня, я затрясусь, заплачу, отворочусь — меня пристращают, высекут, заставят проглотить несколько кусков; на другой день я болен, матушка в отчаянии и горько жалуется соседям, что Бог дал ей такого ребенка, который ни с того, и с сего беспрестанно хворает. Но едва я оправлюсь, опять проклятые огурцы явятся на сцену, и опять я трясусь, и плачу, опять меня секут, и опять я болен.[у]

[з] *Далее было*: из нашего маленького имения [и] *Было*: бабушка [к] *Было начато*: Вот [л] *Далее было*: мне после [м] *Было*: с бабушкою [н] *Далее было*: убедились [о] *Было*: ни [п] *Было*: бы надлежи<т> [р] *Было*: победить [с] *Далее было*: обуздывать непокорный характер [т] *Было*: немед<ленно> [у] *На л. 533 об. — запись Одоевского, относящаяся, очевидно, к этой главе*: «История с маслом».

<2>[2]

Горе меня взяло. Я[а] вышел в садик и сел[б] на скамейку, потупив[в] голову. Подо мною червяк, сорванный ветром с дерева в ту минуту, когда он прилеплял свою нить, чтобы начать обвиваться паутиною — бедный в страхе и отчаянии подымал голову, искал родной ветви с тем чудным инстинктом, который отличает сей род насекомых — тщетно! Ветвь была от него на несколько аршин в вышину и долгий путь ему надобно было совершить, чтобы снова добраться до верхнего пристанища. Он полз то так, то в другую сторону, поднимал то ту, то другую травку, попадавшуюся[г] ему[д] на дороге и снова спешил далее — во всех его движениях было заметно беспокойство— он чувствовал, что уже наступило время его превращения. Он чувствовал, что время его не дожидается — еще минута — и силы его начнут ослабевать, он уже не будет в состоянии обвить себя своею таинственною пеленою — сорвать с себя свою землянуюодежду и будущее для него исчезнет, он не испытает сладости воскреснуть[е] для любви и жизни и в беззаботной свободе на легких крыльях переноситься с цветка на цветок — еще минута, и он умрет, и умрет червяком. Я поднял его, посадил его снова на ветку, и он с быстротою принялся спускать с себя свою пресмыкающуюся одежду.

Неужли не найдется на свете руки, — подумал я, — которая бы и мне помогла оставить мою темную долю — мое грязное платье — и мне суждено лечь в могилу, убитому грубою встречею ежедневных обстоятельств![3]

Христианство не даром призывает человека к забвению здешней жизни; чем более человек обращает внимание на свои вещественные потребности, чем выше ценит все домашние дела, домашние огорчения, речи людей, их обращение в отношении своей цели, беспрестанная раздражительность.[ж] И счастливы ли они в награду за все заботы. О нет! они ежеминутно проклинают жизнь свою. Ежеминутно они пекутся о средствах для жизни и не успевают жить ни одной минуты.[з]

<3>[4]

Итак, наконец я вступил в службу и поступил под начальство г. губернского полицмейстера.[а] Как <на> человека умного, университетского, грамотея, он возложил на меня должность секретаря. Я принялся за мое дело с энтузиазмом. Надобно вам знать, что я еще в университете обращал особенное внимание на камеральные науки,[5] полагая, что оне самые необходимые для России. Я выписал[б] в библиотеке[в] из огромного Дюло-

---

[а] *Было начато*: Без мыслей в голове я [б] *Было*: бросился [в] *Было*: и потупил в [г] *Было*: находившуюся [д] *Было*: у него [е] *Было*: носиться [на] с цветка на цветок, переноситься на легких крыльях [ж] *Так в тексте. Далее было*: беспрестанное несчастие [з] *Текст*: Христианство ~ ни одной минуты — *дописан позднее.*

[а] *Было*: городничего [б] *Было*: сделал [в] *Далее было*: выписку

рова сочинения о Париже,[г, 6] из постановлений парижского Совета народного здравия[7] — все то, чего[д] у нас нет и что могло бы с успехом быть заведено в губернии; у меня было подробное описание ватер-клозетов, новая статья о газовом освещении, огромные примеры из исправительной системы, опыты над хлористыми соединениями для очищения воздуха: теперь, думал я, пришло мне время испытать на деле все эти нововведения. Я перечел мои рукописи, вчитался в устав Управы благочиния[8] и в другие постановления касательно устройства городов. Воображение мое воспламенилось, я представлял себе наш губернский город поставленным на европейскую ногу. Не прошло нескольких дней, как я явился к моему Ивану Савельевичу с различными планами. Я представлял ему, что уже[е] с давнего времени[ж] существует у нас обычай всякую[з] нечистоту выбрасывать на улицы, что от этого заражается воздух, что можно было бы на этот предмет отвести особое место,[и] обращать в навоз и отдавать его окружным жителям, которые так в нем нуждаются; я представлял ему, что не худо бы приказать мести по крайней мере те улицы, которые намощены, что от этого мостовая бы укрепилась и не нужно было бы ее ежегодно починивать;[к] у пристани нашего города находились[л] полуразвалившиеся своды старинных скотных <?> магазинов, где[м] рыбаки приходили[н] укрыться в ненастное время, иногда раскладывали огонь,[о] туда же под вечер стали сходиться и другие жители города — купцы, мещане, поговорить о своих делах, продать, купить, просто поглазеть, завелось и вино, а с вином споры и драки — наутро ж приходили судиться к полицеймейстеру — но как большею частию[п] все эти дела происходили в сумерках, то ничего[р] разобрать было невозможно; вблизи от этих развалин было место, из которого по временам выходил огонь, который жителями почитался чудотворным — и все удивлялись, зачем на этом месте правительство не велит построить часовню. Я представлял Ивану Савельевичу, что для прекращения этих беспорядков надобно было или запретить сходиться под своды, или осветить их; что для сего легко было бы провести чрез деревянную трубу[с] этот чудесный огонь, который был не иное что, как газ, довольно годный для освещения; я представлял ему также, что наши рыбные торговцы не имеют обыкновения мыть деревянную посуду, в которой держат рыбы, что от этого в теплое время нельзя пройти мимо рынка, что от этого могут происходить болезни и что не худо бы велеть иногда эту посудину обмывать хлориновой известкой.

Иван Савельевич Прохоров[т] долго меня слушал, ничего не говоря, да как вдруг воскликнет на меня мой Иван Савельевич: «Да что это вы, батюшка — да ты хочешь весь наш город верьх дном поставить? Что вы[у] мне за аллегорию несете? в книгах что ли вы ей научились — так[ф] я тебе

[г] *Далее было*: все то, что в отношении народного здрав<ия> [д] *Было*: что [е] *Далее было*: с давнего времени [ж] *Далее было начато*: рыбные торговцы в нашем [з] *Было*: всякой [и] *Далее было начато*: и оттуда продавать этот [к] *Далее было начато*: я представлял ему, что [л] *Было*: находится [м] *Было*: что [н] *Было*: раскладывали [о] *Далее было*: *а)* и приходили обогреваться; *б) начато*: и когда им [п] *Было*: всегда [р] *Далее было начато*: не [с] *Далее было начато*: из; и по; то что [т] *Вместо*: Иван Савельевич Прохоров — *Было начато*: Как прик<рикнет> [у] *Было*: ты [ф] *Было*: так бы

скажу, батюшка, что книги другое дело, — а дело также другое дело! И чего не прибрано — вишь, и навоз в одно место свози, и огонь проводи, и улицы чисти — все это, мой батюшка, как говорит губернатор, кар-кар-кар-карбонарские идеи[х] — я уже, батюшка, 40 год служу — и по милости Божией не капрал — что ж мы дураки, что ли, прости Господи — не знали до тебя, что в городе делать — вишь, выскочка выехал. Да скажи мне пожалуй — если бы по-твоему все это делать, так тогда бы и полицйместера не надобно было бы в городе — так вот видишь, тебя не спросили, а учредили полицмейстеров, чтобы за всем в городе наблюдать да иметь присмотр...»

— Мне хотелось для вас же, Иван Васильевич — облегчить этот присмотр.

— Покорно благодарю, батюшка — и[ц] без того всех сыщем — по-твоему, так пойдешь по городу, и нашему брату не на что прикрикнуть будет — что ж я буду за полицеймейстер?.. Теперь по крайней мере пойдешь поутру — взглянешь — сор навален, прикрикнешь, драка — опять прикрикнешь, а от этого люди знают, что есть нáбольший в городе, что острастка есть — понимаешь ты это, молодой человек — вот она, опытность-та и выказывает себя...

— Будьте уверены, что у вас, Иван Васильевич, всегда будет довольно дела, я только хотел...

— Хотел, хотел — хотел выскочкой быть.[ч]

— Доброе намерение...

— Нет, сударь, не доброе.

— Общая польза...

— Какая польза, сударь,[ш] в чем?

— Может бы. Начальство оценит...

— Начальство! — Так вы в самом деле думаете, сударь, что я понесу ваши проекты к[щ] губернатору,[ъ] чтобы он меня за сумасшедшего принял — нет, ведь он, сударь, шутить-то не любит...

— Но ведь мести улицы —

— Мести улицы, мести улицы — да[ы] что вы твердите: мести улицы — подумайте хорошенько, образумьтесь — зачем месть улицы?

— От этого укрепится мостовая...

— Чего не выдумает — полноте, батюшка — все камни от этого выскочат...

— Да это[ь] опытом доказано... Мак-Адам...[9]

— Адам[э] об этом ни слова не говорит...

— Да Мак-Адам, англичанин...

— Тьфу! прости Господи! — Ну... ну — так он англичанин, а мы русские — нечего нам у него перенимать.

Таков был конец всем моим проектам.

[х] *На л. 545 об. — следующая запись Одоевского:* Карбонарские идеи — или жрец. Введение к [науке] лекции / Статья в Биб.<лиотеке> д.<ля> Ч.<тения> / Спор о Губ.<ернаторском> доме. [ц] *Было*: из [ч] *Далее было*: Ведь подумай, что ты мне наговорил — ведь ни слова не припомнить [ш] *Далее было начато*: не польза [щ] *Было*: в [ъ] *Далее было*: чтобы [ы] *Было*: зачем [ь] *Было*: На этом [э] *Вместо*: Адам — *было начато*: Где он

<4>

Отчего мне до всего дело? Отчего всякое несчастие меня трогает? — отчего я рассчитываю все следствия, которые может иметь то или другое происшествие и заранее страдаю за людей, мне совершенно неизвестных? Отчего несправедливость меня выводит из пределов благоразумия? Отчего я с такою страстию ищу вразумить невежество, воспротивиться врагам здравого смысла? Отчего, напротив, во мне никто не принимает участия?

Я узнал, что дело решилось не в мою пользу. К кому прибегнуть? Кого просить? Я вспомнил великого мужа, открывшего во мне делателя фальшивых ассигнаций. «Может быть, — подумал я, — он тронулся тою несправедливостию, которую[а] я потерпел от него и скажет хоть слово в мою защиту!»

Я отправился к моему благодетелю. Он по-прежнему сидел в своих креслах, перевесив подбородок чрез туго подтянутый галстук; по-прежнему заводил глаза, пил чай и курил трубку.

Я объяснил ему мое дело сколько можно понятнее — но я по глазам его видел, что он ничего не понял, — слова его подтвердили мое замечание. По своей привычке[б] во всяком деле видеть не самое дело, но то, что нимало не относилось к делу, он сказал мне:

— То-то и есть, молодой человек,— жить бы смирно, не заводить споров...

— Да я разве начал тяжбу, Ваше превосходительство?

— Да хоть и не вы, а все бы лучше быть смирнее — я знаю, что вы напитаны очень дурными правилами, — дурно, молодой человек, право дурно — я вам советую...

— Но помилуйте, Ваше превосходительство, — объяснят ли мне раз в жизни, в чем состоят мои дурные правила? Вы сами знаете, есть ли один поступок в моей жизни, который бы можно было растолковать в худую сторону, выговорил ли я хоть слово...

— Вы хотя и ничего не говорите, — сказал великий муж, поднимаясь с кресел и подходя ко мне, — но вы питаете в себе злонамеренные желания — я это знаю, сударь, знаю...

— Уверяю вас, — отвечал[в] я почти сквозь слезы, — уверяю вас, что все мои желания ограничиваются одним: чтобы мне оставили хоть суму идти по миру...

— Что это вы говорите, сударь? Как вы смеете даже при мне говорить эдакие речи? Вот видите ли, вы сами себя оказываете, что вы такое? Кто же[г] хочет отнять у вас суму?..

— Мой противник поклялся, что[д] он не оставит мне даже сумы идти по миру — и дал денег и судье, и заседателям, и секретарю — вот кто отнимает у меня суму.

— А! хорошо, сударь, — это донос: ваш противник дал денег судье, заседателям и секретарю — пожалуйте мне это на бумаге — мы нарядим следствие...

[а] *Было*: которой [б] *Далее было*: войти [в] *Было начато*: сказ<ал> [г] *Далее было*: это
[д] *Было*: что бы

— О, Бога ради, Ваше превосходительство, не наряжайте следствия — тогда я погиб совершенно...

— Это отчего?

— Для следствия необходимы доказательства, а я не имею никаких...

— Никаких доказательств, сударь! Как же вы смеете обвинять почтенных людей, заслуженных и без доказательства... ведь они, сударь, не какие-нибудь студенты, а один из них коллежский советник,[10] другой коллежский ассесор[11] — люди почтенные, заслуженные... понимаете вы это?..

— Но я знаю...

— А я также знаю, милостивый государь, — что вы не должны впредь ко мне на глаза являться — вот чему их учат в университетах... Да повторяю вам — будьте осторожны — за вами наблюдает начальство... вы человек беспокойный...

Я вышел.

<5>

— Кто? Иван Никифорович? он прекраснейший человек — предобрый!

— Да в чем же доброта его?

— Как в чем же? Недавно как он поссорился с Богданом Федоровичем — уж чего этот ему на насказал, что ж ты думаешь — небось Иван Никиф<орович> перестал к нему ездить? ничего не бывало — ездит чаще прежнего. Вот уж истинно добродетельная душа.

<6>

Я бывало спрашивал у бабушки: что такое смерть? откуда берутся люди при рождении? что такое душа? Бабушка мне отвечала очень рассудительно, что эти материи мне не по летам и что гораздо для меня полезнее учить французские вокабулы, что[а] я спрашиваю это потому, что мне хочется попасть во взрослые и что я все это узнаю с летами. Это замечание произвело во мне великое благоговение к взрослым: «Они все это знают, — думал я, — а я не знаю. Вот выросту — узнаю». Иногда я повторял мои вопросы земскому заседателю,[б] приезжавшему к нам за годовою сборщиною, а иногда и у самого г. исправника.[в] Все эти люди улыбались при моих вопросах, а я себе ломал голову над тем, отчего они знают, чего я не знаю; а если знают, то отчего не расскажут.

<7>

После рассказа о лягушке, кошке и проч.[а, 12]

[а] *Далее было*: с этим [б] *Было*: уездному пи<сарю> [в] *Так в тексте.*

[а] *Эта фраза вписана перед началом текста.*

Читатель может быть улыбнулся, прочитав этот рассказ, — но мне было не до смеху. Мои толки с полицеймейстером распространились по городу и — хоть бы одна душа в нем отдала справедливость моим добрым намерениям! Кто смеялся — кто отворачивался. Новое происшествие совсем погубило меня. К нам[б] из[в] Питера запрос: чему должно приписать частые пожары, случающиеся в нашей губернии, как в главном городе, так и в уездах, — этот вопрос заставил всех призадуматься; в городе думали, думали и решились отвечать, что пожары происходят большею частию от воли Божией, а остальные от неизвестной причины. Я осмелился заметить, что большей части пожары случаются в праздники от того, что миряне прилепят свечки к божницам, а сами уснут навеселе, свечка догорит или отвалится и пойдет дым коромыслом... кабы вы знали, какой шум поднялся в городе от моего замечания. — «Безбожник! Вольнодумец! Что ж, неужели и свечей-та к образам не ставить?» — «Ставьте, да не спите, а Богу молитесь». — «Так стало русскому человеку для праздника и опохмелиться нельзя?» — «Опохмеляйтесь, Бог с вами, но только тогда свечки не прилепляйте к дереву». — «Вот и вышло, что и свечек в праздник к образу Божею нельзя поставить... ах, безбожник! безбожник!»[13]

Это мнение повторялось многими и по целому городу звонили, что я представляю начальству о запрещении ставить свечки перед образами...

Было много подобных случаев, из которых выросло всеобщее мнение, что я человек пустой, беспокойный, либеральный, без веры, без закона и[г] проч. и проч.

Все это мне сделалось нестерпимо — к тому же начальник мой так начал на меня коситься, что я принужден был выйти[д] в отставку, переселиться снова в Реженск[е] и жить моими трудами.

<8>

Было время, когда в России все русское унижалось; мы жили, мы дышали иностранным, мы презирали русское, мы смеялись надо всем русским. Теперь началось воздействие или реакция, началась странная эпоха самохваления. Нельзя[а] читать[б] хладнокровно тех авторов, которые изо всех сил стараются убаюкивать наше народное самолюбие, не присоединяя к сему никаких ограничений. «Мы русские! мы русские! — кричат они, — будем презирать иностранцев! — зачем перенимать у иностранцев? Зачем знать иностранцев!» Молодой чиновник, прочитывая такой[в] листок, говорит в себе: «Я[г] русский! Зачем же мне учиться теории законоискусства,[д] ясному логическому изложению дел — это будет перенимать у иностранцев, мои отцы этого не делали. Буду прибирать указы наобум и буду писать наобум — так делали отцы наши». И чиновник превращается в подьяче-

---

[б] *Было начато:* К; От [в] *Было:* это [г] *Далее было начато:* человек [д] *Было:* проситься [е] *Было:* поселиться в каком-нибудь уездном городе

[а] *Было:* Я не могу [б] *Далее было:* без [в] *Было:* этот [г] *Было начато:* заче<м> [д] *Далее было начато:* что

го. Степной помещик, прочитав по складам такие возгласы, скажет:«Я русский! Зачем же мне перенимать у соседа немца его молотильню, его веялку, его крупчатку — он уверяет, что с этими машинами у него половина крестьян остается на другое дело — да ведь он немец, а я русский, а у наших отцов не было ни молотилен, ни веялок, ни крупчаток». И дети[е] степного помещика обращаются в однодворцев. Купец, которому его товарищ в Гостином дворе прочитал этот листок, скажет: «Славно! я ведь всегда то же говорил! Зачем же мне сына посылать в школу? Вот еще говорят, что ему для нашего завода нужно знать какую-то химию — наши отцы без химии обходились, а я ведь русский!» И завод лопается от несоблюдения каких-нибудь первых правил науки. Бородатый мужичок, до которого дошли слухи об этих словах, скажет:«Что же это барин-то наш приказывает сеять картофель — вишь, говорит, что где сеют картофель, там голоду быть не может;[ж] отцы наши не сеяли этого немецкого чертова яблока — и нам грех его сеять». Наступает неурожай — и мужичок[з] вконец и, может быть, навсегда разоряется.

Да! есть многое у иностранцев, что для нас не годится — но не науки, искусства, ремесла. Да![и] мы русские! мы девятая часть земного шара,[к] славно это имя![л] но совершенно ли заслужили[м] мы его! Слава нашего оружия гремит в Европе — но наши науки, искусства, ремесла находятся в младенчестве, несмотря на все усилия правительства. Мы так мало еще поняли их пользу, что — что сделано правительством в этом отношении, то и есть у нас — и мы ему плохая подмога, в нас еще не развилось чувство самосовершенствования. Отними правительство свою руку — и завтра же закроются наши школы, а с ним падут и наши фабрики, и торговля, и промышленность. Толчок, данный могучею рукою Петра, еще далеко не достиг до последних классов народа; двинулись первые ряды — задние остались на том же месте;[н] рано еще быть реакции; бездна еще не перед нами, а за нами.

О ПЕДАНТИЗМЕ *

Право, на сем свете существует гораздо более глупостей и нелепостей, нежели сколько мы замечаем. Таково напр<имер> слово педантизм или педант, ныне вошедшее в народное употребление. Его начали вводить дамы, которым надоедали мужья, потом стали употреблять юноши, которым надоедал учитель, теперь оно в большом употреблении у военных; они под словом: педант разумеют человека, находящего странное удовольствие в

[е] *Вместо*: И дети — *Было начато*: Бородатый мужик [ж] *Текст*: вишь, говорит ~ быть не может — *вписан*. [з] *Было начато*: ра<зоряется> [и] *Было начато*: Мы [к] *Фраза*: мы девятая часть земного шара — *вписана*. [л] *Далее было начато*: мы девятая ч<асть> [м] *Было*: заслужили ли [н] *Текст*: двинулись первые ряды~ месте — *вписан*.

* *Это название данного фрагмента указано в оглавлении пер. 80, составленном самим Одоевским. Текст фрагмента не озаглавлен.*

чтении книг — и прочем тому подобном. В самом деле, нет ничего смешнее существа, известного под этим названием, но чаще нет ничего смешнее и даже гнуснее существ, которые его произносят. Мне всегда бывает досадно, когда молодого человека почтенные, но недоучившиеся родители называют этим именем и особенно, когда он боится этого слова. В молодом человеке то, что называют наклонностию к педантизму, есть не иное что, как вера в те чистые правила жизни, которые[а] невольно внушаются его сердцу любовью к наукам и юношескою горячею невинностию. Молодой человек, видя в жизни все противоположное[б] тому, чему он в тишине уединения, посреди сладких юношеских грез,[в] научился верить, сердится, и при встрече с холодным миром он думает, что достаточно произнести то или другое заветное для него слово, чтобы склонить противников на свою сторону — и немудрено, он в это слово свел целый[г] ряд мыслей и чувствований, и этот путь казался ему так естественным, что он и позабыл, как дошел до своего заветного слова. Но на это слово — ему в ответ насмешка, подкрепленная такими доказательствами, которых он не ожидал или о которых не думал, потому что презирал их; он не в силах опровергнуть их, хотя убежден в их зыбкости, потому что еще не знает языка своих противников, не знает, какого рода надобно употреблять против них оружие; и оттого сердится, открывает весь арсенал своих убеждений. Его называют педантом. Но эта борьба показывает, что в юноше есть вера в свою душу и сила в характере. Горе тому молодому человеку, которого взрослые негодяи не называли педантом; лишь тот, кто юношею был педантом, будет честным человеком в своей будущей жизни (NB: подьячие называют педантом, кто не берет взяток). Отсутствие педантизма в юноше показывает отсутствие характера, порочную холодность души,[д] которая с ранних лет заражена расчетом и убийственным эгоизмом.

БИОГР<АФИЯ> ГОМОЗЕЙКИ

Я поместил это место из «Биографии г. Гомозейки» сколько для того, чтобы оно могло послужить ему защитою против несправедливых нареканий, которым подвергся почтенный друг мой, столько и для того, дабы показать, что я не всегда с ним согласен, — обстоятельство, о котором, мимоходом будь сказано, я упоминал и в изданных мною «Сказках» г. Гомозейки.

Недавно Ириней Модестович рассказал мне[а] одну[б] историю,[в] г. Гомозейко судит о ней по-своему, но я нахожу в ней удостоверение[г] опытом, что

[а] *Далее было*: внушаются [б] *Было*: противоположным [в] *Слова*: посреди сладких грез — *вписаны*. [г] *Было*: целую [д] *Было*: холодную душу

[а] *Было*: Недавно я имел случай опытом увериться [б] *Было*: следующую [в] *Далее было начато*: которое по моему мнению удостоверяет опытом, что же касается до меня [г] *Текст*: Недавно Ириней Модестович ~ удостоверение — *вписан*.

общие правила Иринея Модестовича не без исключений[д] — и что[е] иногда, при благоприятных обстоятельствах, посреди светского разговора приходится[ж] слышать прелюбопытные истории, и[з] представляется возможность для наблюдений, достойных внимания почтенной публики. А что слышанная мною история действительно очень занимательна и любопытна, в том уверяю[и] — совестию издателя, который, как известно, подобно всем своим собратиям не имеет ни малейшей нужды вводить читателей в заблуждение.

Вот как рассказывал Ириней Модестович:[к]

БАБУШКА, ИЛИ ПАГУБНЫЕ СЛЕДСТВИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

<черновой автограф>

Отчего так нравилась басня La Cigale et la Fourmi[1]

Глава 1

1812 ГОД[2]

Если вы, любезный читатель, бывали в Москве до 1812-го года[а] и вам случалось проходить по бесчисленным переулкам, разделяющим Арбат от Пречистенки,[3] то может быть[б] в одном из них вы заметили[в] небольшой серенький домик с серенькими же ставнями[г] и с круглыми у ворот фонарями,[д] напоминавшими то время, когда[е] освещение[ж] улиц было больше боярскою милостию, нежели полицейскою обязанностию;[з] впрочем,[и] я не имею права и предполагать, что вы обратили на этот домик[к] внимание;[л] в нем не было ничего особенно замечательного[м] — он похож был на своих соседей и[н] отличался только тем, что выходил[о] не на улицу, но был построен по старинному боярскому обычаю посереди двора,[п] огороженного деревянною решет-

---

[д] *Далее было*: и вот как это случилось [е] *Далее было начато*: часто между [ж] *Было*: случится [з] *Далее было начато*: для [и] *Далее было*: читателей [к] *Было*: Вот как это случилось

[а] *Далее было*: то, может быть [б] *Далее было*: вы и обратили внимание на [в] *Было начато*: *а*) вам случилось обрати<ть>; *б*) заметить [г] *Далее было*: построенный посереди <1 *нзрб.*> двора [д] *Вместо*: с круглыми ~ фонарями — *было*: с круглыми ставнями [е] *Было*: когда еще [ж] *Далее было*: не было в большом употреблении [з] *Текст*: у ворот фонарями ~ обязанностию — *вписан.* [и] *Далее было*: в этом домике [к] *Было*: на него [л] *Текст*: я не имею права ~ внимание — *вписан.* [м] *Вместо*: особенно замечательного — *было*: особенного [н] *Было*: но [о] *Было*: был построен [п] *Далее было*: и здесь под вечер в летнее время

кою с набитыми наверху гвоздями, вероятно, в предосторожность от воров, а вероятнее для того, чтобы им было за что ухватиться.[р]

В этом доме с давнего времени жило небольшое дворянское семейство, состоявшее из вдовы, ее[с] сына и сестры ее, девушки на возрасте.[т] Марья Петровна Миницкая (так называлась вдова) мало жила с покойным своим мужем. Он служил в военной службе и шесть месяцев после свадьбы принужден был оставить свою Машу, которая была уже беременною; он возвратился к ней на короткое время и снова отправился в полк;[у] наконец,[ф] началась несчастная война[х] с французами, предшествовавшая русской славе 12-го года, и маиор Миницкий, жестоко раненный,[ц] возвратился в последний раз в Москву для того только, чтобы взглянуть на своего сына[ч] и после долгих[ш] страданий умереть на руках жены своей.

Таким образом Васинька (сын Миницкого) с самых юных лет[щ] был предоставлен совершенно попечению матери; отца он почти не знал[ъ] — при имени отца ему представлялся[ы] лишь человек, не сходивший с постели,[ь] неумолкаемый стон его и его мучительная смерть.[4] Нежность матери[э] к сыну и при жизни отца[ю] была беспредельна,[я] а по смерти его еще более увеличилась. Она положила себе законом не оставлять своего Васиньку и потому, выезжая со двора, брала его всюду с собою и даже[а] спала с ним на одной постеле; сестра[б] ее, старая девушка, потерявшая надежду выйти замуж, была для Васиньки другою матерью,[в] и можно сказать, что в полном смысле он был у двух сестер[г] единственным занятием. Поутру[д] они сидели над ним, дожидаясь его пробуждения и придумывая,[е] чем бы утешить Васиньку, чтобы он проснулся весело,[ж] днем[з] — затворяли двери и окна, чтобы на него не пахнуло ветром, и кормили его лакомствами и завертывали, что говорится, в хлопки,[5] — а[и] вечером только и было разговора, что о милых[к] шутках и шалостях Васиньки и что бы при-

---

[р] *Далее были начаты два разных сюжета; начало второго из них — им открывается новая страница* (л. 132) — *отсутствует*: *а)* [Сюда под вечер] [Здесь] [Часто, когда] под вечер в летнее время, когда господа уезжали [со двора] из дома [толпа дворовых людей] сбирались дворовые люди играть в горелки; [пели песни] тут приходил прянишник [с полным лотко<м>] с [своими медовиками и] орехами; *б)* <...> с французами, предшествовавшую (Так! — *М. Т.*) русской славе 1812-го года и [вскоре после того] умер [в] от ран [в объятиях] на руках своей [неутешной] жены. Бедная вдова [нежно любила своего мужа] много страдала; она была измучена [страданиями] болезнию своего мужа и его потерею и долго не могла утешиться; но наконец она вспомнила [об долге матери, перенесла всю свою нежность на своего] [о своем сыне] о материнском долге, о своем сыне и решилась посвятить ему всю жизнь свою. [нежн<ость> и любовь] [с] *Было*: и ее [т] *Текст*: В этом доме ~ девушки на возрасте. — *вписан*. [у] *Было*: на службу [ф] *Было*: потом [х] *Было*: компания [ц] *Слова*: жестоко раненный — *вписаны*. [ч] *Слова*: взглянуть на своего сына и — *вписаны*. [ш] *Было*: жестоких [щ] *Слова*: с самых юных лет — *вписаны*. [ъ] *Далее было начато*: *а)* и он остался в его воспоминании, как; *б)* в его [ы] *Было*: остались [ь] *Было*: в виде человека, лежащего на постели [э] *Было*: к матери [ю] *Слова*: к сыну и при жизни отца — *вписаны*. [я] *Далее было начато*: Она не оставляла его ни на минуту [а] *Текст*: а по смерти его ~ и даже — *вписан*. [б] *Было*: и сестра [в] *Далее было*: Целые дни проходили у них в том, что только и было занятие, чтобы утешать всякими способами Васиньку, затворять двери и окна ~ кормить ~ завертывать [г] *Было*: у них [д] *Было*: С утра еще [е] *Было начато*: выдум<ывая> [ж] *Было*: веселым; *текст*: Поутру они ~ весело — *вписан*. [з] *Далее было*: только и дела<ли> [и] *Далее было*: единственно разговоры о том [чтобы] как ухолить Васиньку, чтобы [к] *Далее было*: Васинькиных

думать для сохранения его здоровья,[л] которое, по мнению матери,[м] было очень слабо.[н]

Васиньке исполнилось 14 лет,[о] но обращение с ним матери все еще не переменилось,[п] напротив, с летами она сделалась еще бдительнее и осторожнее,[р] она старалась скрыть от своего сына[с] все неприятности жизни, запрещала говорить при нем о мертвых, о больных, прогоняла от окошка нищего, если он был изуродован,[т] не позволяла Васиньке ходить пешком, потому что можно поскользнуться и быть раздавлену экипажем, не позволяла ездить в дрожках, потому что они могут изломаться, во время грозы Марья Петровна ставила на окно[у] пятую <?> свечку, закрывала все ставни и зарывалась вместе с сыном[ф] в подушки;[х] но можно ли исчислить все, что изобретается[ц] слепою материнскою любовью. Когда некоторые из ее знакомых,[ч] смотря на высокий рост и пухлые щеки юноши, говорили, что пора бы отдать его в какое-нибудь воспитательное заведение — Марья Петровна сердилась: «Мне надобно не ученого, не профессора, — отвечала, — а сына; я не хочу,[ш] чтобы мой Васинька походил на этих бледных молодых людей, замученных на ученье, и которые только что умничают с старшими. Благодаря Бога и без того[щ] у Васиньки будет кусок хлеба». Немногим учителям, которые ходили к ней в дом, ежедневно подтверждалось не слишком многого требовать от Васиньки — и часто уроки нарочно прерывались прогулкою на Тверском бульваре, выездом в театр или в гости. Васинька совершенно соответствовал желаниям своей матери; от природы кроткого характера, он легко выгибался во все стороны;[ъ] осторожность его[ы] доходила до боязливости, покорность до отсутствия всякой мысли; его ум с наслаждением предавался этой беспечной лени, которую[ь] можно назвать первородным грехом человека.[э] Эти качества делали его чрезвычайно тихим и скромным в обществе, где он обыкновенно не отходил[ю] ни на минуту от маменьки, разве для танцев, и не говорил ни слова, не взглянув на нее,[я] да и вообще где бы он ни был, Васинька имел обыкновение не сводить с нее глаз, и когда его сверстники исподтишка насмехались над его незнанием самых обыкновенных предметов и еще более над его невероятными понятиями обо всем, что касалось до наук, Васинька спокойно[а] отвечал: «Так маменьке хочется, так маменька думает», — и почитал[б] свой ответ доказательством, которое не

[л] *Далее было*: их <*1 нрзб.*> боязливость была преувеличена всею их нежностью [м] *Было*: вдовы [н] *Далее было*: Вообще Дарья Петровна была очень чувствительная и даже добр<ая>. Нежность этих дам простиралась [о] *Далее было*: и некоторые из знакомых стали уговаривать [толковать Марье Петровне] Марью Петровну, что пора отдать его в какое-нибудь воспитательное заведение [п] *Далее было*: по-прежнему [р] *Слова*: напротив, с летами ~ осторожнее — *вписаны.* [с] *Было*: от него [т] *Было*: изуродован болезнию [у] *Вместо*: ставила на окно — *было*: зажигала [ф] *Было*: зарывала своего сына [х] *Текст*: во время грозы ~ в подушки — *вписан*; *далее было*: и беспрестанно [ц] *Было*: изобретает [ч] *Слова*: из ее знакомых — *вписаны.* [ш] *Было*: совсем не хочу [щ] *Было*: без это<го> [ъ] *Было*: *а)* не имел других желаний, кроме воли матери; *б)* выгнулся совершенно; *далее было начато*: его ум [ы] *Далее было начато*: боязл<ивость> [ь] *Было*:этому [э] *Текст*: его ум ~ грехом человека. — *вписан.* [ю] *Далее было*: от нее [я] *Было*: прежде на маменьку. [а] *Было*: прямо [б] *Было*: почитая

может уже подвергаться никакому противоречию.[в] Оттого все знакомые называли Марью Петровну примерною матерью, а его примерным сыном, отцы и матери ставили его в образец[г] своим детям и грозили им взять их из университета, если они во всем не будут походить на Васиньку. Мать,[д] слыша себе беспрестанно такие похвалы, еще более утверждалась в избранной ею системе воспитания, а сын не шутя уверился, что он истинное совершенство.[е]

В этой счастливой уверенности,[ж] довольные собою, они были довольны друг другом; никогда ни тени разногласия между ними; потому, что думала она, то думал и он; чего хотела она, того хотел и он.[з]

Марья Петровна обыкновенно жила в Москве безвыездно, потому что путешествие пугало ее своими возможными опасностями; жизнь ее текла смирно, тихо, в полном удовольствии, и она об одном молила Бога, чтобы Васинька был здоров и весел; домашних неудовольствий она не имела, ибо она и сестра были очень добрые женщины, не имели никаких женских капризов, были ласковы ко всем, даже к своим людям; они,[и] например, в противность тогдашнему обыкновению,[к] никак не решились остричь волосы двум своим <женщинам> и одеть[л] в мужское платье, для того чтобы они могли петь на крилосах,[м, 6] хотя одна из них имела превысокий дискант,[7] а другая прекрасно подтягивала басом.[н]

Часто в летние вечера[о] все семейство уходило в садик, а дворовым своим позволялось[п] играть в горелки,[8] петь песни. Иногда на широкий двор являлся прянишник с орехами, маковница с медовиками, а иногда и просвирня[9] из приходской[р] церкви[с] присоединялась к старшим, которые обыкновенно садились у ворот на лавочке и точили балы;[10] пока молодежь забавлялась, веселость распространялась по всему околотку, даже прохожие у решетки[т] останавливались, подтягивали весельчакам, и веселые отзывы народных песен далеко разносились по тихим улицам древней столицы, в этой части города,[у] еще не оскорбленной ни мостовыми, ни тротуарами. Около 10 часов вечера господа возвращались в комнату, ужинали, Дарья Петровна с Васинькой ложились почивать,[ф] вороты и ставни запирались,[х] все утихало, и на дворе оставались

[в] *Текст*: да и вообще где бы он ни был ~ никакому противоречию. — *вписан*. [г] *Вместо*: сыном ~ в образец — *было*: сыном, ставили в образец [д] *Далее было*: и сын [е] *Далее было*: *а*) и когда его сверстники, с которым<и>; *б*) Впрочем Дарья Петровна была очень добрая женщина, ласковая ко всем и даже к своим людям [ж] *Было*: В этом блаженном спокойствии и [з] *Далее было*: впрочем и вообще Дарья Петровна была очень добрая женщина, не имела никаких женских капризов, была ласкова ко всем; *текст*: В этой счастливой уверенности ~ того хотел и он. — *вписан*. [и] *Было*: она [к] *Было*: очень негодовала на тогдашнее обыкновение [л] *Было*: одевать [м] *Далее было*: выдавал[а]и харчевые очень аккуратно и даже при себе позволяла им играть в горелки, петь песни и проч. Одним только можно было ее раздосадовать [н] *Текст*: она и сестра были очень добрые ~ басом. — *вписан*. [о] *Далее было*: она уходила [п] *Было*: позволяла [р] *Было*: ближней [с] *Далее было начато*: *а*) послу<шать> поточить балы; *б*) старшие; *в*) которые постарее, те; *г*) поточить балы [т] *Вместо*: пока молодежь ~ прохожие у решетки — *было*: которые помоложе играли в горелки, сеяли про<со?> и пели песни, прохожие [у] *Было*: в этом околотке [ф] *Вместо*: в комнату ~ ложились почивать — *было*: домой, все утихало [х] *Далее было*: большая собака

лишь большая собака на длинной веревке да городской сторож, который со всеусердием стучал[ц] в деревянную доску, чтобы показать[ч] домашним свою бдительность,[ш] также в свою очередь укладывался спать на чистом воздухе летом, в конюшне[щ] зимою.[ъ]

Так протекали долгие дни.[ы] Но наступил 1812-й год. Грозные вести не скоро достигли[ь] Дарьи Петровны, она[э] обыкновенно не читала газет, потому что в них иногда описываются очень страшные случаи, и уже давно Москва волновалась, уже Манифест Государев потрясал благородные сердца древней столицы, молодые дворяне сами вписывались в военную службу, больные[ю] и дряхлые отдавали половину достояния своего на вооружение полков, а Дарья Петровна еще просила своих знакомых, чтобы ей, особенно при Васиньке, о таких страхах не рассказывали; знакомые кто со смехом, кто с негодованием[я] от нее отворачивались, и Дарья Петровна в своем малодушном эгоизме[а] разделявшая общую тогда уверенность, что в Москве бояться нечего, действительно не знала и не хотела знать о грозе, висевшей над Россиею; по-прежнему она занималась[б] сохранением здоровья своего Васиньки, приготовляла на зиму соленья и варенья, а Васинька утешался, смотря на проходивших по улицам молодых людей, затянутых в походное платье и гремевших блестящими саблями, а вечером спокойно ложился в постельку с своею маменькою, думая разве о кренделях, с которыми он будет кушать чай завтрашним утром.

Однажды встревоженная слухами,[в] Дарья Петровна поехала, разумеется, и с Васинькой,[г] на вечер к одной дальней родственнице, разбитой[д] параличом и потому никогда не выезжавшей со двора. Но каково было удивление[е] Дарьи Петровны, когда она увидела на дворе беготню, крик слуг, прощания, в комнатах сундуки — и наконец свою тетушку в дорожном капоре.

[ц] *Было*: бил [ч] *Было*: уверить [ш] *После*: бдительность — *было*: В этом доме с давнего времени жило небольшое дворянское семейство, состоявшее из вдовы, ее сына и ее сестры, девушки на возрасте. Покойный муж этой вдовы поручик Магницкий был смертельно ранен в Француз<скую> несчастную войну. [щ] *Было*: в сенях [ъ] *Текст*: также в свою очередь ~ в конюшне зимою — *вписан*. [ы] *Фраза*: Так протекали долгие дни. — *вписана*. [ь] *Было*: Грозные вести достигли наконец и до [э] *Было*: которая [ю] *Было*: старшие [я] *Слова*: кто со смехом, кто с негодованием — *вписаны*.

[а] *Слова*: в своем малодушном эгоизме — *вписаны*. [б] *Было*: старалось [в] *Слова*: встревоженная слухами — *вписаны*. [г] *Слова*: разумеется, и с Васинькой — *вписаны*. [д] *Было начато*: страда<вшей> [е] *Далее было*: когда

БАБУШКА, ИЛИ ПАГУБНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

<беловой автограф>

Прокляну того ребенка, который что-нибудь переймет у басурмана.

Скотинин — в «Недоросле» Фонвизина[1]

Глава 1

1812 ГОД

Если вы, любезный читатель, бывали в Москве до 1812-го года и вам случалось проходить по бесчисленным переулкам, отделяющим Арбат от Пречистенки,[а] то, может быть,[б] заметили небольшой серенький домик с серенькими же ставнями;[в] этот домик отличался от своих соседей тем, что выходил не на улицу, но был построен на старинный боярский лад посереди двора; кругом двора тянулась деревянная решетка с набитыми наверьху гвоздями, вероятно в предосторожность от воров, а еще вероятнее для того, чтобы им было за что ухватиться. Этот домик мне памятен особенно[г] по его зеленому мезонину, который, словно дикая овощь, вырастал из серенькой крышки,[д] и потому еще, что у ворот были круглые[е] фонари, похожие на пузыри и напоминавшие то блаженное время, когда освещение улиц было скорее[ж] боярскою милостию, нежели полицейскою обязанностию.

Этот домик с давнего времени[з] принадлежал небольшому дворянскому семейству, состоявшему из вдовы, ее сына́ и ее сестры — девушки на возрасте. Дарья Петровна Миницкая (так звали[и] вдову) мало жила с покойным своим мужем. Он служил в военной службе и шесть месяцев после свадьбы принужден был оставить свою Дашу, хотя она была уже беременна; возвращался он домой на короткое время и снова уезжал в полк; наконец, началась несчастная война с французами, предшествовавшая русской славе 1812-го года, и маиор Миницкий, жестоко раненный, возвратился в последний раз в Москву взглянуть на жену и сына — и умереть. Последние слова храброго служаки, которые он едва мог выговорить среди невыносимых[к] мучений, были: «Не оставь... Васиньки...» за ним <и> последовал предсмертный лепет — умирающий силился выговорить еще несколько слов, — но уже никто не мог их расслушать.

Таким образом Васинька с самых юных лет оставался единственно на

[а] *Далее было*: вы [б] *Было*: верно [в] *Далее было*: и зеленым мезонином; впрочем, правду сказать [г] *Было*: всего больше [д] *Слова*: который ~ крышки— *вписаны.* [е] *Было*: большие круглые [ж] *Было*: больше [з] *Было*: В этом домике с давнего времени [и] *Было начато*: наз<ывалась> [к] *Было*: предсмертных

руках матери; отца он почти не знал; при имени отца Васиньке смутно представлялся человек, который все лежал в постеле и беспрестанно стонал; помнил он также, что этого человека куда-то вынесли, что все домашние очень плакали, и все были[л] такие страшные в черном;[м] что потом в доме стало тихо[н] — и стон, и слезы прекратилися. Впоследствии Васинька находил в углу какую-то шпагу, которою ему очень хотелось поиграть, но маменька не позволяла ее трогать, говоря, что ею можно ушибиться, опорезаться,[о] и прятала ее дальше в угол;[п] тогда Васинька[р] отыскивал в комоде какие-то кресты и медали на разноцветных лентах; маменька радовалась, что Вася, забавляясь им<и>, забывал о шпаге, надевала ему их на шею, называла его кавалером, подносила к зеркалу, целовала, а Вася охорашивался.

Если вы хотите, любезный читатель, понять странную жизнь моего героя, не поскучайте познакомиться с характером его воспитательницы, ибо она, так сказать, сотворила эту жизнь.[с]

Дарья Петровна была характера, составленного из самой разнородной смеси, что гораздо чаще встречается, нежели как полагают. В ней была и доброта и нерешительность, и малодушие и твердость; не играя словами, можно было про нее[т] сказать, что она была последовательна в своей нерешительности,[у] тверда в своем малодушии и что эгоизм ее доходил до горячей привязанности.[ф] Она невзначай составила себе кой-какие правила для жизни и повторяла их часто, делая столь же часто[х] совершенно им противное. Положительных[ц] страстей не имела,[ч] но были у ней страсти отрицательные, для которых[ш] она всем могла пожертвовать, эти страсти были: привычка к лени[щ] и беззаботности; боязливая до крайности, она в беде[ъ] верила в авось и утешалась мыслию, что авось-либо пройдет; когда беда проходила, она тревожилась мыслию, что беда может прийти. Вообще она была очень несчастлива, потому что всегда желала решительно невозможного: ей хотелось, чтобы каждый день непременно походил на вчерашний, но чтобы не всякий день было одно и то же;[2] ей хотелось, чтобы Васинька навсегда остался ребенком, — и с нетерпением[ы] ожидала, когда-то он возьмет весь дом в руки и будет ее покоить; ей хотелось, чтобы Васинька никогда не был болен, а между тем пичкала его всякими лакомствами до пресыщения. Она горько жаловалась на судьбу, когда[ь] в городе было слышно о болезнях, когда в соседстве случался пожар. «Ну зачем, скажите, такие несчастия — кому они надобны?» — повторяла она в малодушном ропоте, — потом[э] клала земные поклоны пред иконами и равнодушно смотрела, как

[л] *Далее было начато*: одет<ы> [м] *Было*: все в черном [н] *Далее было*: не было [о] *Было*: и опорезаться [п] *Далее было*: но чтобы утешить ребенка, надевала на него кресты [р] *Вместо*: тогда Васинька — *было*: отыскивал [с] Если вы хотите ~ эту жизнь. — *Вписано на полях.* [т] *Далее было*: можно [у] *Вместо:* была ~ нерешительности — *было*: делала зло от доброты и была [ф] *Слова*: и что эгоизм ее ~ привязанности — *вписаны.* [х] *Было*: что-нибудь [ц] *Было*: сильных [ч] *Было*: она не имела [ш] *Было*: была у ней страсть, для которой [щ] *Было*: эта страсть была лень [ъ] *Вместо*: в беде — *было начато*: вер<ила> [ы] *Вместо*: с нетерпением— *было*: утешалась мыслию [ь] *Далее было начато*: поднимал<ись?> [э] *Было.* и потом

ее собственные кучера ходили в конюшню с сальным огарком без фонаря, иногда она и бранила их за это, — но завести[ю] фонарь все как-то позабывала. Все домашние называли Дарью Петровну не только ласковою, но даже доброю барынею, например, она никак не соглашалась, в противность тогдашнему невероятному обычаю, остричь двум своим девкам волосы и одеть их в мужское платье, чтобы они могли петь на крилосах, хотя у одной[я] из них был превысокий дискант, а другая подтягивала прегустым басом; но зато если кто в доме занемогал, она без пощады выгоняла из дома больного, хоть в трескучий мороз;[а] всякая болезнь у людей ей казалась заразительною, а между тем в доме у ней спали до сорока человек обоего пола, и не было форточки ни в одном окошке, потому что Дарья Петровна слышала, как кто-то от такой немецкой выдумки[б] простудился.

Сестра ее Марья Петровна была перезрелая девушка, весьма дородная, белая, румяная; характера ее описать не могу, ибо у ней не было никакого; она была при сестре в должности сколка, эхо или транспортирной машинки;[в] все, что говорила Дарья Петровна, то Марья Петровна с точностию повторяла; Дарья Петровна плакать — и сестра тоже;[г] одна смеяться[д] — и другая то же; Дарья Петровна целовала Васиньку с одной стороны — Марья Петровна с другой; зачем,[е] что и как Марья Петровна не ведала, да и в голову ей не приходило себя о том спросить. В наше время редко где можно найти такое патриархальное[ж] согласие.

Интересные[з] разговоры сестер нарушались иногда приходом[и] просвирни Климовны, которая часто гащивала у Миницких и служила им живою газетою. Климовна пила чай раз по десяти в день и раз пять[к] кофий, говоря, что к кофию она привыкла у турок, ибо на своем веку ходила пешком в Иерусалим.[л]

Усаживались Дарья и Марья Петровны на лежанке, Климовна у лежанки на сундуке, Васинька на ковре с игрушками, — и начинались рассказы, словно гусли звончатые:[м] сперва перебирались происшествия околотка, кто на ком женился, с кем кто обручился, кто разбранился и проч т. п.; потом шли[н] разные истории: как она, Климовна, на верблюдах в корзинке ездила, как там у турок есть птица Строфокамил с лошадиными копытами и носит камень в копыте,[3] как в Иерусалиме солнце по воскресеньям скачет и играет, отчего сорок нет в Москве; наконец,[о] дело доходило и до политики, Климовна рассказывала, что, говорят, турок поднимается и велел заготовить железные крюки, что-

---

[ю] *Было*: приказать купить [я] *Было*: одна [а] *Вместо*: в трескучий мороз — *было*: в 30 градусов [б] *Вместо*: от такой немецкой выдумки — *было*: от такого нововведения [в] *Было*: эхо, транспортирной машинки [г] *Далее было*: одна смеялась, другая тоже [д] *Было*: начинала плакать [е] *Было начато*: редко [ж] *Было*: семейное [з] *Было*: Эти интересные [и] *Было начато*: появле<нием> [к] *Было*: столько же раз [л] *Далее было*: Рассказам не было конца [м] *Текст*: Усаживались...гусли звончатые — *вписан на полях*. [н] *Было*: наступал <?> [о] *Текст*: потом шли разные истории... наконец — *вписан на полях*.

бы солдат[п] издали задевать; в таких случаях Дарья Петровна ахала и Марья Петровна также, просила, чтобы таких страхов при Васиньке не рассказывать, о чем вслед за тем просила и Марья Петровна; тогда Климовна присвистнет, прищелкнет ко всеобщему удовольствию слушателей,[р] пригрызнет сахарцу, хлебнет чайку и переменит материю.

[п] *Далее было*: наших [р] *Далее было*: и начнет приб<аутки?>

Е. Ф. Розен

«ПЕСТРЫЕ СКАЗКИ С КРАСНЫМ СЛОВЦОМ, СОБРАННЫЕ ИРИНЕЕМ МОДЕСТОВИЧЕМ ГОМОЗЕЙКОЮ, МАГИСТРОМ ФИЛОСОФИИ И ЧЛЕНОМ РАЗНЫХ УЧЕНЫХ ОБЩЕСТВ, ИЗДАННЫЕ В. БЕЗГЛАСНЫМ»

Эстетически чудесное, при всем бесконечном разнообразии в явлениях, подводится под один простой основной закон: оно должно иметь *значение*, т.е. каждая форма оного должна быть выражение идеи. Присматриваясь к сему чудесному, мы видим, что его можно разделить на три рода: первый заключает в себе чудесное народных преданий и поверий; второй есть свободный разгул поэзии в области фантастического, а третий составляет умственный процесс житейского, или (говоря словами нашего автора) философская калцинация, сублимация и дистиллация. В первом роде не все имеет для нас ясный смысл, но разгаданное нами велит благоговеть к неразгаданному, как к таинственным символам народного мистицизма, или — если хотите, *неразгадаемого* в человечестве. Мы более чувствуем внутреннюю истину сих символов, образовавшихся не в уме одного человека, но в душе народа, и поэтому они для нас исполнены значительности. Чудесное второго рода также не подлежит строгим применениям к ощутительной правде. Фантазия, когда летает на крыльях гения, никогда не заблудится, куда бы ни залетела; как бы ни была жива, стремительна, прихотлива в своих явлениях, она никогда не превратится в бред горячки, и как бы ни был разнообразен ее стройный разгул, мы в нем узнаем то единство, которое глаз наконец уловляет в пестрой финифти роскошного цветника.[1] Но третий род чудесного требует строгой отчетливости: не только идея целого, но и значение каждого частного действия и явления должны выйти наружу, ибо ясный, во всем разгаданный смысл придает занимательность и самой уродливости, есть — так сказать — необходимый свет в этом волшебном фонаре. К сему роду чудесного принадлежат наши «Пестрые сказки».

Мы пишем не рецензию, а только библиографическое известие; мы сделали свое дело, определив, по нашим понятиям, точку зрения, с которой должно смотреть на упомянутую книгу; теперь каждый пусть

читает ее с большим вниманием, нежели с каким читал обыкновенные сказки или ходячие романы, ибо книга такого рода, требуя размышления и заставляя мыслить, может быть понятна более или менее, по мере образованности и понятливости каждого читателя. Итак, да не винят автора, если иного не поймут с первого раза, если смысл глубоких соображений ускользает от них, как тень Анхиза![2] Да не поверят издателю, чтобы пришедший в пепельное состояние фрак почтенного Гомозейки заставил его издать эти оригинальные сказки, столь живо напоминающие нам единственного Гофмана.[3] Автору угодно было подшучивать над публикою двумя предисловиями, но публика очень мило отшучивается расхватыванием этой книги, доказывая тем, что она и без журнальных и газетных объявлений и одобрений имеет полную веру в гениальность автора «Последнего квартета Бетговена»,[4] «Piranesi»,[5] «Импровизатора»,[6] «Бригадира»[7] — и она не обманулась в своих ожиданиях. Читая «Пестрые сказки», не знаешь, чему удивляться более: оригинальному воззрению ли автора на все житейское, или неистощимому богатству фантазии, или тому, что этот пронзительный философический ум, разлагающий все без милосердия, может уживаться с такою искреннею, добродушной веселостию, какою дышит «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем»! Что может быть забавнее объявления Реженского земского суда, который вызывает *владельца* оного тела? Как эффектна должна быть эта сказка для наших добрых провинциалов, а в особенности для всех *Севастьянычей*, кои, без сомнения, постараются поправить свой слог, дабы какой-нибудь дух и их не подурачил пятидесятирублевой ассигнациею. И в самом деле, один из моих старых приятелей, провинциал, недавно приехавший в столицу, не может наговориться об этой «Сказке»: для него она альфа и омега поэтических красот. Но, к крайнему удивлению моему, он, невзирая на таковое пристрастие, находит в ней один недостаток: «Севастьяныч, — говорит он, — должен был сперва разглядеть *двусмысленность* земского объявления и — пьяный — рассуждать о том, что таковая неусмотрительность могла бы вызвать и *настоящего* владельца тела, т. е. покойника — тогда все это было бы гораздо *натуральнее*». Узнав, что я думаю писать для «Северной пчелы» статейку о «Пестрых сказках», он требовал, чтобы я тут поместил и его замечание. Нам, жителям столицы, предпочтительно нравится «Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту»; но дабы доказать доброму провинциалу, что и мы еще не разучились отдавать себе отчет в своих умственных наслаждениях, скажем, что автор, по нашему мнению, не довольно удачно и характерно подслушал у наших дам это уверение *в глубочайшем почтении и таковой же преданности*, которое он влагает в уста своей куклы-красавицы; сия фраза свойственна более департаментскому чиновнику, нежели юной посетительнице магазинов. «Та же сказка, только на изворот» также прекрасна и очаровывает священною горячностию чувств. Красавица постигла тайну страдать и мыслить — и, наконец, в сожитии с деревянным супругом сделалась жертвою сей тайны. Каким душным унынием навевает эта окончательная фраза:

«Проходящие осуждали ее больше прежнего!» Дай Бог, чтобы так легко было превращать живущих кукол в достойнейших женщин и учить их искусству чувствовать и мыслить! Мы бы готовы были не только одевать их гармоническими звуками Бетговена, но и купать в Океане гармонии, если б сия обширная купель разрушала все иностранные чары. Жаль, что все это не что иное, как прекрасная неправда! Почтенный доктор философии Гомозейко, игравший роль старика в продолжение семи «Пестрых сказок», изменил своей роли в осьмой, обернулся молодым светским человеком, говорящим прекрасному полу замысловатый и нравоучительный комплимент, — а мы, видя его в полном цвете юности, про себя говорим с восторгом: «Сколько он еще напишет прекрасного!»

Наш автор имеет свое собственное правописание; пусть так! но зачем он пишет: *етот*, когда уже непременно должно писать: *эти*.

«Пестрые сказки» изданы так роскошно, что наш знаменитый петербургский бонмотист сказал: «Теперь не знаю, существуют ли типографии для литературы или литература для типографий?» В самом деле, «Пестрые сказки» и по роскоши издания суть *новость* на нашем Парнасе.

Н. А. Полевой

«ПЕСТРЫЕ СКАЗКИ С КРАСНЫМ СЛОВЦОМ, СОБРАННЫЕ ИРИНЕЕМ МОДЕСТОВИЧЕМ ГОМОЗЕЙКОЮ, МАГИСТРОМ ФИЛОСОФИИ И ЧЛЕНОМ РАЗНЫХ УЧЕНЫХ ОБЩЕСТВ, ИЗДАННЫЕ В. БЕЗГЛАСНЫМ»

Мы нашли в этой книге совсем не то, чего ожидали. Было объявлено, что «Сказки», или фантазии, помещавшиеся в альманахах под одною фирмою и запечатленные одинаким духом, одинаким воззрением на предметы, печатаются и вскоре будут изданы все вместе. Мы хотели испытать впечатление от общности их, ибо оно бывает не таково, как от частностей, и тогда надеялись дать отчет свой об этом явлении, приятном в неразнообразной русской литературе. Но мы обманулись в своем ожидании. «Пестрые сказки» совсем не тот «Дом сумасшедших»,[1] которого мы ожидали. Это совершенно иные создания, и почти все они были новы для нас, кроме одной «Пестрой сказки», помещенной в «Комете Белы». Приятель г-на Гомозейки, г-н Безгласный, уведомляет, что он со временем издаст «Дом сумасшедших», а теперь покуда заставляет публику довольствоваться «Пестрыми сказками». Таким образом, должны и мы сказать свое мнение покуда лишь о них.

Но что такое они, эти «Пестрые сказки», изданные в самом деле пестро, на полусиней бумаге, с рамкою кругом каждой страницы, с испечатанным разными красками заглавным листком и с виньетками в роде Жоанно?[2] В наше время не любят мнений ab abrupto;* да и не в нашем обычае судить без доказательств, без предварительного, адвокатского изложения мыслей о деле вообще — разумеется, если речь идет о книге сколько-нибудь замечательной. Надобно и здесь сказать прежде всего о роде сочинений, к которому принадлежат «Пестрые сказки».

В душе человеческой есть вера в чудесное, несообразное с обыкновенным порядком дел. У младенца и у взрослого, у дикого и у просвещенного человека, везде, под всеми градусами, во всех климатах есть к этому

---

* внезапно, сразу; без предварительной подготовки (*лат.*).

особенное чувство, которое лелеет он в глубине души своей, скрывает, как заповедную тайну и часто не умеет дать ему настоящего названия. Оно является под бесчисленным множеством видов. Древние облекали почти все силы природы таинственными символами и верили, что Юпитер колеблет свод небес манием бровей, что Солнце — прекрасный молодой человек, прогуливающийся в колеснице, что Нептун ударом трезубца производит бури.[3] Они верили всем подобным сказаниям, ибо не могли изъяснить себе иначе явлений природы. Но просвещение, невидимо рассеивающее мрак заблуждений, вскоре дало иное значение символам, сначала непостижимым, которые обратились в верование, в религию, имевшую свою систему, и уже самые греки оставили нам много верных понятий о природе. С явлением истинной веры мифология древних пала в забвение, и христианский мир освободился от языческих преданий. Но указанное выше чувство к чудесному не погибло в человеке. Оно приняло новые формы и господствовало над умами в виде злых духов, сглазов, наговоров и проч. Наконец, когда прошло время и этого рода суеверий, когда человек еще ближе познакомился с истинным причинами всего видимого им, тогда остался еще для него мир, невидимый вещественными очами и управляемый фантазиею. Вступая в глухой темный лес, человек уже не думает встретить там Фавнов и Лешиев,[4] но не может освободиться от какого-то неизъяснимого чувства, похожего на робость. Один, в таинственном, удаленном от живых существ подземелье, или еще более на кладбище, среди безмолвных гробов, ночью, он невольно проницается трепетом. Какие думы, какие мысли волнуют его, когда стоит он, в темную ночь, на берегу моря, которое с однообразным ропотом хлещет в берег и с шипением расстилает у ног его свои волны! Он хочет проникнуть в тайный язык природы; он хочет узнать, о чем говорят ему волны моря, о чем сетуют уединенные в лесах птицы, что шепчет ему ветерок мимолетный и какую весть приносит серебристый свет луны? Это чувство неистребимо в человеке, и некоторые из новых поэтов, особенно германских, основали на нем прекрасный род поэзии, называемый фантастическим. Чистую, младенчески верующую душу надобно иметь тому, кто хочет жить в этом неосязаемом мире. Надобно верить чудесному, разумеется, не с чувством простолюдина, но с чувством поэта, и верить искренно, дабы заставить поддаваться обаянию и тех людей, которым хотите вы передавать свои ощущения. Величайшим образцом в сем роде служит Гофман. Некоторые ставят в разряд фантастических писателей и великого Жан-Поля,[5] но несправедливо. Жан-Поль был философ и умел облекать в пиитические формы глубокие мысли свои. Но Гофман как поэт верил явлению призраков из огня и воды, из стклянок и из-под лавок, из табачного дыму и из кружки пива. Оттого сочинения его ознаменованы истиною в самых бурных увлечениях фантазии, оттого *возможное* является у него как бы *действительным*, ибо где предел *тому, что может быть*? Надобно было при этом, чтобы Гофман имел свою, только ему принадлежащую кисть — и вот тайна очарования, заключающегося во всех его картинах.[6]

В наш век, холодный век рассудительности и приличий, можно также причислить к *чудесному* явление людей, подобных Гофману. Мы стыдимся верований и еще более нарушения общепринятых мнений, принадлежащих ложно понимаемой образованности. Мы не умеем отделить поэта от человека светского, общественного. Опутанные отношениями, которые так важны в глазах многих, мы даже с самым добрым желанием не умеем вполне предаваться увлекающему нас чувству и если иногда выходим из круга пошлого благоразумия своего, то не забываем напоминать окружающим нас, что мы только шутим и сей час опять сделаемся благоразумны. Может быть, это очень хорошо для каких-нибудь отношений, но это убийство для всякой поэзии. Этим запечатлены и рассматриваемые нами «Сказки».

Читая их, видите ясно, что автор говорит неискренно с вами. Он только принял на себя роль добродушного рассказчика, только надел маску, сделанную столь неискусно, что из-под нее видна его собственная физиогномия. После этого нет очарования, нет покорности его чудесным рассказам; мы становимся с ним осторожны и не верим ни одному слову его! Прибавьте к этому, что он охолодил рассказы свои приданными им значением и формою, которые вовсе несообразны с основною мыслию его созданий. Внутренний смысл их — нравоучение, а форма — аллегория. Из каждой «Пестрой сказки» можно извлечь преблагоразумное, назидательное изречение; форма всех их чисто аллегорическая; следственно, автор возвратился к забытому, несообразному с нашим веком роду *распространенной басни*. Все это подтвердим мы доказательствами.

Ни один читатель не может сомневаться, что автор хотел ввести нас в тот чудесный мир, где самовластно господствует фантазия. Он представляет нам бал, который дает кто-то в реторте — да, в реторте! — и что еще ужаснее, под ретортою — огонь. Один из гостей чуть не изжарился там и решился вылезть из этой жаркой бани; но только показал он свой нос из горлышка реторты, как дьяволенок, который шутил так неучтиво над гостями и над хозяином бала, схватил его и бросил в латинский словарь. Тут нашел мученик наш *паука*, *мертвое тело*, *колпак*, *Игошу* и все прочие сказки, явившиеся ныне под именем «пестрых». Признаюсь, эта холодная, бесцветная, ничего не сказывающая аллегория, усыпанная блестками начитанности, — обдает холодом прозаизма! Посмотрим однако ж, что есть в других, *настоящих* сказках, потому что бал в реторте служит им только введением. — «*О мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем*». К пьяному приказному, когда он сидел зимою в холодной избе, явился кто-то, потерявший свое тело. Он заставил приказного написать прошение о сыске своего тела, и люди изъясняют это происшествие каждый по-своему. Разговор приказного с владельцем мертвого тела отличается истиною. — «*Жизнь и похождения одного из здешних обывателей в стеклянной банке, или Новый Жоко*». Это похождения паука. Он рассказывает о своей любви, о своих войнах, преследованиях отца и прочем. Как ни становитесь на место этого паука, вы не поймете, зачем рассказывал он свои приключения? Неужели для того,

чтобы сказать великую истину: все предметы бывают велики и малы по сравнению? — «*Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалось в Светлое Воскресенье поздравить своих начальников с праздником*». Вот по какому: он заигрался в карты с сослуживцами, и когда один из игравших задул свечи, то все карты превратились в игроков, а игроки в карты, которые начали играть Иванами Богдановичами, начальниками отделений и столоначальниками. Всех этих господ нашли спящими под стульями и столами. Предоставляю читателям разрешить, что хотел автор сказать своею аллегориею. — «*Игоша*». Это род маленького домового, но представленного не так, как обыкновенно рассказывают о нем нянюшки. — «*Просто сказка*». Это сон какого-то Валтера, которому представилось, что колпак влюбился в туфлю и, наконец, был запачкан ваксою. Верно, здесь тот смысл, что не надобно сближаться с порочными, от которых можно запачкаться? По крайней мере, аллегория новая! — «*Сказка о том, как опасно девушкам ходить по Невскому проспекту*». Сколько уже бывало нападений на чужеземное воспитание! Автор опять возобновляет старинную войну и аллегорически представляет, как из девушек делают нарядных кукол. — «*Та же сказка, только на изворот*». Кукла воскрешена каким-то индийским мудрецом; она понимает все возвышенное и прекрасное, но выходит замуж за бездушного урода, который говорит только о лошадях. Поэтическая красавица умирает с горя.

Вот все «Пестрые сказки». Краткие намеки о каждой из них могут показать читателям, справедливо ли назвали мы эти создания холодными аллегориями. Да! они холодны и по вымыслу, и по рассказу. Ни одной смелой, молниеносной истины, ни одного поэтического воззрения нет в них. Все мысли автора проникнуты презрением к людям, но презрением не самобытным, близоруким и неприличным для того, кто сам не умеет уносить нас из мира обыкновенного, кто, обещая великолепный спектакль, забавляет кукольною комедиею. Думая летать в мире фантазии, автор не отдаляется от земли и вводит нас в обыкновенный правильный сад, где вместо мраморных статуй наставил он фантастических уродцев. Мы в мире аллегории. Но что значит аллегория без мысли? Непонятный сбор слов, образов, лиц и намеков. Этот недостаток особенно заметен в трех первых сказках.

Таким образом, автор не достиг своей цели ни в одном отношении. Желая написать фантастические сказки, он сбился в аллегории и не оживил даже этого умершего рода ни новостью мыслей, ни живостью рассказа, ни остроумием. Он не умел соблюсти и того простодушия, которое хотел наложить на себя искусством. В некоторых местах он уже слишком аристократически говорит со своими читателями. Вот один пример, который также послужит и образчиком слога автора «Пестрых сказок»:

«Хорошо вам, моя любезная, пишущая, отчасти читающая и отчасти думающая братия! хорошо вам на высоких чердаках ваших, в тесных кабинетах между покорными книгами и молчаливой бумагой! Из слухо-

вого окошка, а иногда — извините, и из передней вы смотрите в гостиную; из нее доходит до вас невнятный говор, шарканье, фраки, лорнеты, поклоны, люстры — и только. За что ж вы так сердитесь на гостиные? Смешно слушать! вы — опять извините за сравнение, право, я не виноват в нем — вы вместе с лакеем сердитесь, зачем барин ездит четвернею в покойной карете, зачем он просиживает на бале до четырех часов утра, зачем из бронзы вылитая Стразбуржская колокольня считает перед ним время, зачем Рафаэль и Корреджио висят перед ним в золотых рамах, зачем он говорит другому вежливости, которым никто не верит; разве в том дело? Господи, Боже мой! Когда выйдут из обыкновения пошлые нежности и приторные мудрования о простом, искреннем, откровенном семейственном круге, где к долгу человечества причисляется: вставать в 7 часов, обедать в 2 1/2 и ложиться спать в 10? Еще раз скажу: разве в том дело?» И несколько далее: «Нет, господа, вы не знаете общества! Вы не знаете его важной части — гостиных! Вы не знаете их зла и добра, их Озириса и Тифона. И оттого: достигают ли ваши эпиграммы своей цели? Если бы вы посмотрели, как смеются в гостиных, смотря мимоходом на ваши сражения с каким-то фантомом! смотря, как вы плачете, вы негодуете, до истощения издеваетесь над чем-то несуществующим!..»

Смиряемся перед этою светскою мудростью и бесспорно готовы согласиться, что в гостиных не вечно зевают и злословят, что в светском обществе не только пьют, едят, играют в карты, что там вырастают мысли высокие и чувствования возвышенные. И надобно ли нам самим расстилаться на паркете, чтобы знать, как живут и что чувствуют там, так же, как надобно ли быть крестьянином, торгашом, подьячим, солдатом, чтобы вернее всех этих людей давать себе отчет в их деяниях и чувствованиях? Мне кажется, сочинитель сам сражается с фантомом и высказывает мысль, недостойную философа. Мир театр: иной из отдаленного угла видит и слышит больше, нежели другой, сидя подле самого оркестра. Провидение наделяет избранных своих особенным зрением и слухом, особою способностью проникать в глубину сердца и страстей человеческих, в каких бы видах, под какими бы образами не являлись они. Но как условия, непременного для прорицателей всего истинного и прекрасного, оно требует чистой, светлой, любящей души. Этого нельзя приобрести никаким искусством, нельзя заменить никакою пылью остроумия, нельзя купить никакою начитанностию и поддельностью. Вы хотите быть творцом в мире изящного? Избирайте же те стороны его, которые доступны вам, от которых сильно трепещет душа ваша, — и тогда смело передавайте людям свои ощущения. Иначе бумага примет одни требования ваши, которые послужат свидетельством бессилия человеческого. Предоставьте таким простолюдинам, как Гофман, Жан-Жак, Жан-Поль, Жанен говорить душе и сердцу: таким людям душны и страшны гостиные, и потому-то, может быть, они довольствуются природою и человечеством.[7] Для ума есть много других поприщ.

<ПИСЬМО Э. В. БИНЕМАННА В. Ф. ОДОЕВСКОМУ>

Mon prince,

Je n'ai jamais tant regretté de ne porvoir disposer de l'oiseau *Roc* pour me transporter pour un instant chez vous que ce soir pour vous remettre moi-même ce volume de délicieuse élégance et gracieuseté, cette partie des «Mille et une nuits»; mais il est certain au moins que les contes de la Scheherezade ne m'ont pas fait tant rire que ces «Пестрые сказки».

On voudrait qu'il n'y eût pas de fin, que d'esprit et quelle sensation ils devraient faire à leur apparition! En vous en remerciant beaucoup je regrette infiniment d'être encore retenû par un rhûme de cerveau qui m'a fait la cour. Sans aucun doute, mon prince, on vous aura remis mon billet envoyé il y'a quinze jours avec les enfants. J'éspère que vous jouissez de la santé qu'il faut désirer pour un auteur doté comme vous et que je serai bientôt assez heureux de vous voir.

Agréez en attendant l'hommage de la reconnaissance de

Votre très-humble serviteur

E. W. Bienemann

Soir Pythagorien.

P. S. N'est-ce pas vous ennuyer, mon prince, que de vous demander si vous pourrez passer un instant pour la retouche. Comme c'est un souvenir que je dessine à madame la princesse je voudrais bien le terminer et votre pelisse sera chauffée.

Адрес:

Его сиятельству князю Одоевскому
с волшебной книгой.

Перевод:

Князь,

Я никогда так не сожалел, что не имею в своем распоряжении птицу Рок, которая перенесла бы меня на мгновение к Вам, чтобы нынче вечером самому вернуть это средоточие восхити-

тельной элегантности и изящества, эту частицу «Тысячи и одной ночи»; но по крайней мере очевидно, что сказки Шехерезады не могли меня так развеселить, как эти «Пестрые сказки».

Хотелось бы, чтоб им не было конца, сколько в них ума и чувства и какое впечатление они должны произвести своим появлением! Очень благодарю Вас и бесконечно сожалею, что меня все еще одолевает и удерживает простуда. Вне всякого сомнения, князь, Вы должно быть уже получили весточку, которую я послал около двух недель назад с детьми. Я надеюсь, что Вы в том добром здравии, какого можно пожелать такому одаренному писателю, как Вы, и что мне вскоре посчастливится увидеть Вас.

В ожидании примите уверения в почтении
Вашего покорнейшего слуги
Е. В. Бинеманна

Пифагорейский вечер.

P. S. Осмелюсь ли Вам докучать, князь, просьбой заглянуть ненадолго для поправок. Поскольку это подарок, который я рисую для княгини, я очень хотел бы его окончить, и шуба Вам будет согрета.

В. Г. Белинский

ИЗ СТАТЬИ «СОЧИНЕНИЯ КНЯЗЯ В. Ф. ОДОЕВСКОГО»

...Еще в 1833 году издал он свои «Пестрые сказки», в которых было несколько прекрасных юмористических очерков, как, например: «История о петухе, кошке и лягушке»,[1] «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Отношенью не удалось в Светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником», «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем». Но между этими очерками была пьеса «Игоша», в которой всё непонятно, от первого до последнего слова, и которая поэтому вполне заслуживает название *фантастической*. Мы имеем причины думать, что на это фантастическое направление нашего даровитого писателя имел большое влияние Гофман. Но фантазм Гофмана составлял его натуру, и Гофман в самых нелепых дурачествах своей фантазии умел быть верным идее. Поэтому весьма опасно подражать ему: можно занять и даже преувеличить его недостатки, не заимствовав его достоинств. Сверх того, фантазм составляет самую слабую сторону в сочинениях Гофмана; истинную и высокую сторону его таланта составляет глубокая любовь к искусству и разумное постижение его законов, едкий юмор и всегда живая мысль.

. . . .

...перейдем к «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» и «Той же сказке, только на изворот». Она была напечатана еще в 1833 году в «Пестрых сказках», и ее содержание известно многим. Героиня ее — *славянская дева*, которая, как все славянские девы, была бы чудом красоты, ума и чувства, если б заморский басурман, при помощи безмозглой французской головы, чуткого немецкого носа с ослиными ушами и туго набитого английского живота, не вырезал из нее души и сердца и не превратил ее в куклу. Эта сказочка навела нас на мысль об удивительной сметливости русского человека всегда выйти правым из беды и сложить вину если не на соседа, то на чорта, а если не на чорта, то на какого-нибудь мусье... Девушка шла по Невскому проспекту с десятью своими подругами, в сопровождении трех маменек, которые умели считать только до десяти, как ворона умеет считать только до четырех. Нет спора, что подобные дамы были в состоянии дать превосходное воспитание своим дочерям, если б не подвернулся проклятый басурман. Г-н Кивакель тоже, должно быть, воспитан был басурманами, а оттого и получил способность жить только трубкою и лошадьми... И, между тем, какое изложение, сколько таланта потрачено на эту сказку!..

В. Ф. Одоевский

ИЗ «ТЕКУЩЕЙ ХРОНИКИ И ОСОБЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ»

[24 ноября] 1860 г.

В «Будущности» кн. Петра Долгорукова (1860 № 1 — сент. — 15) посвящена мне следующая любопытная статейка (стр. 6 в примеч.):[1]

«Князь Одоевский, ныне единственный и весьма жалкий представитель древнего и знаменитого рода князей Одоевских, личность довольно забавная! В юности своей он жил в Москве, усердно изучал немецкую философию, кропал плохие стихи (*неповинен*),* производил неудачные химические опыты (*т. е. учился химии*) и беспрестанным упражнением в музыке терзал слух своим знакомым. В весьма молодых летах он женился на Ольге Степановне Ланской, старшей его несколькими годами, женщине крайне честолюбивой (*!*). Она перевезла мужа [своего] в Петербург и до такой степени приохотила его к петербургским слабостям и мелким проискам (*!*), что при пожаловании своем в камер-юнкера Одоевский пришел в восторг столь непомерный, что начальник его, тогдашний министр юстиции Дашков (*никогда в юстиции не служил*), человек весьма умный, сказал: *ВОТ, ОДНАКО, К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ* (экой вздор — я не ожидал моего камер-юнкерства[2] и когда выразил мое удивление Дашкову, он мне сказал: «Que voulez vous — c'est une convenance»).**

Одоевский бросался на все занятия (*виноват*), давал музыкальные вечера (*которые брали приступом*), писал скучные повести (*может быть, только их нет уже в торговле и все они переведены на все языки*) и чего уж не делал! (*даже не пускал к себе в переднюю таких негодяев, как Петр Долгорукий!*) По выходе его „Пестрых сказок" знаменитый Пушкин (*тот самый, к которому анонимные письма писал тот же Долгорукий, бывшие причиною дуэли*) спросил у него (*я тогда вовсе не был еще знаком с Пушкиным*): „*КОГДА ВЫЙДЕТ ВТОРАЯ КНИЖКА ТВОИХ СКАЗОК?*" (*Мы с Пушкиным были на вы*). — „*НЕ СКОРО*, — отвечал Одоевский. —*ВЕДЬ ПИСАТЬ НЕ ЛЕГКО!*" — „*А КОЛИ ТРУДНО, ЗАЧЕМ ЖЕ ТЫ ПИШЕШЬ?*" — возразил Пушкин (*такого*

---

* Здесь и далее разрядка в тексте статьи Долгорукова — подчеркнуто Одоевским, курсив в скобках — примечания Одоевского, прописной курсив — выделенное Долгоруковым.

** Что вы хотите — это условность (*фр.*).

разговора не было вовсе — и не могло быть[3] —*Пушкин сам писал с большим трудом, в чем сам сознавался и чему доказательством черновые стихотворения. — Пушкин уважал меня и весьма дорожил моими сочинениями и печатал их с признательностью в «Современнике»*[4]). Ныне Одоевский между светскими людьми слывет за литератора, а между литераторами за светского человека. Спина у него из каучука (*ну, уж этого никто на Руси, кроме подлеца, не скажет*), жадность к лентам и к придворным приглашениям непомерная (*ну, уж убил бобра*) и, постоянно извиваясь то направо, то налево, он дополз (*!*) до чина гофмейстера. При его низкопоклонности, украшенной совершенною неспособностию ко всему дельному и серьезному, мы очень удивимся, если при существовании нынешнего порядка (*или правильнее: беспорядка*) вещей в России еще лет десяток не увидим Одоевского обергофмейстером и членом Государственного совета».

Я посылаю Петру Долгорукову следующий ответ:

Стихов не писал,
Музыкой не надоедал,
Спины не сгибал,
Честно жил, работал,
Подлецов в рожу бивал.

От чего и теперь не отказываюсь при первой встрече. Но что пользы! если я ему и прострелю брюхо, все-таки его клевета останется без ответа. Где писать? В наших журналах нельзя, ибо запрещается говорить о запрещенных книгах. За границей? Где? неужли послать в «Колокол»?[5] Странное положение, в которое ставят нас цензурные постановления. Впрочем, Долгоруков прав: всякая полезная деятельность бывает смешна, ибо встречает препятствия, следственно неудачи, а всякая неудача смешна. Над вредной деятельностью не смеются, но иногда ненавидят. Бездействием всегда возбуждается уважение, как калмыцкими идолами, факирами, браминами.

Полторацкий[6] вне себя от негодования на гадость Петра Долгорукова.

<ОТВЕТ В. Ф. ОДОЕВСКОГО П. В. ДОЛГОРУКОВУ>

В одном безграмотном журнале, выходящим за границею, который, вероятно, в насмешку над всем русским присвоил себе название «Будущность», есть статья, где объявляется во всеуслышание, что я, нижеподписавшийся, предан низкопоклонному, чрезмерному любочестию, а сверх того, безделью и даже писанию плохих стихов. Этот журнал издается человеком, которого не хочу называть, ибо он бесславит свое, к сожалению, историческое имя. Доныне этот недоучившийся господин практиковался лишь по части сплетен, переносов анонимных подметных писем и действовал на этом поприще с большим успехом: от них произошли многие ссоры, многие семейные бедствия и, между прочим, одна великая потеря, которую Россия доныне оплакивает. Брань такого человека не стоит даже презрения; на его клевету ответ вся моя, скоро шестидесятилетняя, честная, трудовая жизнь; кто ее хоть несколько знает, тому самый род порицания, избранный клеветником, покажется довольно странным. Был ли мой труд на пользу или без пользы, не мое дело судить; я не имел никогда поползновения к автобиографии, полагая, что она должна следовать лишь за некрологией. Но в статье этого господина есть клевета другого рода, более положительная; он рассказывает о моих сношениях с А. С. Пушкиным и с Д. В. Дашковым. Я не могу и не должен молчать в таком деле, где клеветник вмешал столь знаменитые, столь дорогие для России имена; пошлым анекдотам не поверит никто из тех, кто знает меня и помнит все сношения с Пушкиным и с Дашковым, но эта ложь без всякой протестации могла бы, пожалуй, когда-либо войти в биографии этих великих людей; в подобных случаях долг литератора, как человека публичного, разоблачать хотя ради исторической истины всякую клевету, из какого бы грязного болота она ни поднималась.

С Пушкиным мы познакомились не с ранней молодости (мы жили в разных городах), а лишь перед тем временем, когда он задумал издавать «Современник» и пригласил меня участвовать в этом журнале;[7] следственно, я, что называется, товарищем детства Пушкина не был; мы даже с ним не были на *ты* — он и по летам, и по всему был для меня старшим; но я питал к нему глубокое уважение и душевную любовь и смею сказать гласно, что эти чувства были между нами взаимными, что могут засвидетельствовать все наши тогдашние знакомые, равно мое участие в «Современнике», письма ко мне от Пушкина и проч. т. п.; после

горькой его кончины я вместе с кн. П. А. Вяземским, В. А. Жуковским и П. А. Плетневым имел счастие быть редактором тех номеров «Современника», которых издание было предпринято нами для того только, чтобы исполнить обязанность великого поэта как издателя к подписчикам на его журнал. При такой обстановке дела анекдот, выдуманный бесчестным клеветником, и по времени, и по характеру наших отношений с Пушкиным не мог существовать ни в каком виде и ни при каком случае.

С Дашковым я познакомился в 1827 году при начале моей службы и имел счастие тогда же получить от него три весьма важные работы, за которые, может быть, многие грехи мне простятся в сем мире; в числе их было, между прочим: Положение о правах авторской собственности в России, вошедшее потом почти без перемен в силу закона и дотоле не существовавшее в нашем законодательстве.[8] Служба моя под начальством Дашкова длилась недолго, ибо он вскоре потом был сделан министром юстиции, а я остался в министерстве внутренних дел, но приязненные отношения между нами не прекращались до самой кончины этого знаменитого государственного мужа. Награда, о которой упоминает в подтверждение своего вымысла клеветник, последовала гораздо позже и была для меня совершенною неожиданностию.[9] Следственно, и анекдот обо мне с Дашковым есть также чистейшая ложь. Все это вымышлено клеветником потому только, что после многих его бесчестных и бесчеловечных более или менее тайных поступков совершился один ужасный, в действительности которого уже не было ни малейшего сомнения, и тогда я запретил этого безнравственного негодяя пускать к себе в переднюю. Inde ira.*

---

* Отсюда и гнев (*лат.*).

В. А. Соллогуб

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «*ПЕРЕЖИТЫЕ ДНИ.* РАССКАЗ О СЕБЕ ПО ПОВОДУ ДРУГИХ»

...Иду я с ним (Пушкиным. — *М. Т.*) по Невскому проспекту. Встречается Одоевский, этот добрейший, бескорыстнейший, чуть ли не святой служитель всего изящного и полезного. Одоевский только что отпечатал тогда свои пестрые сказки фантастического содержания и разослал экземпляры, в пестрой обертке, своим приятелям. Соболевскому он надписал на экземпляре: «животу», так как он его так прозвал за гастрономические наклонности. Соболевский, с напускным своим цинизмом, прибавил тотчас к слову «животу»: «для передачи» и поставил книгу в позорное место, где стояли все наши сочинения.[1] Само собою разумеется, что экземпляр был поднесен и Пушкину.[2] При встрече на Невском Одоевскому очень хотелось узнать, прочитал ли Пушкин книгу и какого он об ней мнения. Но Пушкин отделался общими местами: «читал... ничего... хорошо...» и т. п. Видя, что от него ничего не добьешься, Одоевский прибавил только, что писать фантастические сказки чрезвычайно трудно. Затем он поклонился и прошел. Тут Пушкин снова рассмеялся своим звонким, можно сказать, зубастым смехом, так как он выказывал тогда два ряда белых арабских зубов, и сказал: «Да если оно так трудно, зачем же он их пишет? Кто его принуждает? Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их нетрудно».

М. П. Погодин

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЯ О КНЯЗЕ В. Ф. ОДОЕВСКОМ», ЧИТАННОГО В ЗАСЕДАНИИ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 13-ГО АПРЕЛЯ 1869 Г.

Любовь к человечеству одушевляла автора; чувством и убеждением проникнута всякая его строка; многие описания возвышаются часто до поэзии. Язык везде правильный и чистый, везде рассыпаны блестки остроумия; воображение гуляет на просторе, но наклонность к чудесному, сверхъестественному, необыкновенному, исключительному выходит иногда из границ и приводит читателя в недоумение.

Это в особенности должно сказать о «Пестрых сказках», которые Одоевский издал еще в 1833 году; здесь преобладает решительно характер фантастический, почерпнутый преимущественно из любимых квартантов[1] средних веков в пергаментном переплете. В тридцатых годах, может быть, мы и понимали их и забавлялись, но теперь уже мудрено разобрать, что хотел сказать ими замысловатый автор.

Впрочем, в них рассыпано много забавных и острых вещей, и везде сквозят основные его мысли и верования.

В рассказе «Как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» автор очень живо и остро представил все нелепости женского воспитания и печальные его последствия, что в современной журналистике выставляется какою-то новостию!

Забавна «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношению не удалось в Светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником».

Напечатал Одоевский «Пестрые сказки» не без своеобразной выходки: он придумал, по примеру испанцев, пред всякою вопросительною речью, которая в конце своем означается знаком вопроса, поставить еще впереди знак вопроса, только на выворот ...

В. Ленц

ИЗ «*ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЛИФЛЯНДЦА В ПЕТЕРБУРГЕ*»

Однажды вечером, в ноябре 1833 г., я пришел к Одоевскому слишком рано. Княгиня была одна и величественно восседала перед своим самоваром; разговор не клеился. <...> Вдруг — никогда этого не забуду — входит дама, стройная, как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла (в то время был придворный траур). Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. <...> Мне захотелось посидеть по крайней мере около Пушкина. Я собрался с духом и сел около него. К моему удивлению, он заговорил со мной очень ласково: должно быть, был в хорошем расположении духа. Гофмана фантастические сказки в это самое время были переведены в Париже на французский язык и благодаря этому обстоятельству сделались известны в Петербурге. Тут во всем главную роль играл — Париж. Пушкин только и говорил, что про Гофмана; недаром же он и написал «Пиковую даму» в подражание Гофману, но в более изящном вкусе.[1]

Гофмана я знал наизусть; ведь мы в Риге, в счастливые юношеские годы, почти молились на него.[2] Наш разговор был оживлен и продолжался долго; я был в ударе и чувствовал, что говорил, как книга. «Одоевский пишет тоже фантастические пьесы», — сказал Пушкин с неподражаемым сарказмом в тоне. Я возразил совершенно невинно: «Sa pensée malheureusement n'a pas de sexe»,* и Пушкин неожиданно показал мне весь ряд своих прекрасных зубов: такова была его манера улыбаться. «Что такое вы сказали? — спросил меня князь Григорий,[3] — чему он засмеялся?» Слова, сказанные мною, впоследствии распространились в публике...

---

* К несчастью, мысль его не имеет пола (*фр.*).

ПРИЛОЖЕНИЯ

М. А. Турьян

«ПЕСТРЫЕ СКАЗКИ» ВЛАДИМИРА ОДОЕВСКОГО

В изучении многообразного наследия Владимира Федоровича Одоевского «Пестрым сказкам» уделяется обычно весьма скромное место. По существу вплоть до недавнего времени они ни разу не становились предметом самостоятельного исследования, ни разу не были рассмотрены как целостный и важный во многих отношениях цикл.[1]

Между тем цикл этот, наряду с появившимися одновременно новеллами о «гениальных безумцах» — Бетховене, Пиранези, импровизаторе Киприяно, знаменовал собой начало нового, зрелого, петербургского, периода в творчестве Одоевского.

Вообще для этого писателя в высшей степени характерно циклическое художественное мышление, однако столь же характерна для него и незавершенность многочисленных циклических замыслов. Достаточно вспомнить наиболее крупный из них и параллельный по времени с «Пестрыми сказками» «Дом сумасшедших», для которого и писались «истории» «гениальных безумцев», «Путешествие вокруг моих кресел», «Домашние заметки», «Записки гробовщика», «Житейский быт»,[2] наконец, венчающие творческий путь писателя «Русские ночи». Но полностью реализованы были лишь два из них: первый и последний, и это обстоятельство также придает «Пестрым сказкам» особую значимость; хронологическое же их первенство открывает перед нами единственную в своем роде возможность наблюдать самое возникновение позднейших тем и мотивов, формирование философских, эстетических, художественных принципов

---

[1] См.: *Cornwell N.* V. F. Odoevsky (1804—1869) and his «Piostryye skazki» // Odoyevsky V. F. Piostryye skazki / Ed. by N. Cornwell. University of Durham, 1988. P. 7—17; *Турьян М. А.* Сказки Иринея Модестовича Гомозейки // Одоевский В. Ф. Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным. Приложение к факсимильному воспроизведению издания 1833 года. М., 1991. С. 3—32.

[2] Подробнее см.: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. — Писатель. М., 1913. Т. 1. Ч. 2. С. 135—148; 202—206; 329—330 (далее: Сакулин, с указанием страницы).

писателя, ибо «Пестрые сказки» включают в себя образцы философского гротеска, социально-нравоучительного рассказа, фольклорной, «бытовой», «психологической» фантастики.

«Рациональное» задание цикла Одоевского отразилось до известной степени и в окончательном его названии, которому предшествовало иное — «Махровые сказки». Перемена эта произошла, очевидно, на последнем этапе работы, так как 12 февраля 1833 г., за несколько дней до выхода «Сказок» из печати, А. И. Кошелев, один из московских друзей Одоевского, передавал ему в письме мнение другого москвича — Ивана Киреевского: «Киреев<ский> жалел, что ты заменил оригинальное название „Махровые сказки“ заглавием „Пестрые сказки“, которое напоминает Бальзаковы „Contes bruns“».[3]

Замысел «Пестрых сказок» рождался в новой для писателя литературной атмосфере. Переехав в 1826 г. на жительство в Петербург, он оставил не просто родную для него Москву, но и ту духовную среду, в которой вполне уже сформировался творчески и которая определила своеобразие первых его шагов на литературном поприще. Известно, что определяющим для молодого Одоевского этой ранней, московской, поры явилось «Общество любомудрия» — философский кружок «новой» московской молодежи, объединившейся в общем увлечении философией, по преимуществу немецкой, и прежде всего кумиром романтиков Шеллингом. Хорошо известно также, что будущий автор «Русских ночей» был вдохновителем этого кружка и одним из его организаторов. Неудивительно поэтому, что первые его литературные опыты отмечены ясно выраженной философской направленностью — впрочем, как и столь же явной еще несвободой от влияния дидактико-просветительского и обличительного пафоса литературной традиции предшествующего века.

Тем не менее его социально-обличительные рассказы и философские апологи были сочувственно замечены критикой. Еще большую известность стяжал он себе как воинственный, дерзкий журналист, сражавшийся с Булгариным, и, конечно же, как соиздатель Кюхельбекера по альманаху «Мнемозина».

Таким образом, к моменту переезда в столицу Одоевский отнюдь не чувствовал себя в литературе новичком, однако сближение с совершенно иноприродной ему петербургской литературной средой оказалось делом весьма непростым. И все же спустя несколько лет Одоевский прочно входит в орбиту пушкинского круга, и царящий здесь дух особого, интеллектуального, артистизма все отчетливее начинает влиять на него; сквозь достаточно уже сложившуюся и ярко выраженную творческую индивидуальность постепенно проступают признаки не свойственного ему ранее художественного мировоззрения. Писатель, правда, вовсе

---

[3] Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее: ОР РНБ), ф. 539 (В. Ф. Одоевского), оп. 2, № 637, л. 28. «Contes bruns» (*фр.*) — «Озорные рассказы». Позднее в русском переводе были изданы под названием «Темные рассказы опрокинутой головы». Соч. Бальзака / С фр. СПб., 1836.

не отдается в полную его власть — отнюдь, однако, будучи художником не только оригинальным, но и восприимчивым, он чутко усваивает новые литературные уроки — прежде всего самого Пушкина. Увлекательная их сила расширяет творческий горизонт — Одоевский явно попадает в пушкинское «магнитное поле». В этом «магнитном поле» и возникают «Пестрые сказки».

В конце октября 1831 г. увидели свет «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», изданные прозрачным анонимом «А. П.». За месяц до того русские читатели открыли для себя новое литературное имя — Николая Гоголя. Его искрометные истории, впитавшие сказочно-фантастический мир украинского фольклора, также преподносились от лица рассказчика и «издателя» — пасечника Рудого Панька и вызвали у Одоевского реакцию восторженную. «Вечера на хуторе близ Диканьки» он счел «и по вымыслу, и по рассказу, и по слогу» выше всего, изданного доныне «под названием русских романов».[4]

Хотя к этому времени общий замысел цикла фантастических сказок у Одоевского, скорее всего, уже существовал,[5] вполне вероятно, что именно новоявленные литературные «рассказчики» и подали ему окончательную мысль о форме циклического повествования. Вместе с тем очевидно, что сами сказки изначально и по существу должны были быть до известной степени полемичны: ни образцы пушкинской прозы, ни уникальный опыт малоросса Гоголя не могли служить Одоевскому, вполне к этому времени обнаружившему наклонность к прозе философской, абсолютной точкой отсчета. И тем не менее «побасенки» Пушкина сыграли, думается, в формировании «Пестрых сказок» решающую роль. На родство их с «Повестями Белкина» недвусмысленно указывал уже эпиграф, взятый из того же источника, что и эпиграф к пушкинским «Повестям», — из фонвизинского «Недоросля». В выбранной Одоевским цитате: «Какова история. В иной залетишь за тридевять земель за тридесятое царство», речь идет, как и у Пушкина, об «историях».

Впрочем, цикличность формы «Повестей Белкина» сама по себе не выглядела откровением — она была достаточно хорошо известна. Однако основным открытием Пушкина, оказавшимся для Одоевского решающим, стал Иван Петрович Белкин. Этому новому типу героя-рассказчика, «кроткому и честному» мелкому горюхинскому помещику, мягкосердному и равнодушно-неумелому в хозяйстве, предающемуся в сельской тиши мукам сочинительства, и обязан, думается, главным образом своим рождением рассказчик «Пестрых сказок» Ириней Модестович Гомозейко — фигура ключевая, чрезвычайно важная для понимания всего цикла. Поэтому необходимо задержать на ней пристальное внимание. Примечательна уже сама семантика имени героя: Ириней — от греческого eirēnē — «мир, спокойствие»; Модестович — от латинского mŏdestus — «скромный» и, наконец, фамилия — Гомозейко, восходящая к старому русскому

---

[4] Труды кафедры русской литературы Львовского гос. ун-та. Львов, 1958. Вып. 2. С. 72.
[5] См. с. 190 наст. изд.

слову «гомозить, или гомозиться» — беспокойно вертеться, суетиться.[6] Все это было вполне в духе просветительских традиций и собственных первых литературных опытов писателя и как нельзя более соответствовало существу образа. Вместе с тем «скромный», суетливый Ириней, незаметный завсегдатай «уголков» светских гостиных, явился из-под пера Одоевского весьма неожиданно. «Маленький, худенький, низенький, в черном фраке, с приглаженными волосами» человечек плохо вязался с исполненным гневно-обличительного пафоса Аристом из ранних «Дней досад» или с горделивой авторской интонацией в новеллах о «безумцах». Кланяющийся с глубочайшим почтением всякому, играющий в свете «жалкую ролю», Гомозейко выглядел почти ернически. «Низовой» герой, он невольно казался как бы «городским», «столичным» вариантом Ивана Петровича Белкина. «Издатель» «Пестрых сказок» В. Безгласный рекомендует Гомозейку, их «сочинителя» и «собирателя», как человека «почтенного», но «скромного и боязливого», решившегося обнародовать свой труд с одной лишь отчаянной целью — поправить финансовые дела, дабы иметь возможность сменить старый фрак, пришедший в «пепельное состояние», на новый — «единственное средство, по мнению Иринея Модестовича, для сохранения своей репутации» — и купить страстно желаемую и продающуюся по случаю редкую книгу.

Однако, разумеется, Одоевский, как в аналогичных случаях и Гоголь, «вышивал» по пушкинской канве свои узоры, творил свои «истории», и Гомозейко в этом смысле — создание глубоко и принципиально индивидуальное: в нем отчетливо присутствуют и личностные, автобиографические черты, неуловимые в «неопределенно-широком» Белкине, и инородная пушкинскому герою «эмблематичность», соответствующая содержанию и структуре фантастических сказок. Однако сам принцип «знаковости» рассказчика Одоевским усвоен,[7] и в этом смысле к Гомозейке вполне приложимо определение рассказчика-Белкина, данное ему В. В. Виноградовым: он так же, «как алгебраический знак, поставленный перед математическим выражением», определяет «направление понимания текста».[8]

Основным отличием Гомозейки — рассказчика «фантастических» философских сказок является «ученость»: Ириней Модестович — ученый-чудак. Как в главном своем «недостатке» и «злополучии», составляющем «вечное пятно... фамилии», по выражению его «покойной бабушки», признается Ириней Модестович читателю в том, что он — «из ученых», из «пустых» ученых, т. е. тех, что знают все возможные языки: «живые, мертвые и полумертвые»; что превзошли все науки, преподающиеся и не преподающиеся в европейских университетах. Самая же непреодолимая страсть Гомозейки — «ломать голову над началом вещей и прочими тому подобными нехлебными предметами».

---

[6] *Даль В.* Толковый словарь. М., 1955. Т. 1. С. 373.

[7] Об идейной и художественной структуре Белкина см.: *Бороздин А. К.* И. П. Белкин и его произведения // Бороздин А К. Собр. соч. Пг., 1914. Т. 2. С. 30—61; *Бочаров С. Г.* Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974. С. 127—185; *Вацуро В. Э.* Повести Белкина // Пушкин А. С. Повести Белкина. М., 1982. С. 28—39.

[8] *Виноградов В. В.* Стиль Пушкина. М., 1941. С. 538.

Вместе с тем в этом «жалком» герое, мученике гостиных, который не танцует, не играет «ни по пяти, ни по пятидесяти; не мастер ни очищать нумера, ни подслушивать городские новости», проглядывают вдруг знакомые черты — того, похожего на Чацкого, «сумасшедшего», человека, выламывающегося из узаконенных людским мнением и светом жизненных стереотипов и привычных представлений, тип которого Одоевский разрабатывал в новеллах и подготовительных материалах, назначавшихся в «Дом сумасшедших». В одном из отрывков, соотнесенном, видимо, по времени с созданием «Сказок» и озаглавленном «Сумасшедший», он набросал: «Человек не случайный, не танцующий, не играющий в карты...».[9]

По ближайшем рассмотрении Гомозейко оказывается не так прост, как это может показаться на первый взгляд.

Совершенно очевидно, что новый литературный герой являл собой до известной степени alter ego своего создателя. Во всяком случае, мать Одоевского тотчас признала в Гомозейке собственного сына. «...Но всего мне лучше понравился этот сидящий в углу, и говорящий, оставьте меня в покое, — писала она ему, прочитав «Пестрые сказки», — это очень на тебя похоже... впрочем, я думаю, нет гостиной, в которой бы тебе не душно было...».[10] Непременно должны были быть узнаны близкими и иные черты. Ириней Модестович выступал, к примеру, противником «методизма» точно так, как писал еще недавно о том же предмете сам его творец М. П. Погодину: «...чтоб меня, русского человека, т. е. который происходит от людей, выдумавших слова *приволье* и *раздолье*, не существующие ни на каком другом языке — вытянуть по басурманскому методизму?.. Так не удивляйтесь же, что я по-прежнему не ложусь в 11, не встаю в 6, не обедаю в 3...».[11] Одоевский даже лукаво выдает ничего не ведающей публике свой семейный «секрет», «заставляя» Иринея Модестовича удовлетворять библиофильскую страсть за счет литературного труда. «...Теперь открывается навигация и мне нужны книги, — писал как-то сам Одоевский С. П. Шевыреву,— а ведомо вам буде, что я книги могу покупать только за те деньги, которые выручаю за свои сочинения».[12]

Однако все это черты хоть и существенного, но скорее внешнего сходства. Вместе с тем Ириней Модестович Гомозейко был задуман необыкновенно пластично — писатель вложил в него не только накопившийся к этому времени собственный жизненный и творческий опыт, но и иные литературные впечатления. На последнее с очевидностью указывали те не свойственные ранее его поэтике черты, которые проявились в сложной конструкции «сочинителя» «Пестрых сказок».

Собственно, Одоевский намеревается дать своему герою долгую и многообразную жизнь: предполагался не только широкий цикл, объединенный

---

[9] См. с.173, примеч. 4 наст. изд.
[10] Цит. по: Сакулин, с. 36, примеч. 3.
[11] Цит. по: *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1889. Кн. 3. С. 344.
[12] ОР РНБ, ф. 850 (С. П. Шевырева), № 408, л. 29.

его личностью, но и автобиографическая «хроника», в которой Гомозейке предназначалась центральная роль, причем здесь в качестве определяющей фигурирует еще одна очень важная для Одоевского черта: Ириней Модестович — как и он сам в эти годы — «прогрессист», молодой образованный чиновник, одержимый духом преобразований и идеей ревностного им служения на государственном поприще. «Пестрые сказки» вышли из недр этого замысла, оформлявшегося, очевидно, параллельно с замыслом «Дома сумасшедших» и занимавшего писателя довольно длительное время. В «хронике», где, кстати, также фигурирует «издатель», Гомозейко прямо назван «автором» «Пестрых сказок».[13] Именно с ней в первую очередь связано рождение литературного «двойника», от имени которого любил потом Одоевский исповедоваться и вести диалог с читателем на самые разнообразные темы. Почти одновременно с Иринеем Модестовичем Гомозейкой возникли и варианты его — «дедушка Ириней», замечательный детский сказочник, и «дядя Ириней» — народный просветитель.[14] Эта маска стала одной из самых значительных среди тех, что принялся надевать на себя Одоевский, и указанное обстоятельство, как ничто другое, проливает свет на образ «собирателя» и «сочинителя» «Пестрых сказок» — прежде всего на личностную его основу, ибо осуществленные фрагменты «хроники» насквозь пронизаны автобиографическими реалиями. Возможно, как раз оттого, что в художественном повествовании была взята слишком откровенная нота, «хроника» и осталась незавершенной — между прочим, факт весьма примечательный и в творческой лаборатории Одоевского далеко не единичный. Вряд ли по совпадению с начала 1830-х гг. он приступает еще к нескольким столь же насыщенно автобиографическим произведениям, и, очевидно, именно в силу такой насыщенности, слишком обнажившей потаенные стороны его собственной жизни, замыслы эти постигла участь «хроники». Назовем два из них, как нам представляется, наиболее важных. Первый — «Бабушка, или Пагубные следствия просвещения», очень тесно соприкасающийся с «Жизнью... Гомозейки»; повествование здесь и хронологически, и по месту действия приурочено к раннему детству самого Одоевского. В сохранившейся главе — «1812 год» — дано замечательное, дышащее подлинностью описание старомосковского домика на Пречистенке — месте обитания бабушки писателя с материнской стороны Авдотьи Петровны Филипповой, где жил и он после смерти отца, и поразительный по психологическим нюансам портрет «маменьки» героя — почти без сомнения портрет Екатерины Алексеевны.[15] Второй замысел — «Святая Цецилия» — отразил глубоко личную драму Одоевского.[16]

---

[13] См. с. 90 наст. изд.

[14] См. с. 194 наст. изд.; ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 87, № 11; пер. 27, л. 1—20; пер. 23, л. 150.

[15] См. с. 108—109 наст. изд.

[16] Подробнее см.: *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...».О жизни Владимира Федоровича Одоевского. М., 1991. С. 322—348.

Первой пробой остропсихологического анализа фактов собственной жизни стал уже его ранний «Дневник студента» (1820—1821 г.), где будущий писатель попытался осмыслить всю сложность своих отношений с матерью и отчимом. Строго говоря, этот и последующие, уже беллетристические, опыты «психологической автобиографии» являли собой робкие образцы того художественного метода психоаналитического повествования, который позже определил существо художественного открытия Достоевского. Этот факт у нас еще не был оценен по достоинству.

Однако в художественной структуре «хроники» не менее важной представляется и другая сторона — так сказать, собственно литературная. Прежде всего, любопытно, что сведения о готовящейся «биографии» Гомозейки просачиваются на страницы «Пестрых сказок» точно так, как и намек на «неоконченный роман» Ивана Петровича Белкина, хранившийся, якобы, в его «портфеле», но употребленный ключницею «на разные домашние потребы». «Издатель» Гомозейки также сообщал, что решился обнародовать сказки, побуждаемый надеждой «ободрить Иринея Модестовича к окончанию его собственной биографии».

«Собственной биографией» и должна была стать «Жизнь и похождения Иринея Модестовича Гомозейки, или Описание его семейственных обстоятельств, сделавших из него то, что он есть и чем бы он быть не должен». Смысл этого странного, на первый взгляд, названия «от обратного» становится понятным лишь в определенном контексте.

В сохранившихся фрагментах автобиографической «хроники» Одоевский совершенно отчетливо намеревался развить «идею Белкина». Однако он не только воспроизводит и развивает многие черты социального и психологического характера пушкинского героя, но и реализует собственное творческое задание в рамках художественной системы, открытой Пушкиным.

Гомозейко из «Жизни и похождений...» родствен Ивану Петровичу Белкину гораздо более, нежели Гомозейко «Пестрых сказок» — в сущности герой еще «интеллектуальный»; именно «интеллектуализм», а не социально-иерархическое его положение является в этом «варианте» Гомозейки определяющим. Это еще — как бы подступы к «белкинскому» типу. В «Жизни...Гомозейки» Одоевский переселяет своего героя в провинцию, предполагая развернуть, судя по сохранившимся отрывкам, широкую панораму провинциального быта, с которым сам тесно соприкоснулся в молодые годы, подолгу живя в отошедшем матушке исконном имении Одоевских Дроково вблизи захолустного Ряжска Рязанской губернии. При этом Ириней Модестович должен был из ученого чудака превратиться в «хронике» точь-в-точь в такого же нерадивого и неопытно-доверчивого помещика средней руки, наследника скромного родительского достояния, вконец им расстроенного, как и незадачливый владелец Горюхина. Подхватывает Одоевский и одну из важнейших в структуре Белкина тем — тему социально-исторического осмысления типа недоросля и делает это с принципиально пушкинских позиций, «раздваиваясь» в своем герое так, как писал в связи с Белкиным один из исследователей:

белкинские «истории», отражающие все стороны сознания их «рассказчика», «обращены одной своей стороной, своей твердой корой, к Митрофанушке, к „беличьему“ мироощущению Белкина, а ядром своим — к взыскательному, грустному созерцателю жизни. Самое явление жизни и тайный смысл ее здесь слиты в такой мере, что трудно отделить их друг от друга».[17] Время действия «хроники» Одоевского, его историческое пространство также должно было совпадать с временем действия «Повестей Белкина»: вокруг 1812 г., до- и посленаполеоновская эпоха.

В бумагах Одоевского сохранилось начало еще одного незавершенного произведения — сатирических очерков «Домашние заметки, собранные старожилом», относящихся, вероятно, уже к более поздней поре — 1850-м гг. Однако из предисловия явствует, что задуманы они были как прямое подражание «Летописи села Горюхина», или «Горохина», — так ошибочно именовался пушкинский отрывок при первой посмертной его публикации в «Современнике».

«Вероятно, всем просвещенным читателям известна Летопись села Горохина, начатая, к сожалению, не конченная нашим бессмертным поэтом Пушкиным; — говорится в предисловии к «Заметкам», — эта летопись всегда привлекала особое мое сочувствие и подавала повод к глубоким размышлениям; признаюсь, во мне возбуждалось даже желание продолжать ее, но, к счастию, я скоро убедился, что во мне не достанет ни сведений, ни таланта, чтобы выдержать сие любопытное повествование в том виде, который ему был дан поэтом; как обыкновенно бывает в таких случаях, я решил ограничиться лишь подражанием, которое также, если не ошибаюсь, может иметь относительную пользу».[18] Последняя фраза о подражании была потом зачеркнута.

Когда бы ни были задуманы и начаты «Домашние заметки», совершенно ясно, что им предшествовали долгие и «глубокие размышления» о неоконченном пушкинском произведении, «всегда» привлекавшем к себе внимание Одоевского.

Нетрудно предположить, что этот интерес должны были вызвать у Одоевского уже «Повести Белкина». Возможно, он говорил о них с Пушкиным, как возможно и то, что разговор их мог коснуться той самой первой части «романа Белкина», упомянутого «издателем А. П.», который злополучная ключница извела на заклейку окон, и что Пушкин в этих разговорах мог говорить об Иване Петровиче Белкине расширительно — не только как о «рассказчике», но и как о «горюхинском летописце». «Жизнь и похождения... Иринея Модестовича Гомозейки» и явились, если угодно, первым «подражанием» Пушкину. Если бы Одоевский довел свою «хронику» до завершения, она стала бы, вероятно, исключительным в его творчестве образцом художественного воспроизведения «действительной жизни» в традициях пушкинской прозы.

---

[17] *Узин В. С.* О повестях Белкина. Из комментариев читателя. Пг., 1924. С 17—18; см. также: *Бочаров С. Г.* Поэтика Пушкина. С. 153—154.

[18] ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 11, л. 67 и об.

Этого, однако, не случилось, и тому были разные причины.

...Произошло редкое совпадение. Иван Петрович Белкин, биография его и жизнь вдруг откликнулись в душе Одоевского собственными впечатлениями и мало кому известным из друзей ранним жизненным опытом, воскресили немногие, но, видно, глубоко запавшие в память картины провинциальной жизни, атмосферу дома матери его Екатерины Алексеевны (после ранней смерти отца), а может быть, — и бабушки Авдотьи Петровны, полуграмотной, патриархальной, обретавшейся на задворках пестрого, разномастного московского дворянства. Это немаловажное обстоятельство, сопутствовавшее детским летам будущего писателя, оставалось до недавнего времени исследователям неизвестным. Стоит, однако, вспомнить хотя бы, сколь узнаваем оказался для Екатерины Алексеевны образ Гомозейки — узнаваем как раз высокой степенью сходства с сыном. Между прочим, отозвавшееся в ней живым воспоминанием характерное выражение: «Оставьте меня в покое», — вложенное в уста Иринея Модестовича, должно было служить эпиграфом к «Жизни...Гомозейки».[19] В материнском доме или в доме бабки Авдотьи, по логике вещей, юный родовитый князь также должен бы был получить, не будь одоевской родни, классическое воспитание российского недоросля, воспринять «беличье» мироощущение. Может быть, именно поэтому избрал Одоевский жанр автобиографической хроники, как бы решив «проиграть» один из возможных, но не состоявшихся вариантов собственной жизни. Эта-то идея и отражена в названии задуманного произведения. Не случайна, возможно, и другая деталь: перебеляя один из отрывков «хроники», в котором, вполне вероятно, воспроизведен домостроевский мир бабки Авдотьи, писатель, как бы опомнившись, осознав все неприличие подлинности, заменил бабушку, героиню эпизода, тетушкой.[20]

«Жизнь и похождения... Иринея Модестовича Гомозейки» создавались параллельно с «Пестрыми сказками» — точно так, как одновременно родились из-под пера Пушкина «Повести Белкина» и «История села Горюхина».

Вполне возможно, что дополнительные импульсы к «сказочному» творчеству Одоевский получил в кружке Жуковского.

16 января 1830 г. Константин Сербинович, ближайший помощник Карамзина по «Истории государства Российского», а в ту пору цензор, описал в своем дневнике вечер у Жуковского, посвященный проводам Ивана Киреевского, уезжавшего за границу.[21] Здесь собрались тогда А. И. Кошелев, Одоевский, В. П. Титов, Пушкин, Василий и Алексей Перовские, И. А. Крылов, П. А. Плетнев. Шли, конечно, литературные разговоры, и, между прочим, Алексей Перовский — уже известный под именем Антония Погорельского писатель — объяснял присутствующим

---

[19] См. с. 89 наст. изд.

[20] «Личностность» жизнеописания Иринея Модестовича Гомозейки отметил еще П. Н. Сакулин — см.: Сакулин, с. 37 и след.

[21] Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 258.

своего «Магнетизера» — задуманный им роман с фантастическим сюжетом, начало которого только что появилось в первом номере «Литературной газеты». Кроме того, Перовский разговаривал с Жуковским и о своей «Черной курице» — превосходной сказке, очень тому нравившейся, и о другой своей повести, восхищавшей Пушкина, — «Лафертовской маковнице». Это была первая русская «фантастическая сказка», изданная Погорельским еще в 1825 г. и включенная им спустя три года в цикл «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», построенный по примеру гофмановых «Серапионовых братьев»: ряд новелл в нем объединяли беседы рассказчика со своим двойником — также до известной степени alter ego автора. У Погорельского беседы эти тоже касались смысла жизни, свойств человеческого ума и истории развития человеческой мысли — словом, кружили вокруг тем, которыми теперь так остро интересовался Одоевский, — и даже претендовали на некоторую философичность.[22]

Широко известно свидетельство и о другом вечере у того же Жуковского, принадлежащее Погодину. В октябре 1831 г., во время своего пребывания в Петербурге, он записал в дневнике: «Вечер у Жуковс<кого>... Гнедич, Пушк<ин> и Одоевс<кий>. — Чит<ал? али?> сказки свои — Смешные и грязные анекдоты...».[23]

Кто именно читал у Жуковского «смешные и грязные анекдоты», так и осталось невыясненным, но думается, что Одоевский был в их числе наверняка.

Минувшее холерное лето неожиданно ознаменовалось «сказочным» поветрием. Пушкин и Жуковский, запертые карантинами в Царском Селе, «развлекались» сказками, пустившись в своеобразное творческое состязание. Результатом его явились «Сказка о царе Салтане» — продолжение прошлогодних болдинских опытов Пушкина в «народном», «совершенно русском», по словам Гоголя, духе и «Спящая царевна» Жуковского.

Однако одновременно Пушкин был занят окончательной подготовкой к изданию и других «сказок» — прозаических, также созданных год назад в Болдине, — «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина»: «мода» на «сказки» родилась задолго до холерного лета.

Почти с уверенностью можно предположить, что именно это «сказочное» поветрие, захватившее литературный кружок Жуковского—Пушкина, не миновало и Одоевского, причем заразило оно его довольно рано, едва успев возникнуть.

Очевидно, в первой половине 1830 г. ближайший еще по Москве друг Одоевского Владимир Павлович Титов, а ныне, как и он, новоиспеченный петербуржец, затевает один из очередных альманахов, обильно произраставших тогда на литературной ниве, и просит Одоевского: «Как хочешь, князь, а непременно ты должен дать мне главу из твоего романа для

---

[22] Подробнее см.: *Турьян М. А.* Жизнь и творчество Антония Погорельского // Антоний Погорельский. Избранное. М., 1985. С. 11—16.

[23] Пушкин по документам Погодинского архива // Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Пг., 1916. Вып. 23—24. С. 117.

альманаха, который я издаю на будущий год. Вели ее покаместь переписать. Я забыл тебе о том сказать вчера. Твоего Жоко также перепиши. Эти гостинцы я повезу в Москву».[24]

Что касается «романа», то речь в записке шла, скорее всего, о задуманном Одоевским еще несколько лет назад произведении, посвященном Иордано (Джордано) Бруно и существовавшем тогда в нескольких отрывках. Но гораздо интереснее, что второй «гостинец», который Титов собирался везти в Москву, — рассказ «Жизнь и похождения одного из здешних обывателей в стеклянной банке, или Новый Жоко», появившийся спустя три года в «Пестрых сказках» с ироническим подзаголовком «Классическая повесть» и торжественным эпиграфом из Буало, звучащим, однако, в переводе графа Хвостова веселой двусмысленностью:

Змеи, чудовища, все гнусные созданья
Пленяют часто нас в искусствах подражанья.

Можно подумать, что Одоевский, убежденный «антивольтерианец» и старый противник французского сентиментализма, вообще любивший разражаться филиппиками против «неисправимой» Франции, вновь посмеялся над ее классицистскими и сентименталистскими традициями — «французской верой», как изволил выразиться и Ириней Модестович Гомозейко. Такое предположение тем более вероятно, что раздражение это оказалось очень живуче: писатель и позже винил французов в «холодном подражательстве» и «математических» расчетах. «Теоретики нечувствительно дошли до мысли о том,— писал Одоевский в одной из заметок этого времени, — что не только должно подражать Природе, но даже образцам произведений (grands modeles), упуская из виду, что произведение искусства есть свободное, независимое создание». Даже русских романтиков упрекает он в том, что они, воображая, будто «освободились от цепей классицизма, не придерживаясь его правил», на самом деле «не освободились от привычки к предшествующим расчетам à froid».[25] Сентиментальным Жанлис, Дюкре-Дюменилю и даже Ричардсону также доставалось от него не раз.

«Новый Жоко», эта пронизанная сарказмом история «ужаснее повести Эдипа, рассказов Энея», возникла как прямая литературная пародия — однако как пародия двойная.

«Открытие» Жоко принадлежало французскому писателю Шарлю Пужану, в 1824 г. поведавшему миру сентиментально-руссоистскую историю об обезьянке Жоко. Страстно привязавшаяся к воспитанному ею мальчику, который полностью слился с «естественным» миром своей второй матери, бедная обезьянка пала тем не менее жертвой своего воспитанника, стоило только тому вернуться в утративший первозданную гармонию цивилизованный мир.

Это трогательное повествование обрело неслыханную популярность.

---

[24] ОР РНБ, ф. 539, оп. 2, № 1063, л. 54.

[25] Цит. по: Сакулин, с. 369; grands modeles (*фр.*) — «великие образцы»; à froid (*фр.*) — здесь: «с холодной головой».

Мода на Жоко распространилась и в России. Уже в 1825 г. повесть появилась в «Московском телеграфе»,[26] а в 1827-м на московской сцене, вслед парижской, представляли с колоссальным успехом ее драматургическую версию.[27] Память о Жоко держалась долго, и даже Пушкин помянул еще «резвую покойницу Жоко» в черновиках «Домика в Коломне».

Вместе с тем наряду с восторженными подражаниями явилась в России и «контр-версия», принадлежавшая Погорельскому и включенная им в уже упоминавшийся цикл «Двойника». Помещенный здесь рассказ «Путешествие в дилижансе» представлял собой не что иное, как полемическую, анти-руссоистскую переделку нашумевшего сюжета.[28]

Вполне возможно, что именно «критический» вариант Погорельского, первого русского фантаста, с которым, как нам известно, встречался Одоевский у Жуковского, где велись литературные разговоры как раз на «фантастические» темы, и послужил Одоевскому ближайшим стимулом к созданию пародии.

Однако иронические упражнения Одоевского в «искусстве подражанья» несли в себе уже иной, нежели у Погорельского, смысл: они касались не только и не столько почившего сентиментализма, сколько молодой французской «неистовой» словесности, родившейся с сарказмами на устах в адрес прежних «сентиментальных» литературных кумиров и провозгласившей взамен поклонения «украшенной природе» верность «голой натуре». Вызывающая свобода французских новаторов в выборе сюжетов художественного повествования и способов их интерпретации, свобода, широко открывшая в литературу двери «грязной» действительности, миру «дна», запретным ранее темам, вызвала настоящую бурю. В судорогах революционных потрясений родилось шокирующее «прелюбодейное» искусство.

На исходе 1820-х гг. «неистовые» романтики с берегов Сены порядком взбудоражили и русские литературные умы. Новый жанр «кошмарного» романа, возникший здесь, равно приковал к себе взоры и восхищенные, и возмущенные. Именами Виктора Гюго, Эжена Сю, Дюма, Бальзака запестрели страницы русских журналов, причем наряду со звездами первой величины наиболее шумная известность в России выпала также и на долю почти забытого ныне, но одного из самых ярких выразителей «неистовой» школы Жюля Жанена. Между прочим, как раз в то время, когда Одоевский сочинял свою «сказку» о кровожадном пауке, русская периодика была полна возбужденными и разноголосыми откликами на роман Жанена «Мертвый осел и обезглавленная женщина», анонимно вышедший во Франции в 1829 г., а спустя год появившийся в русском

---

[26] Жоко. Индийская повесть // Московский телеграф. 1825. Ч. 2, № 8. С. 336—351; ч. 3. № 9. С. 41—59; № 10. С. 134—144.

[27] См.: *Родина Т. М.* Достоевский. Повествование и драма. М., 1984. С. 80.

[28] О русских интерпретациях «Жоко» Пужана см.: Сакулин, с. 370, примеч. 2; *Passage Charles E.* The Russian Hoffmannists. The Hague, 1963. P. 56—57; *Cornwell N.* V. F. Odoyevsky. His life, times and milieu. London, 1986. P. 303; *Китанина Т. А.* «Двойник» Антония Погорельского: структура романтического цикла // Русский текст. 1993. № 1. С. 36—38.

переводе. Именно его и имел в виду критик «Глобуса», говоря о новом художественном принципе отображения действительности как «прелюбодейном».

Спотыкающийся, прерывистый, временами почти бессвязный «горестный и меланхолический рассказ» французского писателя о падшей красавице Ганриетте переплетается с символической историей осла, кончившего свои идиллические дни на бойне, где он был отдан на растерзание собакам и, издыхающий, изуверски добит. В повествование введен также целый ряд иных ассоциативных сюжетов и картин, нарисованных беспощадной натуралистической кистью. «Мертвый осел» был воспринят его русскими интерпретаторами как манифест «неистовой» поэтики: русская слава Жанена едва ли не вступила в соперничество со славой Виктора Гюго.

Обсуждение «Мертвого осла» выявило всю амплитуду колебаний в отношении к новой литературной школе и ее эстетическим принципам. Одни восстали против «раболепного списывания голой натуры»; другие, напротив, в «ужасной откровенности», с которой выставлялись напоказ «последние отправления человеческого организма», усматривали «значительность жизни».[29]

«Неистовый роман» вызвал повышенный интерес и в пушкинском кругу. «Литературная газета» также откликнулась на его новации;[30] Пушкин находил жаненовского «Осла» «прелестным», считая его «одним из самых замечательных сочинений настоящего времени».[31]

В этой литературной атмосфере и родилась сказка Одоевского. Популярный, почти «классический» сюжет французской сентиментальной прозы он спародировал в новой, «неистовой» манере, и это прямо отразилось в названии его литературной шутки: «Новый Жоко, классическая повесть». Писатель нарисовал отвращающие, прямо-таки апокалиптические картины конца мира, причем фатальная неизбежность этого конца заключена во всепоглощающем, зверином инстинкте уничтожения всего сущего, инстинкте, таящемся внутри того самого «доброго», «природного» бытия, которое так трогательно живописал Пужан. Зловещий паук, кровожадно пожирающий собственное семейство, этот «мохноногий герой», изобретенный Одоевским взамен милой обезьянки, и являл собой «нового Жоко».

Любопытно, что уже иные из первых читателей «Мертвого осла» увидели в нем реакцию на «кошмарный жанр» и восприняли его не только как антитезу сентиментализму, но и как комически-пародийное воспроизведение самих романтических принципов повествования.[32] Пуш-

---

[29] Критический обзор отзывов русской прессы о романе Ж. Жанена см.: *Виноградов В. В.* Романтический натурализм (Жюль Жанен и Гоголь) // Избранные труды: Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 87—91.

[30] Лит. газ. 1830. 23 окт. (№ 60). С. 193—195.

[31] Письмо Пушкина В. Ф. Вяземской от конца (не позднее 28-го) апреля 1830 г. // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Л., 1941. Т. 14. С. 81.

[32] О пародийном осмыслении «Мертвого осла...» см.: *Алавердов Ю. А.* Романтический стиль в кривом зеркале пародии: Жюль Жанен. «Мертвый осел и гильотинированная женщина» // Стилистические проблемы французской литературы. Л., 1975. С. 16—26.

кин в цитированном письме к В. Ф. Вяземской также между прочим писал по этому поводу: «Относительно смутившей Вас фразы я прежде всего скажу, что не надо принимать всерьез всего того, что говорит автор. Все превозносили первую любовь, он счел более занятным рассказать о второй. Может быть, он и прав».

«Анекдот», придуманный Одоевским, воистину был «смешон и грязен» — Погодин как нельзя более точно уловил скрытое в нем литературное «задание», подметив обе его стороны: пародийность и поэтику «неистовости». Второе из брошенных им словечек было уже в ходу — «венцом господствующего ныне *грязного* рода литературы» (курсив мой. — *М. Т.*) назвала «Мертвого осла» «Северная пчела».[33] Спустя три года, когда «Новый Жоко» увидел свет в составе цикла «Пестрых сказок», еще конкретнее его природу определил Николай Полевой. Он писал В. К. Карлгофу: «...Боже! что это такое "Пестрые сказки„? Камер-юнкер хочет подражать Гофману, и подражает ему еще не прямо, а на жаненовский манер...».[34]

Так или иначе, но теперь, вновь возвращаясь к «соревнователям-сказочникам», читавшим на вечере у Жуковского свои творения московскому гостю Погодину, можно наверное утверждать, что Одоевский преподнес здесь присутствующим историю Жоко — новейшее создание своего пера, «модный» смысл которого должен был быть его слушателям совершенно понятен, — и Погодин подтвердил это своим отзывом. Не случайно, конечно, и экспозиция «Нового Жоко» оканчивалась серией полемически-пародийных вопросов, представляющих собой не что иное, как парафразу концовки пушкинского «Домика в Коломне»: «Зачем эти господа? Зачем их холодные преступления? на какую пользу?».[35] Это служит лишним доказательством заданности сказки Одоевского, ее конкретной предназначенности — для литературного «турнира» в пушкинском кругу. Примечательно, что спустя десять лет Одоевский оценил и «Пестрые сказки» в целом как «шутку», преследовавшую чисто формальные задачи.[36]

Столь подробный разбор этой сказки не случаен: возможно, задуманная первоначально как литературная шутка, она оказалась в творческой перспективе очень для писателя важной, положившей начало одной из основных линий дальнейшего его развития. Сам литературный ход уже тогда был для Одоевского в высшей степени характерен: идея сказки, обернувшаяся философским гротеском, — образец критического прочтения литературного первоисточника, стимулировавший резкий, по пафосу почти публицистический, в духе молодых его критик, выпад против давних литературных антагонистов. Подобная манера художественно-публицистического повествования, манера социального или философско-

---

[33] Северная пчела. 1831. № 158; см. также № 159, 160.

[34] *Полевой Н. А.* Избранные произведения и письма. Л., 1986. С. 514.

[35] Примечательно, что тем же пушкинским приемом воспользовался потом и Гоголь в своей повести «Нос» — см. об этом: *Вацуро В. Э.* «Великий меланхолик» в «Путешествии из Москвы в Петербург» // Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л., 1977. С. 52.

[36] См. с. 83 наст. изд.

го гротеска, явившаяся впервые в «Новом Жоко», станет потом отличительной, глубоко оригинальной особенностью зрелого творчества Одоевского; он создал в этом жанре такие высокие образцы, как, скажем, направленную против социального утилитариста Бентама «фантазию» «Город без имени».

Однако «Новый Жоко» в высшей степени показателен и выбором самого сюжетного материала, отразившего усиленные естественнонаучные штудии писателя, в частности, в области зоологии: уже в 1824 г. он рецензировал, к примеру, книгу русского естествоиспытателя М. А. Максимовича «Главные основания зоологии, или науки о животных».[37]

Опираясь на известный из Овидиевых «Метаморфоз» миф о споре ткачихи Арахны с Минервой (отсюда название Арахниды), Одоевский живописует в «Новом Жоко» своих «героев»-пауков, зная и о расхождениях ученых об их наименовании, и работы энтомологов-систематиков своего времени (см. примеч.). Описание внешнего вида, поведения некоторых групп пауков, присущего им каннибализма в замкнутом пространстве — все вполне корректно и по современным научным представлениям, хотя и является неким синтезом характеристик разных видов этой большой и разнообразной группы животных. Каннибализм обостряет борьбу за жизнь, в которой побеждает наиболее сильная особь, независимо от ее возрастной или половой принадлежности. Именно так расшифровывается сюжетообразующая ироничная расхожая метафора «пауки в банке», но писатель придает ей и расширительный философский смысл. Таким образом, «Нового Жоко» можно считать первым важнейшим опытом научной фантастики в творчестве Одоевского.[38] Его интерес к этой области знания устойчиво сохранялся и впоследствии и отразился, в частности, в обилии специальной литературы в его личной библиотеке.[39]

Не забудем также и то немаловажное обстоятельство, что «Новый Жоко» явился первым опытом «пестрой» сказки, написанной, согласно случайному свидетельству Титова, не позднее первой половины 1830 г. — вероятнее всего, когда общий замысел цикла уже существовал.[40]

Но и первая эта сказка, явившаяся, кажется, также первым художественным произведением зрелого, «петербургского», Одоевского, уже своеобразно соединила в себе предшествующую его творческую практику с воздействием новой, пушкинской, литературной среды.

Склонность к «злободневности» найдет потом место и в других сказках Одоевского, и не случайно именно они, и в первую очередь «Новый Жоко», потеряют со временем в глазах читателя всякий интерес — «смысловой» ключ к ним окажется утраченным. Впрочем, не был он до конца ясен уже современникам: даже друзья-любомудры считали, что мысли в них не

---

[37] Сын отечества. 1824. № 31. С. 227—230. Подп. XIXIV. IIIXII.XVV. <В. Ф. Одоевский>.

[38] Выражаю глубокую благодарность Е. В. Дубининой и А. Н. Алексееву за помощь, оказанную мне в расшифровке энтомологического смысла данного сюжета.

[39] См.: Каталог библиотеки В. Ф. Одоевского. М., 1988. № 269, 530, 560, 1095, 1206 и др.

[40] См. с. 190 наст. изд.

вполне отделанны. Сразу по получении «Пестрых сказок» в Москве Кошелев писал Одоевскому: «Мы с удовольствием их читаем, но вообще они не произвели сильного действия: весьма немногие понимают их, а еще менее людей, которые ценили бы по настоящему их достоинству. Жаль, что никого из нас не было в Петерб<урге>, когда ты решился их печатать, а то следовало бы читателю обратить внимание автора на некоторые места, где мысли недостаточно высказаны».[41] Спустя же несколько десятков лет другой друг Одоевского, Погодин, признавался: «В тридцатых годах, может быть, мы и понимали их, и забавлялись, но теперь уже мудрено разобрать, что хотел сказать ими замысловатый автор. Впрочем, — добавлял он, — в них рассыпано много забавных и острых вещей, и везде сквозят основные его мысли и верования».[42]

«Мысли и верования» «замысловатого» автора и в самом деле оказались для русского читателя новы и непривычны.

Уже первые страницы открывающей цикл «Реторты» развернули стройную, выстраданную программу новоявленного отечественного Фауста. Основы его интеллектуальной и научной «веры» уходили своими корнями в средние века, к открытиям тех «странных» ученых в области «странных» наук, за которыми в новейшее время прочно закрепилась репутация мистических. Ириней Модестович уносился тоскующей мыслью к тем временам, когда существовало еще «широкое поле для воображения», и оно-то, это воображение, в соединении с глубокой, сосредоточенной ученостью и помогало «сотне монахов, разбросанных по монастырям между дюжиною рукописей и костром инквизиции», обнимая мысленным взором «и землю и небо, и жизнь и смерть, и таинство творения и таинство разрушения», совершать свои великие научные открытия. На страницах «Пестрых сказок» впервые — и в совершенно определенном контексте — появляются имена ученых-алхимиков, оставивших, по мысли Одоевского, неблагодарно забывшей их науке огромное, бесценное наследство. Средневековые экспериментаторы и первооткрыватели, «рациональные» мистики Альберт Великий и Теофраст Парацельс, Раймонд Луллий и Роджер Бэкон будут потом фигурировать в «фантастических» произведениях писателя постоянно — вплоть до «Русских ночей».[43]

Создатель Гомозейки впервые открывал читателям свою заветную карту, смело вступал в сферу, не только, по его убеждению, одарившую мир замечательными научными озарениями, но и явившуюся мощной питательной средой его собственной философской фантастики.

Лицом к тому, что принято у нас называть «мистико-романтической»

---

[41] Письмо от 1 мая 1833 г. // ОР РНБ, ф. 539, оп. 2, № 637, л. 30.

[42] В память о кн. В. Ф. Одоевском. М., 1869. С. 55.

[43] Примечательно, что аналогичной оценки деятельности «рациональных» мистиков придерживается и целый ряд исследователей нового времени — см.: *Штейнер Р.* Мистика на заре духовной жизни нового времени и ее отношение к современным мировоззрениям. М., 1917. С. 128—132; *Трахтенберг О. В.* Очерки по истории западноевропейской средневековой философии. М., 1957. С. 225 и след.; *Рабинович В. Л.* Образ мира в зеркале алхимии. М., 1981.

или «мистико-идеалистической» философией, повернули Одоевского, конечно, его ранние и серьезные философские увлечения — вообще ярко выраженная философская настроенность круга его московского общения — любомудров и «архивных» юношей: Д. В. Веневитинова, С. П. Шевырева, Н. М. Рожалина, В. П. Титова, Ивана Киреевского. Однако, по позднему признанию самого писателя, над их философскими занятиями и размышлениями с самого начала властвовал «фаустовский» дух поиска «начала начал», поиска и постижения причинно-следственных связей, управляющих вселенной и человеческим бытием, а также дух научного познания и эксперимента. Даже Шеллинг, этот кумир романтических и философски настроенных юношей, воспринимался ими как «истинный творец положительного направления», «по крайней мере в Германии и в России».[44]

В дальнейшем эти идеи найдут интенсивное развитие не только в художественном творчестве, но и в целом ряде теоретических заметок Одоевского, и именно этот угол зрения станет во многом определяющим в его художественном и научно-философском анализе сверхъестественного, анализе непознанных, иррациональных феноменов человеческого бытия и психики. Он будет говорить о них не раз, убежденно и энергично прочерчивая путь движения человеческой мысли «от астрологии — к астрономии», «от алхимии — к химии». Через шесть лет после выхода «Пестрых сказок» появятся известные его «Письма к графине Е. П. Ростопчиной», специально посвященные естественнонаучному объяснению сверхъестественных явлений, раскрытию тайн магии и каббалистики с позиций ученого-естественника.[45]

Следует, правда, признаться, что художественное воплощение проблем, намеченных в «Реторте», Одоевскому явно не удалось, впрочем, в этом смысле «Реторта» не составляла исключения в цикле. Холодная умозрительность дидактика и рационалиста, вполне впитавшего классицистские традиции, лишала его надуманные аллегории всяческой жизни.

Кроме того, «Пестрые сказки» явились самой первой пробой «фантастического» пера Одоевского, и они, конечно, были еще далеки от того понимания предмета, которое, скажем, позже вложил Достоевский в определение фантастики как «реализма в высшем смысле», да и от позднейших образцов «психологической», «естественнонаучной» фантастики самого Одоевского. Тем не менее рассуждения Иринея Модестовича Гомозейки о «величественной древности» и современности в основе своей уже пронизаны этим мироощущением и определяют самый интерес писателя к возможностям исторического и научного прогресса, занимающего его в первую очередь. Правда, возможности эти вызывают в нем скептические раздумья, ибо современный человек, «обрезавший крылья у воображения», в нынешнем

---

[44] Русский архив. 1874. Кн. 1. С. 317.

[45] *В. Безгласный* <*Одоевский В. Ф.*> Письма к графине Е. П. Р<остопчино>й о привидениях, суеверных страхах, обманах чувств, магии, каббалистике, алхимии и других таинственных науках // Отечественные записки. 1839. Т. 1, № 1. С. 1—16; Т. 2, № 2—3. С. 1—16; Т. 5, № 8—9. С. 12—26.

своем «мышином горизонте» способен лишь составлять такие «системы для общественного благоденствия», при которых «целое общество благоденствует, а каждый из членов страдает». Вместе с тем здесь впервые звучит очень важная мысль: Ириней Модестович, по воле своего создателя, уже нечувствительно соединяет вопросы отвлеченно-философские, «мистические», с вопросами остро, злободневно-социальными.

Этому, собственно, и посвящена социально-философская аллегория «Реторта». «Духота» светских гостиных, царящая в них скука, которую не в состоянии вынести даже чертенок, бессмысленность суетной жизни, стирающей смысл таких извечно прекрасных понятий, как любовь, добро, ум, — вот темы, на которые нацелено сатирическое перо Одоевского. Именно так поняла идею «Реторты» и мать писателя Екатерина Алексеевна, соотнеся ее вдобавок с личностью самого автора: «...я думаю, нет гостиной, в которой бы тебе не душно было...». К теме «гостиной» Одоевский возвращается в это время не раз. Примечательно, что обобщающие рассуждения на этот счет должны были присутствовать — кстати, в качестве прямого цитирования «неизданной биографии» Гомозейки — и в другом автобиографическом произведении: отрывке из неосуществленного романа «Катя, или История воспитанницы» (1834), безусловно примыкающем к автобиографическим замыслам и, между прочим, также опубликованном за подписью: «Безгласный». Один из не вошедших в окончательный текст отрывков как раз и посвящен столь волновавшей писателя, очень личностной для него проблеме: «Многие из наших писателей, как весьма основательно замечает мой почтенный приятель Ириней Модестович Гомозейко в неизданной своей биографии, — а с ними и я, их ревностный подражатель, — очень любят нападать на гостиные. Это занятие очень легко и очень выгодно. Вы браните гостиные — всякий думает, что вы человек кабинетный. А все вздор! Байрон и в гостиной Байрон; господин А, Б, С, Д и в кабинете господин А, Б, С, Д. Так нет! учредили закон: если ты ученый, если ты философ, то не заглядывай в гостиную, если ты человек светский, то не заглядывай в кабинет. От этого похвального постановления все люди, а иногда один и тот же человек, разделились на две половины, из которых одна другую не понимает; что делается в кабинете, над тем смеются в гостиной, что делается в гостиной, о том не знают в кабинете; к чему приготовляет воспитание, то избегается в свете, что читается в книгах — то в книгах и остается; между наукою и жизнию, между искусством и жизнию — целая бездна».[46]

Впрочем, если говорить о социальной сатире «Пестрых сказок», то

---

[46] ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 13, л. 13 об. Отрывок был опубликован Е. Ю. Хин в кн.: *Одоевский В. Ф.* Повести и рассказы. М., 1959. С. 470, но с неточностями в тексте и выходных данных. Ср. позднейшие воспоминания И. И. Панаева и Ю. Арнольда о салоне самого Одоевского, в которых буквально теми же словами говорится об антагонизме, существовавшем между светскими посетителями, окружавшими Ольгу Степановну Одоевскую, и гостями самого князя: «Целая бездна разделяла этот салон от кабинета». (См.: Литературные кружки и салоны. Л., 1929. С. 176—178).

наибольший успех выпал на долю «Сказки о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» — единственной из цикла, опубликованной предварительно в альманахе «Комета Белы».[47] Правда, она была также приправлена откровенным дидактическим пафосом и острой критикой пагубности пустого «басурманского» воспитания, калечащего живые девичьи души и уподобляющего светских красавиц холодным, бессмысленным куклам, ничего и не ведающим о таких понятиях, как добродетель, искусство, любовь. Не исключено, что это был еще след давних штудий в кружке С. Е. Раича, известного переводчика Виргилиевых «Георгик», в начале 1820 г. объединившего вокруг себя московскую университетскую и пансионскую молодежь. Одоевский входил в число непременных участников кружка; другой же его член, М. П. Погодин, излагая княгине А. Н. Голицыной программу новых литературных собраний, писал, что в нее, между прочим, входят и переводы «со всех языков лучших книг о воспитании».[48] Не случайно, очевидно, именно эту сказку особенно хвалили москвичи — бывшие завсегдатаи раичевых вечеров. Кошелев сообщал другу, что они прочли ее в альманахе «с удовольствием велием»: «Она очень хороша, и имеет глубокое значение».[49] Шевырев признавался, что давно уже не хохотал так от души, как читая «Гулянье девушек по проспекту»: «У тебя есть добродушное смешное, которого никто из пишущих на Руси не имеет».[50] Н. Ф. Павлов ставил эту сказку «гораздо выше» появившихся одновременно в печати рассказов Одоевского «Бал» и «Бригадир»;[51] рецензент «Северной пчелы» барон Розен также отдавал ей особенное предпочтение.[52] Правда, десятилетие спустя возражение по существу нашлось у Белинского: «Эта сказочка навела нас на мысль об удивительной сметливости русского человека всегда выйти правым из беды и сложить вину если не на соседа, то на чорта, а если не на чорта, то на какого-нибудь мусье...».[53]

Вместе с тем отношение Одоевского к социальному классу, которому принадлежал он по рождению, было далеко не однозначно, и причастность свою к нему ощущал он остро; в силу этого и негативизм его существенно отличался от аналогичных критических настроений и выпадов писателей-разночинцев — Николая Полевого или Н. Ф. Павлова. Князь, наблюдавший жизнь света изнутри, как равный среди равных, и не страдавший в силу этого никакими комплексами, не мог не видеть и не воздавать должного интеллектуальной аристократической элите, составлявшей, по

---

[47] П. Н Сакулин вслед за П. Мизиновым отмечает сходство этой сказки с «Землей безглавцев, или Акефалией» Кюхельбекера (см.: Сакулин, с. 31, примеч. 2).

[48] Письмо от 15 марта 1823 г. // Цит. по: *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 1. С. 212.

[49] Письмо от 12 февраля 1833 г. // ОР РНБ, ф. 539, оп. 2, № 637, л. 28.

[50] Цит. по: Сакулин, с. 36.

[51] См. его письмо Одоевскому от 6 апреля 1833 г. // *Одоевский В. Ф.* Повести и рассказы. М., 1959. С. 467.

[52] Северная пчела. 1833. № 104.

[53] См. с. 121 наст. изд.

глубокому его убеждению, огромный духовный потенциал нации. Эта другая сторона медали также нашла свое отражение на страницах «Пестрых сказок», в «Той же сказке, только на изворот». Не без некоторого сословного высокомерия Одоевский спорит здесь с «пишущей братией», взирающей «на гостиную» «из передней» и заодно с лакеями негодующей на барина не только за то, что тот «ездит четвернею в покойной карете» и «просиживает на бале до четырех утра», но также и потому, что время для него отсчитывают изысканные бронзовые часы, воспроизводящие силуэт знаменитой Страсбургской колокольни, и Рафаэль и Корреджо в золотых рамах услаждают его взор. Однако в отличие от «лакеев» и «пишущей братии» Одоевский видит в этом естественное следствие «непрерывающегося хода образованности», следствие «той дани уважения, которую посредственность невольно приносит уму, любви, просвещению, высокому смирению духа».

Именно «аристократизм» «Пестрых сказок» вызвал особенно ожесточенные нападки критики — главным образом, конечно, разночинной. Полнее всего этот сословный антагонизм выразился в развернутой и, пожалуй, пристрастно строгой рецензии Николая Полевого, считавшего, что автор говорит с читателем «уже слишком аристократически» и «высказывает мысль, недостойную философа».[54]

Это был давний и принципиальный спор москвичей со столичными «литературными аристократами» — писателями пушкинского круга, да, впрочем, и с самим поэтом (к слову, также гордившимся древней родословной). Одоевский в своих оценках сословного дворянства и его духовных потенций явно оказывался в петербургском стане. «Демократу» же Полевому, сохранявшему, между прочим, с Одоевским довольно дружеские отношения, в «аристократических» тирадах писателя, недавнего еще москвича, почудилась, возможно, «измена». Любопытно, что и в более позднем, цитированном уже отзыве Белинского отчетливо прозвучали те же «разночинные» нотки. По поводу господина Кивакеля, героя «Той же сказки, только на изворот», — тупого, грубого, бездуховного создания — он иронизировал так же, как и в связи с «девушками»: «Г-н Кивакель тоже, должно быть, воспитан был басурманами, а оттого и получил способность жить только трубкою и лошадьми...».[55]

Однако среди сатирических сказок «пестрого» цикла наиболее интересной в художественном отношении представляется «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в Светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником». Этот гротеск вводит читателей уже в иную, чиновничью, петербургскую среду, предвосхищая своей стилистикой «фантасмагории» «петербургских повестей» Гоголя. Вместе с тем и в этой «фантазии» Одоевский последователен и верен своим идеям. Сквозь уродливость бездуховного, «механического» существования его героя — среднего столичного чиновника,

---

[54] См. с. 117—118 наст. изд.
[55] См. с. 121 наст. изд.

сквозь «мышиный» его горизонт также пробивается неистребимое, по мысли писателя, в человеке чувство поэзии, но пробивается в формах уродливых и пагубных. Органичный человеческой натуре полет воображения уносит Ивана Богдановича лишь к карточному столу. «Духовное начало деятельности, разлитое природою по всем своим произведениям», выражается у него в неодолимой страсти к бостону. Минуты, проведенные за зеленым столом, и были самыми «сильными» в жизни коллежского советника: «...в эти минуты сосредоточивалась вся его душевная деятельность, быстрее бился пульс, кровь скорее обращалась в жилах, глаза горели и весь он был в каком-то самозабвении». Позже Гоголь доведет выражение этой мысли до художественного совершенства, однако и у Одоевского она сопрягается уже со зловещей фантастикой, несущей в себе «гоголевский» смысл: фантастическая история, случившаяся с Иваном Богдановичем Отношенье, так же, как позже и у Гоголя, является следствием реальной смещенности его сознания.

Одоевский впервые обращается к теме обманчивого блеска столичной жизни, блеска, за которым кроется самая пошлая, самая низменная действительность — то, что Гоголь выразил потом в символических словах развенчания Невского проспекта: «О, не верьте этому Невскому проспекту... Все обман, все мечта, все не то, чем кажется!». Весьма симптоматично, что один из наиболее проницательных литераторов следующего поколения, Аполлон Григорьев, вспомнив по аналогии об Одоевском как раз в статье, посвященной Гоголю и его безрадостным мыслям о «незаконных законах», установившихся в обществе, также трактует социально-обличительные сочинения автора «Пестрых сказок» расширительно. В частности, он без сомнения имел прежде всего в виду сказку об Иване Богдановиче Отношенье, когда писал, что Одоевский «во многих местах своих глубоких, тяжкою думою порожденных суждений говорит о той же видимой, для него темной, силе, видит эту силу повсюду и, наконец, вовсе не в шутку, считает одним из ее самых верных средств — карты, уравнивающие все и всех... ».[56] Именно в этой «петербургской» сказке Одоевского были нащупаны социальные и философские предпосылки, во многом объяснившие потом гоголевских героев.[57] Не случайно именно в это время Гоголь особенно увлечен творчеством Одоевского, а по поводу «Пестрых сказок» он писал в самый канун их выхода своему другу А. С. Данилевскому: «На днях печатает он (Одоевский. — *М. Т.*) фантастические сцены под заглавием „Пестрые сказки". Рекомендую: очень будет затейливое издание, потому что производится под моим присмотром».[58] Правда, это важное, но глухое и единственное свидетельство Гоголя о его прямом участии в «производстве» «Пестрых сказок» не нашло до

---

[56] *Григорьев Аполлон.* Собр. соч. / Под ред. В. Ф. Савозника. М., 1916. Вып. 8. С. 12.

[57] Об этом аспекте «петербургских» повестей Гоголя см.: *Купреянова Е. Н.* Н. В. Гоголь // История русской литературы. Л., 1981. Т. 2. С. 540—541.

[58] Письмо от 8 февраля 1833 г. // *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1986. Т. 7. С. 82.

сих пор более никаких — ни прямых, ни косвенных — подтверждений, так что исследователи единодушно предпочитают воздерживаться от комментариев и соблазнительных гипотез.[59] Между тем в библиотеке Кембриджского университета в Англии хранится любопытный экземпляр первого издания «Пестрых сказок» с двумя аналогичными анонимными карандашными записями — по-английски и по-русски, — ранее не публиковавшимися и не введенными в научный оборот. Приводим их полностью, в соответствии с порядком расположения на странице:[60]

Of extreme rarety
Anonymously edited by N. Gogol,
written by prince Odoevsky.[61]

Эти сказки написаны
кн. Одоевским и
редактированы Н. В. Гоголем.

Примечательно, однако, что записи эти, несущие одну и ту же информацию, все же не вполне идентичны по своим смысловым оттенкам.

Судя по почерку, с осторожностью можно предположить, что сделаны они были во второй половине XIX—начале нынешнего века, но, к сожалению, авторство их, как и хронологическая последовательность, вряд ли поддаются расшифровке. В силу этого трудно судить об авторитетности данного свидетельства, тем не менее чрезвычайно интересного для последующих исследователей вопроса.

Но вернемся к самим «Пестрым сказкам». Есть среди них и одна, построенная, так сказать, на «чистой» фантастике. Это прямое задание отражено и в ее названии — «Просто сказка». Однако рассказ о фантасмагорических видениях лысого Валтера, в туманном сознании которого кружит призрачный хоровод одушевленных перьев, ботфорт, щеток и колпаков, имеет одну примечательную особенность. Она обнажена уже в эпиграфе, взятом из немецкого писателя, просветителя, сатирика и фантаста, с которым, кстати, современники сближали Одоевского не раз, — Жана Поля Рихтера: «Галлер прежде меня заметил, что в ту минуту, когда мы засыпаем, но еще не совершенно заснули, все, что для нас было легким очерком, получает образ полный и определенный». Феномен пограничного состояния человеческой психики, состояния полусна-полуяви, будет потом остро занимать писателя и найдет в даль-

---

[59] См.: *Кулиш П. А.* Записки о жизни Н В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Т. I—II. СПб., 1856. Т. I. С. 120; *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1893. Т. II. С. 154; *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М., 1940. Т. X. С 260, 460.

[60] Cambridge University Library. S. 5756. d. 83.3 (rare books).

[61] «Чрезвычайная редкость. Анонимно редактировано Н. Гоголем, написано князем Одоевским» (англ.).

нейшем его творчестве, в «фантастических» повестях, подробную разработку.[62] В связи с этим стоит обратить особое внимание на сопутствующий круг имен. Из «Мыслей» Жан Поля Одоевский не случайно выбирает цитату со ссылкой на известного поэта, естествоиспытателя и врача Альбрехта Галлера, исследовавшего, в частности, психические процессы. Более того, в «Истории о кошке, петухе и лягушке» (о ней речь впереди) упоминается один из клинических опытов другого знаменитого врача и учителя Галлера Германа Бургаве, также связанный с психопатологией. Это еще один естественнонаучный акцент — уже из области медицины — явно прочитывающийся на страницах «фантастического» повествования.

Тем более интересно, что этот один из сквозных мотивов «психологической» фантастики Одоевского не только обрел первое звучание в «Пестрых сказках», но и получил здесь же первое свое развитие. Мы имеем в виду рассказ Одоевского об Игоше. Напомним: Белинский, анализируя «Пестрые сказки», именно эту «пьесу» — единственную из всех — выделил как образец собственно «фантастического» повествования. Вместе с тем, по позднейшему признанию самого Одоевского, относящемуся, по справедливому предположению П. Н. Сакулина, к «Игоше», «в описании народного поверья, не всем известного, видели подражание Гофману».[63] История «общения» маленького героя с Игошей, действительно фабульно восходящая к малораспространенной фольклорной быличке, открывает перед читателем психологически осмысленный мир ребенка и представляет собой первый по сути в творчестве писателя образец «психологической» фантастики. Еще в конце прошлого века Н. Ф. Сумцов справедливо отметил, что «„Игоша“ представляет постепенный процесс развития в душе ребенка мифа».[64]

Малоизвестность использованного мифологического сюжета дает основание предполагать специальную заинтересованность Одоевского в выборе фольклорного материала. Если же учесть, что именно к этому периоду относится знакомство и постоянное общение Одоевского с Владимиром Далем (зафиксировавшим, между прочим, быличку об Игоше) и что чуть позже он редактирует «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» другого собирателя-фольклориста — И. П. Сахарова, то все это неожиданно обнаруживает устойчивый интерес писателя к фольклору.

В случае с «Игошей» прежде всего важно действительное наличие фольклорной основы, что и дало Одоевскому полное право отвести от себя обвинения в подражании литературным образцам. Кроме того, рассказ этот обнаруживает определенную направленность интересов писателя в выборе фольклорных мотивов, удерживающихся так или иначе в его последующих фантастических повестях — часто в неожиданных, значи-

---

[62] Иную точку зрения представляет П. Н. Сакулин: он считает, что в этой сказке изображена «высшая степень пошлости», «житейской прозы» (см.: Сакулин, с. 26, примеч. 3).

[63] Сакулин, с. 346.

[64] *Сумцов Н. Ф.* Князь В. Ф. Одоевский. Харьков, 1884. С. 18.

тельно усложненных модификациях. Крайне примечательно, что спустя десятилетие, при подготовке своих «Сочинений» к печати, из всех включенных сюда сказок Одоевский подверг новой, по существу, редакции только «Игошу».[65] Если первый — «краткий» — его вариант позволяет выделить интересующие писателя мотивы в пересказанной им быличке, то второй — «распространенный»— дает возможность говорить уже об определенном характере их интерпретации.

Первая редакция «Игоши», вошедшая в состав «Пестрых сказок», — это сюжетно разработанное поверье, не осложненное, казалось бы, открытой авторской тенденциозностью (голосом «от автора», авторским комментарием), с точным и последовательным сохранением всех основных элементов первоисточника: Игоша — некрещеный младенец, безрукий, безногий, озорной «домашний дух», которого задабривают едой. Такая форма использования фольклорных сюжетов была довольно распространена. Однако в данном случае любопытен именно характер сюжетной разработки.

Прежде всего, в рассказе Одоевского быличка начинает «играть» на трех уровнях сознания: народном (трое извозчиков, рассказывающих барину о происхождении Игоши как о достоверном событии, свидетелями которого они сами были), на уровне человека просвещенного, представителя цивилизованного мира (барин, воспринимающий рассказ извозчиков как забавную байку) и детском (маленький сын барина). Два уровня сознания — народное и детское — смыкаются в своей безусловной вере в реальное существование Игоши, противостоя «трезвому» сознанию просвещенного человека. В этом точно выстроенном Одоевским контексте детское сознание, отождествляясь с народным, приобретает силу высшей достоверности, становясь впоследствии в его философской и художественной концепции фантастического ultima ratio. «Ребенок редко ошибается. Его ум и сердце еще не испорчены», — писал Одоевский в «Психологических заметках».[66] Ту же мысль повторил он позже и в предисловии к «Русским ночам».[67] Очень важно также, что Одоевский изначально воспроизводит и самое существо структуры мышления, отраженного в фольклоре, где слово всегда однозначно и любой понятийный ряд предполагает буквальное толкование. Именно на этом строятся отношения с Игошей и извозчиков, и маленького героя, и в силу этого их представления противостоят представлениям современного цивилизованного человека — в данном случае отца мальчика. Возникают модели двух взаимоисключающих мироощущений, основанных на различном восприятии одних и тех же явлений — в зависимости от тех или иных особенностей психической

---

[65] Это подтверждается и обнаруженными нами маргиналиями Одоевского на экземпляре «Пестрых сказок» 1833 г., хранящемся в Британской библиотеке в Лондоне — см. с. 169—170 наст. изд.

[66] *Одоевский В. Ф.* Психологические заметки // Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 210.

[67] Там же. С. 187—188.

организации, от разных уровней сознания, каждое из которых выстраивает вокруг одного и того же представления свой мир, отличный от другого, и каждый из них на своем уровне сознания ощущается реально существующим. В «Игоше» Одоевский впервые фиксирует наличие этих двух миров (в данном случае — мир ребенка и мир взрослого современного человека), вскрывая самый механизм их возникновения и обосновывая возможность их сосуществования. В одном из набросков предисловия к «Детским сказкам» Одоевский писал, что в голове ребенка постоянно носятся «неопределенные грезы, в коих он не отдает себе отчета, как мы во время сна подчинены нашим грезам».[68] В этом любопытном замечании писатель не только указывает на особенность детской психики, отразившуюся и в «Игоше», но и соотносит ее с возможными аналогичными состояниями у человека взрослого. Последнее особенно важно, так как в последующих фантастических повестях он постоянно будет опираться на эту психологически обоснованную им в «Игоше» формулу, расширяя и усложняя ее привнесением целого ряда дополнительных мотивов, в частности, мотива сна, грезы как особого психофизиологического состояния организма.

Однако «Игоша» в высшей степени интересен и другой своей стороной — автобиографической, так как в контексте «Жизни и похождений... Иринея Модестовича Гомозейки» он воспринимается как естественное продолжение «хроники»: на «Игошу» также ложится эмоциональный отсвет самой атмосферы детских лет писателя. Не случайно этот рассказ Одоевский ведет от первого лица. Доверив в «хронике» бумаге многие автобиографические реалии, он как бы углубляется теперь в тайники собственного детского сознания. Примечательно, что уже в «Пестрых сказках» даже художественно-философские задачи Одоевский решает на материале собственного жизненного опыта — как медик-экспериментатор, проверяющий свои научные открытия прежде всего на себе самом. Принцип естественнонаучного подхода к «фантастическим» феноменам станет потом отличительной чертой его писательской манеры, одним из излюбленных методов художественного анализа.

Заслуживает внимания и поэтика этого небольшого рассказа, развивающая экспериментальный прием «просто сказки» уже на материале сюжетно-бытового повествования. Сосуществование параллельных планов — фантастического и реального — воспроизведено здесь как неуловимое, легко переливающееся одно в другое чередование детской грезы и действительной жизни, как состояние полусна-полуяви, когда факты сиюминутного бытия продолжают свою жизнь, свое развитие в иной, ирреальной, ипостаси — и вновь возвращаются в действительность: прием, только что, между прочим, виртуозно использованный Пушкиным в «Гробовщике», действие которого движется «необъявленным» сном.[69] Од-

[68] Русский архив. 1874. Кн. 2. Вып. 7—12. С. 50.

[69] Подробнее об этом см.: *Бочаров С. Г.* О смысле «Гробовщика» / Контекст 1973. М., 1974. С. 196—230, а также: *Петрунина Н. Н.* Проза Пушкина. Л., 1987. С. 76—100.

нако в отличие от Пушкина Одоевский не разрушал в «Игоше» созданный им зыбкий, поэтический, мерцающий мир «пробуждением»: читатель, как и маленький герой повествования, оставался во власти грезы — отнюдь не романтической, во власти ощущения реальности пограничного существования. Впрочем, так было в первой редакции рассказа, в «Пестрых сказках». В редакции же 1844 г. он раскрыл, вывел наружу таившуюся в легкой художественной ткани идею открытым авторским вторжением — иными словами, дописал «пробуждение», теоретически объяснив скрытый прежде от читателя пушкинский прием «семантического параллелизма» (В. Виноградов). В заново отредактированном тексте мир ребенка предстал в ретроспективе, как воспоминание взрослого человека, но не просто об одном из эпизодов детства, а «о том полусонном состоянии... души, где игра воображения так чудно сливалась с действительностью». Более того, в «Сочинениях» «Игоша» был изъят Одоевским из цикла «Пестрых сказок» и перенесен в раздел «Опытов рассказа о древних и новых преданиях» с предпосланным ему авторским предисловием, где, по существу, сформулирован ряд важнейших философских и эстетических положений, не только непосредственно отразившихся в вошедших сюда произведениях — в том числе и в «Игоше», — но и безусловно выходящих по своей значимости за его пределы. Здесь Одоевский объясняет прежде всего свое, отличное от общепринятого, понимание народного предания не как древнего сказания, а «в более простом и общем его значении, т. е. в значении всего, что *передается* от лица к лицу». По его убеждению, «каждый самобытный народ в целости творит свою эпопею», воплощающую характер и быт народа, а также его собственный суд над самим собою. Все эти элементы усматривает он, между прочим, и в народных песнях. Все народные предания, принимающие, по мысли Одоевского, в разные времена различный характер, — религиозный, сатирический, философский и т. д., писатель делит на две категории: на предания «*памяти* сердца — выражения чистого, безусловного, бессознательного, девственного развития жизни» (летописи, легенды, аскетические и военные рассказы) и предания «*памяти* ума — выражения нашего суда над самим собою».

Предание об Игоше в этом новом контексте приобретало особый, принципиальный смысл. Оно читалось рядом и в связи с другими «преданиями памяти сердца» и должно было поддерживать вместе с ними общее здание возводимой Одоевским фольклористической концепции. Но оно имело еще и другое значение: с помощью легенды, отразившей народное «наивное» сознание, Одоевский стремился проникнуть в глубины психической жизни современного человека, в сферу подсознательного. Эта область интересовала его специально и разрабатывалась им уже на более широком и разнообразном материале — как в психологических этюдах с естественнонаучным уклоном, так и в повестях из современной жизни.[70]

---

[70] Подробнее см.: *Турьян М. А.* «Игоша» В. Ф. Одоевского (к проблеме фольклоризма) // Русская литература. 1977. № 1. С. 132—136.

Приближающийся к пушкинскому повествовательный принцип, использованный Одоевским в первой редакции «Игоши», обрел спустя десятилетие иные черты, окончательно трансформировавшись в соответствии с мировоззренческой и художественной эволюцией писателя.

Есть в цикле и еще одна сказка, также находящаяся в тесной связи с «Жизнью и похождениями... Гомозейки» и тоже выдержанная в жанре «фантастической» — в точном, не аллегорическом, смысле.

«Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем» вводит читателя в рутинную, захолустную жизнь самого Гомозейки, известную нам по отрывкам его неосуществленной «биографии», — жизнь, где все так узнаваемо и вещно и всё — абсурд.[71] На сцене появляется город Реженск и его обитатели: Гомозейко, как и Белкин, «от недостатка воображения» заимствовал название города из своего «околодка» — на бумагу вновь ложатся впечатления собственного детства писателя, рождается образ столь хорошо знакомого ему Ряжска.[72] Как бы расширяя пушкинскую «горюхинскую географию», Одоевский впервые вводит в литературу тему «истории одного города», предвосхищая герценовский Малинов и салтыковский Круто́горск, а также будущие персонажи Островского — «героев» провинциальной России.

Фантастическая повесть о поисках пропавшего хозяина мертвого тела, рассказанная им с искрометным юмором, исполнена прекрасно знакомых писателю осязаемых бытовых подробностей. Это и неподражаемый приказчик Севастьяныч, любитель домашней желудочной настойки, уездный толкователь законов, записанных в тетрадке покойного его батюшки-подьячего, отставленного в свое время от должности за «непристойное поведение», и легко и уверенно нарисованные сценки провинциального быта: реженская ярмарка, где торгуют пряниками и мылом греки, не ведающие, что делается в их земле и зачем они взяли город Трою, а Царьград уступили туркам, и ведение судопроизводства, которое единолично чинит в уезде все тот же Севастьяныч, провинциальный эрудит и мечтатель, тоскующий о силе Бовы Королевича и рассказывающий под вечерок изумленным слушателям о похождениях Ваньки Каина и путешествии купца Коробейникова в Иерусалим. И психологические, и социальные характеристики Одоевского достоверны и очень точны: они обнаруживают полное владение материалом и превосходное знание деталей как «низового» быта, так и «низового» сознания.

История о «мертвом теле», как и «Игоша», резко выпадает из условно-фантастического, дидактико-аллегорического мира «Пестрых сказок»

---

[71] По мнению Н. Ф. Сумцова, смысл этой сказки — в «наклонности русских дворян Савелиев Жалуевых оставлять свое тело и превращаться в иностранных недорослей Цвеерлей Джон Луи» (*Сумцов Н. Ф.* Князь В. Ф. Одоевский. Харьков, 1884. С. 17). О позднейших сюжетных аналогиях см.: *Кони А. Ф.* Очерки и воспоминания. СПб., 1906. С. 55; *Званцева Е. П.* Новое и традиционное в сказках В. Ф. Одоевского // Проблема традиций и новаторства в русской литературе XIX—начала XX века. Горький, 1981. С. 140.

[72] Вымышленное название города: Реженск — совершенно очевидно представляет собой контаминацию названий двух городов: Рязани (в написании Одоевского — Резань) и Ряжска.

и по многим соотносимым деталям максимально приближается все к тому же пушкинскому «Гробовщику» — в «фантастической» практике Одоевского случай такого приближения к Пушкину, пожалуй, единственный. Следуя формальной модели пушкинской фантастики, Одоевский также отказывается от «завуалированного» ее варианта, избирая сон в качестве стержня и кульминации сюжета и разрешая его «пробуждением» и снятием «тайны». Однако последствия возлияний и сна, привидевшегося подвыпившему, как и Адриан Прохоров, Севастьянычу, явленные наутро в виде уморительной просьбы о выдаче тела его владельцу, иностранному недорослю из дворян Цвеерлею-Джону-Луи, имеющему обыкновение выскакивать из своего тела, — просьбы, написанной самим Севастьянычем под диктовку вышеозначенного «недоросля», переводит повествование в план курьеза, бытового анекдота, сводя тем самым на нет сложно-психологическое содержание «пушкинского» сна и образуя известный угол отклонения в плане функционального использования пушкинской фантастической модели.

Неудивительно, что эта сказка Одоевского с сочным, превосходно выписанным бытовым контекстом, исполненная легкой, поистине пушкинской иронии, по замечанию Розена, особенно нравилась в провинции. Однако она была «двулика» и одной своей стороной обращенная к «Гробовщику», другой «поворачивалась» к Гоголю. Конечно, намеренно в качестве эпиграфа к ней автор избрал и цитату из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (точнее: «Ночи перед Рождеством»), соотнесенную с обстановкой «низового» провинциального быта и, сверх того, как бы обнажающую двигательную пружину рассказанного анекдота: «Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех».

Именно в это время и сам Гоголь делает первые наброски своей повести «Нос», идея которой, несмотря на существовавшие уже и хорошо известные европейские сюжетные аналоги (Шамиссо, Гофман), была без сомнения непосредственно «спровоцирована» «Сказкой...» Одоевского — уже самый зачин гоголевской фантастической истории, прямо объявляющий «тайну», безошибочно адресует нас к экспозиции «Сказки о мертвом теле...»: «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно-странное происшествие...».[73] Другое дело, что Гоголь развивает по-своему идею и Пушкина, и Одоевского, обозначая в свою очередь в повести о злосчастном майоре Ковалеве «угол отклонения» и от того, и от другого. Так, обращаясь к сюжетной схеме о потере человеком части своей плоти, своего «я», он интерпретирует ее вовсе не как курьез или нелепицу, разрешающуюся снятием «тайны», пробуждением хватившего лишку героя. Правда, снятие «тайны» и у Одоевского все же частичное: «реликты» ее в рассказе остаются в виде распространившихся слухов — фантасти-

---

[73] О других частных совпадающих мотивах см.: *Одоевский В. Ф.* Повести и рассказы. М., 1959. С. 465 (комментарии Е. Ю. Хин).

ческой трансформации курьеза в народном сознании: «...в одном соседнем уезде рассказывали, что в то самое время, когда лекарь дотронулся до тела своим бистурием, владелец вскочил в тело, тело поднялось, побежало и что за ним Севастьяныч долго гнался по деревне, крича изо всех сил: „Лови, лови покойника!“

В другом же уезде утверждают, что владелец до сих пор каждое утро и вечер приходит к Севастьянычу, говоря: „Батюшка Иван Севастьяныч, что ж мое тело? Когда вы мне его выдадите?“ и что Севастьяныч, не теряя бодрости, отвечает: „А вот собираются справки“». Именно этот прием использовал в концовке и автор «Носа».

Отказывается Гоголь и от более сложной формы причинно-следственных связей реального и ирреального, продемонстрированной Пушкиным в «Гробовщике». Намереваясь вначале также прибегнуть к мотивировке событий, описанных в «Носе», сном, Гоголь в окончательном варианте повести уходит и от этого соблазна. Решительно порывая с романтической «тайной», он создает совершенно особый тип фантастической повести, образец «немотивированной», «неразрешенной» фантастики.[74]

Думается, в истории литературы узел этот, в котором столь тесно переплелись вдруг творческие интересы трех писателей, уникален. И не случайно, конечно, «Пестрые сказки» изобилуют постоянно возникающими на их страницах скрытыми или прямыми цитатами из произведений Пушкина и Гоголя, как не случайно и то, что в творческой лаборатории, из которой они вышли — черновиках «Жизни и похождения... Иринея Модестовича Гомозейки» и примыкающих к ней набросках, — мелькают имена и ситуации, вряд ли по простому совпадению перекликающиеся с гоголевскими. Так, один из намеченных, но почему-то оставленных фрагментов «Жизни...» представляет собой комический, прямо-таки «гоголевский» диалог двух персонажей, одного из которых зовут Иваном Никифоровичем, и речь здесь идет о его ссоре с неким Богданом Федоровичем, — точь-в-точь как в известной повести Гоголя. Более того, для иронической характеристики своих героев оба писателя используют один и тот же прием (у Одоевского: «Иван Никифорович? он прекраснейший человек...». У Гоголя: «Прекрасный человек Иван Иванович!»). О первичности этого замысла судить сейчас трудно, так как этапы длительной работы Одоевского над автобиографической «хроникой» поддаются лишь общему, но не детальному хронологическому определению. Начальные ее наброски предшествуют «Пестрым сказкам», последние же фрагменты — в том числе и тот, о котором идет речь, — скорее всего, появились уже после выхода сборника в свет, т. е. начиная с 1833 г.[75] — времени, когда, по мнению исследователей, была создана «Повесть о том, как

---

[74] Подробнее см.: *Манн Ю.* Фантастическое и реальное у Гоголя // Вопросы литературы. 1969. № 9. С. 115—119; а также: *Инютин В. В.* Опыт целостного анализа гротескного произведения (на материале «Сказки о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем» В. Ф. Одоевского) // Коммуникативная и поэтическая функция художественного текста. Воронеж, 1982. С. 59—65.

[75] См. с. 191 наст. изд.

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».[76] Так или иначе, но и эта синхронность — еще одно несомненное свидетельство интенсивных творческих контактов писателей. Между прочим, в другом, также относящемся к началу 1830-х гг. отрывке Одоевского под названием «Причина пожаров» также усматривается некая перекличка: дядя Иринней ведет здесь беседу с *маниловскими* крестьянами (выделено мною. — *М. Т.*). Отрывок этот, вероятнее всего, был написан прежде, чем Гоголь приступил к созданию «Мертвых душ»: в таком случае фамилия Манилова вполне могла быть подсказана ему Одоевским.[77]

И хотя это столь очевидное взаимовлияние ознаменовано прежде всего принципом «притяжения—отталкивания», свое родство тем не менее остро осознавали сами участники «триумвирата» — точнее, два младших «триумвира», шедших по пятам старшего. Следствием этого и явилась идея альманаха «Тройчатка», предложенная Одоевским и Гоголем Пушкину.

Однако прежде чем перейти к рассказу об этом замысле, необходимо остановиться еще на одном произведении Одоевского этой поры, безусловно примыкающем к «Пестрым сказкам» и по своей структуре, и по художественным задачам, хотя формально в этот цикл и не включенном. Мы имеем в виду «Историю о петухе, кошке и лягушке», получившую это окончательное свое название лишь в 1844 г. в «Сочинениях», но впервые появившуюся в печати через год после «Пестрых сказок» как «Отрывок из записок Иринея Модестовича Гомозейки», за той же подписью, что и недавний цикл: «В. Безгласный».[78] Симптоматично, что Белинский, с расстояния лет, в своем разборе «Пестрых сказок» ошибочно, но справедливо по существу первым среди «прекрасных юмористических очерков» цикла назвал «Историю о петухе, кошке и лягушке».[79]

Прежде всего, этот рассказ также вышел из недр «Жизни и похождений... Гомозейки». Одну из глав «хроники» Одоевский собирался посвятить вступлению своего героя в службу — опять же в провинции, секретарем под начало губернского полицмейстера Ивана Савельевича Прохорова. В черновых набросках повествуется о том, с каким рвением «ученый» секретарь Гомозейко принялся за свое дело, как составил по разным иностранным источникам проект городского благоустройства, мечтая поставить губернский город «на европейскую ногу», и как заслужил даже за скромные свои старания полицмейстерскую выволочку и звание «карбонария».

---

[76] См.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М., 1937. Т. 2. С. 752—753. Известно, между прочим, что по выходе «Миргорода» в 1835 г. Одоевский и Шевырев одновременно намеревались написать по критической статье о гоголевском сборнике. Одоевский, однако, своего намерения не осуществил, но лишь по просьбе самого автора, отдавшего предпочтение печатному разбору Шевырева. Тем не менее в черновиках Одоевского сохранился отрывок задуманной им статьи, где, в частности, отдельно должна была быть рассмотрена «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», оцененная им очень высоко (см.: *Гоголь Н. В.* Исследования и материалы. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 223).

[77] См. с. 194, примеч. 13 наст. изд.

[78] Библиотека для чтения. 1834. № 4. С. 192—211.

[79] См. с. 121 наст. изд.

Здесь же должен был помещаться и «...рассказ о лягушке, кошке и проч.»,[80] из которого и вырос «Отрывок...», отделанный для журнала как самостоятельная история. Неудивительно поэтому, что действие в нем, как и в «Сказке о мертвом теле...», происходит в Реженске. Сближает оба произведения и манера повествования — однако не только она: очевидная близость «Отрывка...» к циклу гораздо шире.

Примечательно, что движение сюжета здесь — история городничего Ивана Трофимовича Зернушкина — основано, как и в «Игоше», на двух действительно бытующих народных поверьях: об «околдованной» мельнице, в силу чего Марфа Осиповна и появляется в доме своего дальнего родственника Ивана Трофимовича, и переданная ею последнему примета относительно кошки, способной якобы нашептать жабу в голове.[81] Этот в высшей степени важный для понимания художественного метода Одоевского прием органически сочетается с мастерски нарисованной картиной сонного, захолустного, «дремучего» Реженска, усиливая впечатление абсолютной подлинности описаний, воспринимаемых как зарисовки «с натуры». Именно «панорама» Реженска в первую очередь соотносится с автобиографической «хроникой», где аналогичная картина запечатлена почти тождественно. Тем не менее в сугубо, казалось бы, бытовом повествовании присутствует весь комплекс идей, отличающих «Пестрые сказки». Здесь так же, как и в «Сказке о мертвом теле...», — однако словно мимоходом вкраплен «фантастический» элемент — опять же в виде «страшных снов», мучающих Ивана Трофимовича, который излечивается от своего недуга кизлярской. Сны эти, правда, не несут никакой функциональной нагрузки, но они интересны своей стилистикой, фантасмагорической трансформацией жизненных реалий — точно так, как происходило это в «страшном сне» пушкинского гробовщика: Зернушкин видит себя в облике жабы, пытающейся натянуть на себя сюртук; по улицам — «не люди, а лягушки на задних лапах и с ножки на ножку переваливаются», а в голове несчастного городничего — «целый город Реженск». Но особенно останавливает внимание отчетливый естественнонаучный фон рассказа, с фигурой уездного лекаря, в «биографии» которого без труда угадываются автобиографические детали — молодая увлеченность самого писателя духом эксперимента и естественнонаучного поиска,[82] и, наконец, развязка истории Зернушкина, излеченного в конце концов от своей фобии методом психического воздействия, аналогично опыту знаменитого врача Бургаве.

Но вернемся, однако, к замыслу альманаха «Тройчатка».

28 сентября 1833 г. Одоевский писал поэту в Болдино: «Скажите, любезный Александр Сергеевич: что делает наш почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко и Рудый Панек по странному стечению обстоятельств описали: первый — *гостиную*, второй — *чердак*; нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность — *погреб*, тогда бы вышел весь

---

[80] См. с. 98 наст. изд.

[81] См. с. 187, примеч. 5.

[82] См.: *Одоевский В. Ф.* Русские ночи. С. 187.

дом в три этажа и можно было бы к „Тройчатке“ сделать картинку, представляющую разрез дома в 3 этажа с различными в каждом сценами; Рудый Панек даже предлагал самый альманах назвать таким образом: „Тройчатка, или Альманах в три этажа“, сочинение и проч. — Что на это все скажет г. Белкин? Его решение нужно бы знать немедленно, ибо заказывать картинку должно теперь, иначе она не поспеет и „Тройчатка“ не выйдет к новому году, что кажется необходимым».[83]

Самоощущение молодых «соавторов» было, видно, таково, что совместное литературное предприятие, предлагавшееся Пушкину, представлялось им как бы делом логически естественным и не подлежащим сомнению, и они позволили себе фактически известить Пушкина об этом, имея уже, возможно, по готовой или почти готовой повести, вдобавок поторапливая его, дабы поспеть «к новому году».

Любопытны здесь еще две детали: во-первых, «триумвират» мыслился целенаправленно — именно как союз трех равноположных «рассказчиков»: Белкина, Гомозейки и Рудого Панька. Во-вторых, единство это, вероятно, ощущалось не одними его участниками — Одоевский прибегает к высокому для Пушкина авторитету Жуковского, сообщая своему корреспонденту, что «мысль „трехэтажного“ альманаха ему очень нравится».

И, кажется, единственный из участников и «болельщиков» этой затеи — Пушкин — думал иначе. 30 октября он уклончиво-шутливо по форме, но твердо по существу отвечает Одоевскому отказом. «Не дожидайтесь Белкина; не на шутку, видно, он покойник; не бывать ему на новоселье ни в гостиной Гомозейки, ни на чердаке Панка. Не достоин он, видно, быть в их компании».[84]

Собственный «угол отклонения» от своих «собратьев» был Пушкину совершенно ясен.

Известно, что после отказа Пушкина Одоевский и Гоголь намеревались все же осуществить свой замысел вдвоем — издать альманах «Двойчатка». «Я печатаю — ужас что! — с Гоголем „Двойчатку“, книгу, составленную из наших двух новых повестей», — писал Одоевский М. А. Максимовичу.[85] Однако и это предприятие почему-то не состоялось; осталось невыясненным и то, какие именно повести собирались объединить под одной обложкой писатели.[86]

Между прочим, замысел «Тройчатки» знаменателен еще одним обстоятельством. В свое время В. В. Виноградов и в нем усмотрел отзвук идей «неистовой» французской словесности — точнее, влияние Жюля Жанена, второго его романа «Исповедь» (1830), посвященного наблюдениям над конт-

---

[83] Переписка А. С. Пушкина. М., 1982. Т. 2. С. 426—427.

[84] Там же. С. 429.

[85] «Киевская старина». 1883. Т. 5. Апрель. С. 846.

[86] См.: Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. С. 428, примеч. 3; В. В. Виноградов высказал предположение, что в «Двойчатку» могла быть предназначена неоконченная и сохранившаяся в отрывках повесть Гоголя «Страшная рука» (см. в его кн.: Избранные труды. С. 79). На следы влияния В. Ф. Одоевского на этот замысел указал Г. М. Фридлендер (см.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 7 т. Т. 3. С. 292).

растами городской жизни и описывающего, в частности, «срез» большого столичного дома. Причем интересно, что именно эти главы в романе были выделены самим Жаненом как наиболее яркое отражение принципов новой поэтики.[87] Кстати, аналогичный прием писатель использовал уже в «Мертвом осле», где тоже есть мимолетная, но выразительная зарисовка парижского дома «в разрезе», бытовая картинка пробуждающегося города, которую наблюдает герой, «мысленно отстраняя белые и красные занавески у окон».[88]

Так или иначе, но Иван Петрович Белкин и его «истории» — в первую очередь, конечно, «Гробовщик» — оставили в художественном сознании Одоевского глубокий след. Вскоре, видимо, после «Пестрых сказок» он задумывает другой цикл — «Записки гробовщика», и еще П. Н. Сакулин заметил в этой идее «некоторое влияние» пушкинской повести; возможно, отразились в ней и впечатления пережитой Одоевским в Петербурге холеры 1831 г.[89] — точно так, как возник на фоне холеры 1830 г. и «Гробовщик». Во всяком случае, по выходе одного из задуманных, но осуществленных лишь частично тринадцати рассказов цикла «Записки гробовщика» (1838) Одоевский заинтересованно спрашивал Шевырева: «Скажи мне, что ты думаешь о „Записках гробовщика“? Я тут хотел писать в новом для меня роде — пластически; удалось ли мне это?».[90] О том же, что этот «новый род» возник именно под влиянием критики Пушкина, говорит позднее признание писателя Краевскому относительно «формы» своих произведений: «Она изменилась у меня по упреку Пушкина о том, что в моих прежних произведениях слишком видна моя личность: я стараюсь быть более пластическим...».[91] Что же касается «Пестрых сказок», то мир их, причудливый и фантасмагоричный, выглядел в целом, как мы уже говорили, довольно безжизненно.

Правда, при этом нельзя, наверное, не учитывать единожды мелькнувшее, но чрезвычайно важное признание писателя, сделанное им в сугубо конфиденциальном письме А. И. Кошелеву, где он исповедовался другу в своих тяжких переживаниях, связанных с драматическими обстоятельствами его увлечения Надеждой Николаевной Ланской и совпавших по времени с работой над «Пестрыми сказками»: «Ты удивишься, когда узнаешь, что мои арлекинские сказки я писал в самые горькие минуты моей жизни: после этого не упрекай же меня в слабости характера, — это действие было сильным торжеством воли, к которому не многие могут быть способны. В это время я успел перейти все степени нравственного страдания...».[92] Возможно, «Пестрые сказки» более всего и несут на себе отпечаток не вдохновения, но «торжества воли» — и, быть может, это обстоятельство в значительной мере

---

[87] *Виноградов В. В.* Избранные труды. С. 78.

[88] *Жанен Жюль.* Мертвый осел и обезглавленная женщина / Пер. с фр. М., 1831. С. 39—40.

[89] Сакулин, с. 138, примеч. 2.

[90] ОР РНБ, ф. 850, № 408, л. 24.

[91] Письмо от начала октября 1844 г. // *Одоевский В. Ф.* Русские ночи. С. 235.

[92] Цит. по: *Колюпанов Н.* Биография А. И. Кошелева. Т. 1. Кн. 2. С. 102; подробнее см.: *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...».С. 266.

объясняет причину чисто формального задания цикла, единственно соответствовавшего внутренним возможностям «растерзанного» в эту пору Одоевского.

Безжизненность «Пестрых сказок» сразу отметил Николай Полевой, вообще враждебно настроенный в это время к пушкинскому кругу. Выступив с решительным осуждением «Сказок», он высказался — впрочем, не без оснований — в том смысле, что истинные Гофманы в наш «холодный век рассудительности и приличий» крайне редки. Он увидел в новом произведении Одоевского лишь «бесцветные» аллегории, род «распространенной басни», пронизанной «холодом прозаизма» и лишенной прелести искреннего «простодушия».[93]

С этих же позиций оценил потом «странный фантазм» Одоевского и Белинский. Признав, что в «Пестрых сказках» есть «несколько прекрасных юмористических очерков» — таких, как сказки об Иване Богдановиче Отношенье и мертвом теле, и собственно фантастическая — «Игоша», критик также отрицал правомочность уподобления русского писателя великому немецкому фантасту: «...фантазм Гофмана составлял его натуру, — писал он, — и Гофман в самых нелепых дурачествах своей фантазии умел быть верным идее. Поэтому весьма опасно подражать ему: можно занять и даже преувеличить его недостатки, не заимствовав его достоинств».[94]

Крайне интересно, что уже на исходе жизни, готовя свои «Сочинения» ко второму изданию, во вновь написанном «Примечании к „Русским ночам"» Одоевский сам подвел итог многочисленным уподоблениям или противопоставлениям его Гофману и окончательно сформулировал свое понимание художественного метода немецкого фантаста совершенно в унисон своим оппонентам: «Гофман... изобрел особого рода чудесное, — писал он; — знаю, что в наш век анализа и сомнения довольно опасно говорить о чудесном, но между тем этот элемент существует и поныне в искусстве... Гофман нашел единственную нить, посредством которой этот элемент может быть в наше время проведен в словесное искусство; его чудесное всегда имеет две стороны: одну чисто фантастическую, другую — действительную; так что гордый читатель XIX-го века нисколько не приглашается верить безусловно в чудесное происшествие, ему рассказываемое; в обстановке рассказа выставляется все то, чем это самое происшествие может быть объяснено весьма просто, — таким образом, и волки сыты, и овцы целы; естественная наклонность человека к чудесному удовлетворена, а вместе с тем не оскорбляется и пытливый дух анализа; помирить эти два противоположные элемента было делом истинного таланта».[95]

---

[93] См. с. 115—117 наст. изд.

[94] См. с. 121 наст. изд.

[95] *Одоевский В. Ф.* Русские ночи. С. 189. См. также: *Проскурина Ю. М.* Э. Т. А. Гофман и В. Ф. Одоевский (К вопросу о национальной специфике фантастики) // Учен. зап. Свердловского и Тюменского пед. ин-тов. Тюмень, 1970. Сб. 118. Вып. 2. С. 109—122; *Михайловская Н. М.* Романтические повести В. Ф. Одоевского (к вопросу о творческих связях В. Ф. Одоевского и Э. Т. А. Гофмана) // Вопросы истории и теории литературы. Челябинск, 1972. Вып. 9—10. С. 17—35.

И все же суровые критики Одоевского правы были не вполне. С аллегориями, созданными «пронзительным философическим умом», как написал другой их рецензент — уже дружески настроенный барон Розен, уживалась в «Сказках» и «добродушная веселость»: на философски-обличительные, «фантастические» страницы «пушкинское» начало все же проникло.

В Москве «Пестрые сказки» в общем хвалили. Пансионский учитель Одоевского, один из первых русских «шеллингианцев», И. И. Давыдов отметил в своих «Чтениях о словесности»: «Философской повести у нас не было до приятных опытов в „Пестрых сказках“».[96]

«Свой» же петербургский кружок отнесся к «Сказкам» сдержаннее. Любопытно, что очень, кажется, ждал их Жуковский и, видно, спрашивал о «Сказках» в письмах к друзьям не раз. Судя по повышенному интересу, он был посвящен в этот творческий замысел Одоевского еще до своего отъезда за границу в июне 1832 г. 17 февраля 1833 г. Плетнев писал ему в Швейцарию: «Одоевский еще не напечатал своих сказок, которые называются Пестрыми с красным словцом».[97] В начале мая через Александра Тургенева Вяземский передает Жуковскому, что «Пестрые сказки» ему высланы, но еще за месяц до того сам пишет другу: «Одоевский издал свои „Пестрые сказки“, фантастические. Я еще не видал их, но издание сказывают очень красивое, кокетное и фантастическое. Кажется, род Одоевского не фантастический, то есть в смысле гофмановском. У него ум более наблюдательный и мыслящий, а воображение вовсе не своенравное и не игривое».[98]

Непосредственные же высказывания Пушкина по поводу «фантастического» цикла Одоевского нам неизвестны, однако сохранилось косвенное — Владимира Соллогуба. Он вспоминает случайную встречу Пушкина и Одоевского на Невском проспекте сразу по выходе «Пестрых сказок», признание последнего в разговоре с поэтом о том, что «писать фантастические сказки чрезвычайно трудно» и веселую реплику Пушкина вслед удалявшемуся автору: «Да если оно так трудно, зачем же он их пишет? Кто его принуждает? Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их не трудно».[99]

Эти воспоминания Соллогуба появились в печати уже после смерти Одоевского. Однако еще при жизни писателя, в 1860 г., версию разговора о «Пестрых сказках» обнародовал П. В. Долгоруков — на страницах издававшегося им в Париже эмигрантского журнала «Будущность». Но это был случай особый: Долгоруков сводил с Одоевским давние счеты. Дело касалось преддуэльной истории Пушкина, и Долгоруков все еще помнил о той жесткой позиции, которую занял по отношению к нему Одоевский, убежденный в его причастности к травле поэта. Именно поэтому в паск-

---

[96] См.: Сакулин, с. 37.

[97] Соч. и переписка П. А. Плетнева. СПб., 1885. Т. 3. С. 528.

[98] Письмо от 14 апреля 1883 г. // Русский архив. 1900. Кн. 1, № 3. С. 373.

[99] См. с. 126 наст. изд.

вильной своей статье, стремясь дискредитировать дружеский характер отношений Пушкина с князем, он, среди прочего, пересказал и эпизод, описанный позднее Соллогубом, но пересказал как сплетню, явно подхваченную им некогда из чьих-то уст, не исключено, что и от самого Соллогуба, с которым в 1836 г. довольно тесно общался в доме Карамзиных.[100] Пасквиль Долгорукова вызвал резкие возражения Одоевского, категорически отвергшего как реальность самого эпизода, так и характер интерпретации его отношений с Пушкиным. По цензурным соображениям писатель был лишен возможности отвечать на статью в эмигрантском журнале печатно; тем не менее в его архиве сохранились черновик и перебеленная копия с авторской правкой ответа Долгорукову. Тогда же Одоевский переписал касавшуюся его часть статьи в свой дневник, снабдив долгоруковский текст собственными комментариями.[101]

Однако, как ни парадоксально, сама «сплетня» Долгорукова служит лишним подтверждением того, что это — отголосок факта, имевшего место в действительности.

Иронический отзыв Пушкина по поводу «фантастических сказок» Одоевского, даже если рассказ Соллогуба не вполне точен, кажется тем не менее возможным по существу и дополняет собой ряд аналогичных, также донесенных до нас молвой замечаний Пушкина по поводу тяжеловесной, на его вкус, «рациональной» фантастики Одоевского. Остроумные «mot» поэта, получавшие в литературных и светских кругах, как это случалось не раз, довольно широкое хождение, и сформировали, скорее всего, определенный стереотип общественно-литературного мнения на этот счет — стереотип, несомненно повлиявший, в свою очередь, и на характер позднейших воспоминаний. Достаточно вспомнить разговор Пушкина с В. Ленцем, юристом и музыкантом, посетителем салона Одоевского, о его фантастических повестях на одном из вечеров самого князя, когда поэт, особенно увлеченный в ту пору Гофманом, сказал своему собеседнику «с неподражаемым сарказмом в тоне»: «Одоевский пишет тоже фантастические пьесы». И хотя «Пестрые сказки» не были, видимо, названы Пушкиным впрямую, самый характер воспоминаний Ленца очень близок соллогубовским — не говоря о том, что относятся они, между прочим, к осени 1833 г.[102] Отголоски иронического отношения Пушкина к фантастике Одоевского слышны и в воспоминаниях университетского товарища Соллогуба Ю. Арнольда, согласно свидетельству которого, Пушкин якобы называл Одоевского «гофманской каплей».[103]

Тем не менее у «Пестрых сказок» нашелся свой читатель, и Розен, наверное, не очень преувеличивал, когда писал, что публика «расхватывает» книгу. Время сохранило любопытнейший читательский отзыв — некоего А. И. Сабурова, отставного ротмистра-улана из тамбовских дво-

---

[100] См.: *Вацуро В. Э.* Последняя повесть Лермонтова / М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1979. С. 230.

[101] Подробнее об этом эпизоде см. с. 199 наст. изд.

[102] См. с. 128 наст. изд.

[103] *Арнольд Ю.* Воспоминания. М., 1892. Вып. 2. С. 201, примеч. 1.

рян, привлекавшегося, между прочим, по делу декабристов «с выдержанием в крепости одного месяца».

Сабуров имел обыкновение заносить на бумагу свои впечатления о прочитанном, и в 1833 г. наибольшее его внимание привлекли как раз «Пестрые сказки», о которых записал он следующее:

«9. Пестрые сказки Адуевского. Мысли г-на Адуевского, имея отпечаток колкой аллегории, совершенно справедливо и искусно касаются предметов, часто встречающихся в общежитии и обществе. Намек, который сочинитель делает на полурусское, полуфранцузское воспитание петербургских, даже скажу вообще русских девиц, справедливо выставляет тщеславие и невежество матушек иметь в доме гувернантку француженку, библиотеку, составленную из французских гадостей, платье, сшитое по французской выкройке, они не запрещают возлюбленным дочкам своим, растроганным приторностию Ла Мартина, читать также „Французские путешествия по России", где г.г. путешественники, глубоко познавшие отечество наше, так справедливо излагают мнения свои, может быть, не сходя с крила какого-нибудь жилища в La rue aux Ours.[104] „Нет, извините, скажут мне горячие заступники невинности, вы что-то очень нападаете на наших русских девиц; посмотрите, как они воспитаны, хоть бы у нас в Москве: почти все говорят по-английски, читают Кибсеки, от Мура и Байрона без ума". О! проклятое лепетанье! Как часто ты очаровываешь людей, считающих образованностью свободные повороты языка на различных европейских наречиях...

Адуевский тоже, но лучше меня нападает на воспитание наших девиц в статье „О том, как опасно девушкам ходить одним по Невскому проспекту".

Другая статья его о Мертвом теле, неизвестно кому принадлежавшем, по мне еще лучше первой. Третья статья о том, от чего N.N. не удалось в первый праздник поздравить своих начальников, очень хорошо и остро написана.

Вообще в книге сей слог чист и мысли разнообразны и остроумны. В иных местах однако г-н сочинитель до того заносится и запутывается в аллегорической паутине, что и паук-поэт не расплетет ее.

Адуевский со временем будет в России то, что во Франции Дидерот, в Англии — Стерн, в Германии — Jean Paul».[105] Мать писателя Екатерина Алексеевна тоже «отрецензировала» «фантастический» цикл сына подробно: «Читала я твои пре-пестрые сказки; инова не понела, другое догадалась, третьему рассмеялась. *Игошу* не понела, не знаю <*1 нрзб.*> что ты хотел сказать. *Девушка*, из которой вынул сердце француз, слишком зла, я думаю тебе за нее досталось, *деревянный гость* к несчастию слишком справедливо и можно бы пожелать, чтобы бедная кукла никогда не очнулась, реторта хорошо написана ... чей это нос в колпаке сидящий на волтеровых креслах, ожидай после всех насоф и англинского брюха,

---

[104] в Медвежьей ул. (*фр.*).

[105] Цит. по: *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...». С. 239—240.

что посылают на тебя стрелы и громы писателей достанется и тебе <...> прочитаю еще, я не понела, к чему ты сказал из Апокалипсиса, Альфа и Омега, я даже удивляюсь, что ты поместил это».[106]

Думается, что отзыв Вяземского о «Пестрых сказках», высказанный им в письме к Жуковскому, и был «приговором» пушкинского круга. Вяземский очень точно определил существо литературного дарования князя. В соревновании «сказочников» ему невозможно было даже определить место — он просто свернул на совсем иную стезю. И «соревновавшиеся», и «болельщики» должны были испытать чувство легкого разочарования: ни Гофман и не Поэт национальный.

В художественном отношении «Пестрые сказки» действительно были несовершенны. По прошествии десятилетия Одоевский признал это и сам; готовя к изданию свои «Сочинения», он включил сюда только те их них, которые, по его словам, могут иметь «чисто литературное значение», и в предисловии фактически подтвердил формальное задание цикла. Тем не менее историко-литературная ценность «Пестрых сказок» неоспорима: они стали лабораторией и творческих идей, и художественного метода и в этом смысле оказались произведением по-своему уникальным. Здесь отчетливо обозначились практически все направления дальнейших художественных поисков писателя, ставшего едва ли не единственным в нашей литературе выразителем философского романтизма.

---

[106] Цит. по: Сакулин, с. 36, примеч. 3. «Альфа и омега» упомянуты в «Просто сказке», но, по справедливому замечанию Сакулина, это вряд ли имеет отношение к Апокалипсису.

ПРИМЕЧАНИЯ

«Пестрые сказки» вышли в свет в начале 1833 г.: дата цензурного разрешения — 19 февраля, билет на выпуск — 8 апреля («Реестр печатных книг на 1833 г.» — РГИА, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 265, № 60). В книге под цензурным разрешением значится подпись цензора В. Н. Семенова, в «Реестре печатных книг» — П. И. Гаевского. Дело в том, что 17 февраля 1833 г. Семенов подал прошение об отпуске на 28 дней и 21 февраля на заседании Цензурного комитета оно было удовлетворено, дела же его передавались Гаевскому. Однако очевидно, что «Пестрые сказки» прошли цензуру легко, за исключением одного частного случая (см. с. 176, примеч. 13 наст. изд.), не вызвав никаких вопросов, требующих специального рассмотрения, и фактически были процензурованы самим Семеновым до его отъезда в отпуск (см.: РГИА, ф. 777, оп. 27, ед хр. 26, д. 15). 6 апреля «Молва» в разделе «Литературные слухи» анонсировала выход «Пестрых сказок»: «В Петербурге известный литератор, даривший нас своими фантазиями в гофмановском роде, издает полное собрание их под заглавием „Пестрые сказки“» (Молва. 1833. Ч. V. № 41. С. 162). Об этой рекламе — очевидно, по просьбе самого писателя — позаботились его московские друзья. 12 февраля 1833 г. А. И. Кошелев писал из Москвы: «Твои поручения я исполнил, любезный друг Одоевский. Для „Молвы“ мы даже составили с Киреевским статейку. Обещали объявление о твоих сказках поместить в скором времени» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 2, № 637, л. 28). Обещанная же «статейка» в «Молве» не появилась. 8 апреля объявление о том, что книга Одоевского «на сих днях поступит в продажу», было напечатано в «Северной пчеле» (1833. № 76).

Рукопись «Пестрых сказок» не сохранилась. Однако в книжном собрании Британской библиотеки в Лондоне находится экземпляр «Пестрых сказок» с карандашными пометами Одоевского, представляющими собой авторскую правку печатного текста. Почерк Одоевского идентифицирован нами впервые. Соответственно ни сам экземпляр, ни пометы и характер правок в нем до сих пор в литературе описаны не были.[1] Между тем он уникален во многих отношениях.

Прежде всего, «Пестрые сказки» из Британской библиотеки — из числа подарочных экземпляров, о чем свидетельствует собственноручная запись Одоевского: «Только 25 экземпляров сей книги были отпечатаны на веленевой бумаге. Сии экземпляры никогда не были пущены в продажу. К<нязь> В. Од<оевский>. СПб., 1833». Три экслибриса с сопутствующими им надписями с точностью восстанавливают историю книги. Первый из них принадлежит графу П. К. Сухтелену — известному библиофилу, в последние годы жизни — российскому послу в Швеции. Его карандашная запись корреспондирует с вышеприведенной: «Contes du prince Vladimir Odoijefsky, imprimes a 25 exemplaires, distribués à ses amis, dont celui-ci en est un avec sa signatures».[2]

---

[1] Это засвидетельствовала в своем ответе на наш запрос куратор русских коллекций Британской библиотеки доктор Кристина Томас, сообщившая, что данный экземпляр «Пестрых сказок» как библиографическая редкость до настоящего времени вообще выявлен не был (письмо от 1 июля 1994 г.). См. также: *Cornwell Neil.* V. F. Odoyevsky. His life, times and milieu. London, 1986. P. 272.

[2] Сказки князя Владимира Одоевского, отпечатаны в 25 экземплярах, предназначенных его друзьям, из которых этот с его собственноручной подписью (*фр.*).

Ниже помета Одоевского: «Написано рукою графа Сухтелена, известного библиофила, — в Стокгольме незадолго пред кончиною графа».

Сухтелен скончался в 1836 г., после чего книга, очевидно, и вернулась к автору, получив его экслибрис и заняв свое место в его книжном собрании (на экслибрисе помечено: section B. armoire III. Rayon et № 2/11[3]).

Спустя примерно семь лет, готовя к изданию свои трехтомные «Сочинения» и намереваясь частично включить в них «Пестрые сказки» (см. ниже), Одоевский приступил к их редактированию, внеся ряд поправок в этот, «сухтеленовский», экземпляр, а через двадцать лет в качестве особого раритета переподарил его своему другу и известному библиофилу С. А. Соболевскому со следующей надписью: «Дарится в библиотеку другого столь же знаменитого библиофила Сергея Александровича Соболевского. 15 июля 1864. Кн. В. Одоевский». На книге появился третий экслибрис — нового ее владельца. Как известно, после смерти Соболевского его ценнейшую книжную коллекцию унаследовала С. Н. Львова, продавшая ее в Германию. Именно там — на лейпцигском аукционе книготорговой фирмы «Лист и Франк» — «Пестрые сказки» в числе значительной части собрания Соболевского и были приобретены Британским музеем для своей библиотеки 9 октября 1873 г. Однако «Соболевскиана» не была сохранена здесь в целостном виде и растворилась в общем фонде; по этой причине уникальный экземпляр первого сборника Одоевского и не был до сих пор выявлен.[4]

Исправления, внесенные Одоевским в «сухтеленовский» экземпляр, явились, судя по всему, первой правкой текста, так как ею не исчерпываются все изменения, отраженные в издании 1844 г. Однако совершенно очевидно, что Одоевский не ставил здесь своей целью мелкую стилистическую правку — именно ею определяется основной характер редактуры, произведенной для «Сочинений», — а прежде всего внес наиболее существенные смысловые коррективы и выправил замеченные опечатки. Как раз поэтому без сомнения правка коснулась главным образом «Игоши» — единственной «сказки», претерпевшей кардинальную редактуру: первые изменения концептуального характера были намечены именно в «сухтеленовском» экземпляре и затем полностью вошли в окончательный текст 1844 г. (ср. со второй ред. «Игоши» — с. 70, стр. 22—23; с. 71, стр. 42—46; с. 72, стр. 1—4, 16—18).

В этом контексте чрезвычайно интересным и значительным представляется и другое исправление: в «Реторте» писателем восстановлена фраза, не пропущенная цензурой; она введена нами в основной текст (см. с. 11 и 176, примеч. 13). Примечательно при этом, что «Реторта» в «Сочинениях» отсутствует, и в этой связи может возникнуть предположение, что круг сказок, предназначавшихся сюда, был определен Одоевским не сразу.

В «сухтеленовском» экземпляре зачеркнуто и название заключительного текста: «Эпилог». Из выправленных трех опечаток, учтенных в «Сочинениях», а также в настоящем издании, отметим лишь одну: вместо «проскользило» — «проскользнуло» (см. с. 57 наст. изд.). Остальные две относятся к грамматическим погрешностям.

В фонде Одоевского в Российской национальной библиотеке хранится другой экземпляр «Пестрых сказок» с экслибрисом Соболевского, но без дарственной надписи и каких-либо помет (если не считать карандашную нумерацию листов по десяткам — ОР РНБ, 539, оп. 1, пер. 71).

Еще одной крупнейшей библиотеке Англии — Кембриджского университета — принадлежат «Пестрые сказки» 1833 г. также с весьма примечательными анонимными записями, касающимися участия Н. В. Гоголя в «производстве» сборника Одоевского (подробнее см. с. 151—152).

Окончательный состав «Пестрых сказок» по сравнению с первоначальным замыслом (см. с. 85 наст. изд.) оказался существенно расширенным. Особое внимание писатель уделил художественному оформлению книги. Оно принадлежало Е. Н. Риссу, П. Русселю и отчасти А. Ф. Грекову (подробнее см. с. 188—189, примеч. 1).

Поскольку «Пестрые сказки» носили во многом экспериментальный характер, Одоевский в качестве своеобразного лингвистического эксперимента счел возможным прибегнуть к необычной — «испанской» — пунктуации и некоторым другим пунктуационным особен-

---

[3] Секция Б. Полка III. Место и № 2/11 (*фр.*).

[4] Выражаю глубокую благодарность доктору Кристине Томас, любезно предоставившей мне эти сведения, доложенные ею на 57-й конференции Международной федерации библиотечных ассоциаций в августе 1991 г. в Москве.

ностям, специально оговорив их в вводной главе «От издателя». Орфографию «Пестрых сказок» отличает также намеренная архаизация; например, писатель сознательно вводит написание «ето», «етот» и т. д. вопреки устоявшемуся уже к этому времени написанию через «э», которое, кстати, до того было соблюдено им в «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» в ее первой публикации в альманахе «Комета Белы» (СПб., 1833. С. 259—276. Подпись: Вл. Глинский. Билет на выпуск — 16 января 1833 г. — РГИА, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 265, № 34). В составе сборника и эта «Сказка...» была приведена в соответствие с принятыми здесь Одоевским правилами. Именно на эту особенность обратил критическое внимание Розен в своей в целом восторженной рецензии на сборник (см. с. 113 наст. изд.). Позже, включив ряд сказок в свои «Сочинения» 1844 г., Одоевский отказался и от «испанской» пунктуации, и от архаизированной орфографии.

В настоящем издании текст дается в соответствии с нормами современного правописания (факсимильное воспроизведение текста 1833 г. см. в изд.: *Одоевский В. Ф.* «Пестрые сказки». Факсимильное воспроизведение издания 1833 года. Приложение к факсимильному воспроизведению. М., 1991), однако особенности индивидуального стиля Одоевского, включая и наиболее устойчивые архаизированные формы, имеющие оттенок стилизации, сохранены. Не унифицированы и колебания в написании некоторых слов: например: чернильница — чернилица и др.

При жизни Одоевского «Пестрые сказки» как целостный цикл не переиздавались. Шесть сказок из девяти писатель включил в третий том своих «Сочинений» 1844 г.: пять из них составили раздел «Отрывки из „Пестрых сказок“» (см. с. 188), шестая — «Игоша» — вошла в раздел «Опыты рассказа о древних и новых преданиях».

В «Дополнениях» публикуются печатные и рукописные произведения Одоевского, тематически и художественно связанные с «Пестрыми сказками». Сюда же включены «Варианты и другие редакции прижизненных изданий», а также прижизненные рецензии на сборник и круг мемуарных свидетельств, связанных с оценкой «Пестрых сказок» Пушкиным.

Помимо приведенных во вступительной статье и примечаниях откликов на «Пестрые сказки» отметим еще отзыв В. К. Кюхельбекера. Спустя более чем десятилетие после выхода книги он писал из ссылки Одоевскому: «Очень люблю твою княжну Мими и кое-что из „Пестрых сказок“» (Отчет имп. Публ. б-ки за 1893 г. СПБ., 1896. С. 70).

Кроме указанного факсимильного издания «Пестрые сказки» были переизданы еще дважды: *Odoevsky V. F.* Pyostryye skazki / Ed. by Neil Cornwell. University of Darham, 1988; *Одоевский В. Ф.* Пестрые сказки. Сказки дедушки Иринея / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В. Н. Грекова. М., 1993 («Забытая книга»). Все сказки, за исключением «Сказки о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту», появились в сборнике впервые.

Учитывая специфику настоящего издания («Литературные памятники»), а также тот факт, что «Пестрые сказки», как было сказано, при жизни Одоевского в целостном своем виде переизданы не были, нами принят за основу текст 1833 г. Поздняя правка, которой подверглась часть сказок в «Сочинениях» 1844 г., незначительна и носит стилистический характер; она отражена в «Вариантах... прижизненных изданий» (так же, как и разночтения «Сказки о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» в «Комете Белы» и в составе сборника). Исключение составляет лишь «Игоша»: поскольку он претерпел концептуальные изменения, новая его редакция воспроизводится нами полностью по изданию: Сочинения князя В. Ф. Одоевского: В 3 ч. СПб., 1844. Ч. 3. С. 47—56.

Эпиграф — реплика Митрофана из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781; пост. 1782; опубл. 1783), действие IV, явление VIII.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

1 *...они много потеряют ~ русскую публику...* — Иронический выпад против эпигонских образцов развлекательной исторической беллетристики, тиражировавшей темы и сюжеты романтической прозы и романов В. Скотта (произведения А. П. Бочкова, Е. В. Аладьина, В. Д. Троицкого, П. П. Сумарокова, Ф. В. Булгарина и др.).

[2] *...слишком странными ~ слишком обыкновенными...* — Явный намек на холодный прием, оказанный критикой и читателями «Повестям Белкина» Пушкина, вышедшим незадолго до «Пестрых сказок» (1831). Пушкинский замысел оказался явно не понятым современниками — его «сказкам и побасенкам» было отказано в оригинальности. См., например, отзывы «Московского телеграфа» и «Северной пчелы»: «Кажется, сочинителю хотелось испытать: можно ли увлечь внимание читателя рассказами, в которых не было бы никаких фигурных украшений ни в подробностях рассказа, ни в слоге, и никакого романизма в содержании.<...> Это фарсы, затянутые в корсете простоты, без всякого милосердия» (Московский телеграф. 1831. Ч. 42, № 22); «Жалуются, что содержание сих Повестей слишком просто; что, прочитав некоторые из них, спрашиваешь: только-то?» (Северная пчела. 1831. № 255). См. также: *Вацуро В. Э.* Повести Белкина // Пушкин А. С. Повести Белкина. М., 1981. С. 21, 330—331).

[3] *...самое заглавие его книги мне не нравилось...* — См. с. 132 наст. изд.

[4] *...сказку Иринея Модестовича ~ в одном из альманахов.* — «Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» (см выше). Одоевский заслужил за нее дружеские похвалы, однако «ободрения» журналов в связи с этим «опытом» писателя неизвестны — напротив, в рецензии «Молвы» на альманах «Комета Белы», где она появилась, по поводу «Сказки...» Одоевского сказано было, что в ней «слишком уж много затейливости, отзывающейся принуждением» (Молва. 1833. № 14, 2 февраля. С. 54).

[5] *Joannes ab Indagine ~ naturalem* (*лат.*) — «Основания натуральной астрологии» Иоанна из Хагена (ум. в 1475 г.) — картузианского монаха, жившего в Эрфурте и Эйзенахе, автора богословских, философских и оккультных сочинений.

[6] *Les oeuvres de Jean Belot ~ de doctement precher et haranguer etc.* (*фр.*). — Сочинения Жана Бело, кюре Мильмонта, профессора наук божественных и небесных, содержащие хиромантию, физиогномику, трактат о пророчествах, прорицателях и снах, науках стеганографов, полинистов, армаделлей и люллистов; искусство правильно молиться и проповедовать и т. д. (Paris, 1649). Название передано Одоевским не вполне точно — после: physionomi — следует: L'art de memoire de Raymond Lulle (искусство памяти Раймонда Луллия). Под этим общим титулом были изданы две работы Бело: «Familières instructions pour apprendre les sciences de chiromance et physionomie». Paris, 1619 («Приватные советы, как познать искусство хиромантии и физиогномистики») и «L'oeuvre de oeuvres, ou le plus parfait des sciences stèganographiques, paulines, armadelles et lullistes». Paris, 1623 («Главный труд, или Совершеннейшая из наук стеганографических, полинистов, армаделлей и люллистов»).

Жан Бело — философ и алхимик XVI в., последователь Раймонда Луллия, принадлежавший к поколению поздних люллистов (см. с. 176, примеч. 12 наст. изд.). Названный труд представляет собой попытку суммировать различные приемы комбинаторной логики для формулирования ряда философских понятий, разработанных средневековыми учеными и философами — представителями различных направлений в схоластике и мистических учениях.

[7] *...prima vista* (*ит.*; букв.: «первый взгляд») — музыкальный термин, означающий исполнение произведения с листа, без подготовки.

[8] *...давно обещанного «Дома сумасшедших»...* — Первый крупный циклический замысел Одоевского, относящийся к началу 1830 гг., остался неосуществленным. К 1833 г. были опубликованы две новеллы, предназначавшиеся для «Дома...»: «Последний квартет Бетховена» (Северные цветы на 1831 год. СПб., 1830) и «Opere del cavaliere Giambattista Piranesi» (Северные цветы на 1832 год. СПб., 1832). В 1833 г. появился «Импровизатор» (Альциона на 1833 год. СПб., 1833). Сюда же предназначался и написанный в 1834 г. «Себастиян Бах» (Московский наблюдатель. 1835. Ч. 2, май). Позже этот замысел, трансформированный и расширенный, был воплощен в самом значительном создании Одоевского — «Русских ночах», куда вошли и все перечисленные новеллы.

ПРЕДИСЛОВИЕ СОЧИНИТЕЛЯ

[1] *...о которых говорил Паскаль ~ ползают много...* — Цитатный источник этого высказывания Паскаля установить не удалось. Однако в одном из русских компилятивных

изданий «Последование характеров Феофрастовых и мыслей Паскалевых» (М., 1784) содержится следующее близкое по смыслу рассуждение: «Многие неохотно читают Паскала, сколько должно б его читать. Я отгадываю тому причину: для чтения его с веселием надобно столько ж иметь ума, сколько он имел в своих мыслях, или по меньшей мере быть в состоянии рассуждать твердо <...>. Хитро поступают те, которые соблюдают себе имя ученых, не делая ничего, что делают другие для приобретения такого имени. Пока человек, которого впрочем мнят в состоянии отличить себя изданием книги, откладывает писать, все почитают его высоко; как скоро он то сделал, слава его упадает. Ожидали от него больше того, что он показал» (с. 230—231).

[2] *я стараюсь втираться ~ ничьих именин, ни рожденья...* — Ср. с «Жизнию и похождениями Илариона Модестовича Гомозейки»: «...для приискания места втирается в известные дома <...> напуганный, ищет понравиться каждому не от подлости, но от робости...» (см. с. 88—89 наст. изд.).

[3] *...показываю свою фигуру на балах и раутах...* — Осенью 1837 г. Одоевский так описывал матери «абрис петербургской жизни»: «...утром работаешь, в 4 часа идешь гулять пешком, в 5 обедаешь, потом что-нибудь почитаешь, а в 11 часов покажешь свою фигуру на каком-нибудь рауте, иначе жить нельзя...» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 2, № 1473, л. 12 об.).

[4] *...но к несчастию я не танцую ~ какую-нибудь канцелярскую тайну...* — В архиве Одоевского сохранилась небольшая заметка под названием «Сумасшедший», с посвящением княгине Е. А. Белосельской: «Вам известно, княгиня, что общество рассматривает человека следующим образом: 1-е — нельзя ли из него сделать мужа; 2-е — нельзя ли из него сделать что-нибудь для мужа; 3-е — нельзя ли из него сделать хоть vis à vis для танцев или партнера для виста. Человек, имеющий все эти качества, получает позволение жить; ему улыбаются дамы, ему жмут руку мужчины; он сделает подлость — за него все заступаются, его нахальство — признак благородной души; его коварство — признак ума. Человек не случайный, не танцующий, не играющий в карты, не ищущий невест не находит ни слова, ни улыбки, ни руки; он выжатый лимон — пуст и кисел; его несчастие возбуждает всеобщее негодование; как он смеет быть несчастливым? Поскользнулся — нет пощады; упал — добивай до смерти; борется — нахал и якобинец» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 20, л. 10. Черн. авт.).

Вскоре после женитьбы Одоевского и переезда его в Петербург Екатерина Алексеевна Сеченова спрашивала сына в одном из писем: «Скажи мне, к<нязь> Владимир, что ты делаешь на балах. Дремлешь или рассматриваешь людей и удивляешься их пустоте в светском обращении, как то некогда бывало — или мысли твои изменились, я бы желала знать...» (Письмо от 28 февраля <1827—1828 г.> — ОР РНБ, ф. 539, оп. 2, № 989, л. 99).

...ни по пяти, ни по пятидесяти. — Ставки в карточной игре.

...очищать нумера — готовить канцелярские дела (ср. у Даля: «Очищать дело — подготовлять его к решенью справками, запросами» — *Даль В.* Толковый словарь. Т. II. М., 1955. С. 632).

[5] *«Бога ради оставьте меня в покое».* — Ср. с эпиграфом к «Семейным обстоятельствам Иринея Модестовича Гомозейки...» и «Жизни и похождениям Иринея Модестовича Гомозейки...» (С. 89 и 92, а также статью, с. 139).

[6] *Большой шлем* — игра в висте, при которой одна из сторон берет все тринадцать взяток.

РЕТОРТА

[1] *Cornue — retorte* — французский и латинский эквиваленты слова «реторта».

[2] *...Положи амальгаму ~ какие только на свете находятся...* — Этот эпиграф взят Одоевским из сочинения средневекового мистика Иоанна Исаака Голланда (XV—XVI вв.) «Рука философов», опубликованного в русском переводе в составе одного из алхимических сборников: «Собрание разных достоверных химических книг, а именно: Иоанна Исаака Голланда Рука философов, о Сатурне, о растениях, минералах, кабала и о камне философическом, с приобщением небольшого сочинения от неизвестного автора «О заблужде-

ниях алхимистов» с вырезанными на меди фигурами». СПб., 1787 (о принципиальной установке на «соборность» при составлении подобных алхимических сборников см.: *Рабинович В. Л.* Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979. С. 57—58). Цитата — с незначительными пропусками — приведена из главы: «Натручивание или амальгама» (с. 53—54), содержащей описание процесса получения серебра или золота, где основной исходный элемент — пепел, а основной элемент технологии — длительное нагревание. Появление «цветов» — один из заключительных этапов процесса.

[3] *В старину были странные науки ~ разнеслись колесами паровой машины.* — Здесь и далее Одоевский впервые печатно высказывает свое отношение к средневековой науке, выдающиеся достижения которой, по его мнению, были либо незаслуженно забыты, либо недооценены потомками. В деятельности ученых-алхимиков писателя особенно привлекал пафос поиска и эксперимента, попытка целостного познания мира. За «рациональными» мистиками признавал он приоритет многих естественнонаучных открытий. В 1830—1840 гг. Одоевский последовательно развивал и отстаивал эту идею, наиболее полно выразив ее в «Русских ночах». Примечательно, что эта его точка зрения на «научную» мистику нашла поддержку в современных научных исследованиях (см., например: *Трахтенберг О. В.* Очерки по истории западноевропейской философии. М., 1957. С. 225 и след.; *Джуа М.* История химии. М., 1975; *Рабинович В. Л.* 1) Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979; 2) Образ мира в зеркале алхимии. М., 1981).

[4] *...монах, по имени Алберт ~ не исключая даже и человека.* — Ал<ь>берт Великий (Альберт фон Больштедт, ок. 1193—1280) — монах-доминиканец, ученый-алхимик, один из самых видных естествоиспытателей Средневековья, особенно в области ботаники. О секретах «сотворения» цветов и плодов говорится в одном из трудов, приписываемых Альберту Великому: «Libellus de alchimia» / Translated from the Borgnet Latin ed., introdaction and notes by sister Virginia Heines, S.C.N... Berkeley —Los-Angeles, 1958. P. 58—60.

Между прочим, как раз в то время, когда создавались «Пестрые сказки», московским Цензурным комитетом было запрещено русское издание одного из медицинских сочинений Альберта Великого под названием «Секреты Великого Альберта». В заключении Отделения врачебных наук Московского университета, куда книга была направлена Цензурным комитетом, говорилось, что «находящиеся в оной статьи медицинского содержания, заключающие в себе лечение разных болезней, не соответствуют своей цели» (РГИА, ф. 777, оп. 1, ед. хр. 1167, № 40, л. 3—4).

Ниже говорится об «автомате» Альберта Великого: известно, что в кабинете ученого монаха в Кельне стоял сконструированный им робот — механическая голова, издававшая звуки. О необыкновенных способностях «куклы» Альберта ходили легенды, надолго пережившие и само творение, и его создателя (см., например: Великого Алберта наука распознавать людей. М., 1811. С. 111). Одна из таких легенд была, между прочим, пересказана Антонием Погорельским в «Двойнике, или Моих вечерах в Малороссии» (*Погорельский А.* Избранное. М., 1985. С. 85).

Близкая приятельница Одоевского писательница Е. П. Ростопчина, также остро интересовавшаяся мистикой, в шутку называла его «Albert le Grand» (см.: *Ростопчина Е.* Стихотворения. Проза. Письма. М., 1980. С. 340).

В библиотеке Одоевского находилось несколько редких изданий Альберта Великого (Каталог библиотеки В. Ф. Одоевского. № 1235—1237).

[5] *...пред лицо Миноса...* — В греческой мифологии — критский царь, один из трех сыновей Зевса и Европы, умерщвленный обманным путем; в Аиде он творил суд над умершими, держа в руках золотой скипетр.

[6] *...монах Бакон...* — Бэкон Роджер (ок. 1214—1292) — послушник ордена св. Франциска, ученый-алхимик, представитель оксфордской школы, придававшей первостепенное значение экспериментальным знаниям. Тем не менее изобретение пороха Одоевский приписывает Бэкону ошибочно: рецептура пороха в Европе была предложена позже — ок. 1330 г. (по другим сведениям — в 1313 г.), предположительно — Бертольтом Шварцом (XIV в.) (см.: *Блох М. А.* Хронология важнейших событий в области химии. Л.; М., 1940. С. 15). Уже по опубликовании «Пестрых сказок» вышла в свет в русском переводе книга Фридриха Кольрауша «Хронологическое и синхронистическое обозрение всемирной истории» (СПб., 1833). В сохранившемся ее экземпляре из библиотеки Одоевского

писателем отмечен следующий текст: «Изобретение пороха Бартольдом Шварцом. В сражении при Креси, 1346, впервые употребляются пушки» (с. 28). Здесь же — его помета: «1342 порох — по Кальвизию». (В настоящее время книга хранится в фондах Российской государственной библиотеки — см.: Каталог библиотеки В. Ф. Одоевского. М., 1988. № 424).

[7] *...сохранять уродов в Кунсткамере...* — Речь идет о петербургской Кунсткамере с ее уникальным собранием анатомических препаратов, купленным в 1717 г. Петром I у известного нидерландского анатома Фредерика Рюйша (Рейса) для музея редкостей в новой русской столице (см.: *Станюкович Т. В.* Кунсткамера в Петербургской академии наук. М.; Л., 1953. С. 36—47).

[8] *...открытие Арнольда де Виллановы, когда он пустил по миру алкоголь...* — Арнольд де-Вилланова (ок. 1235—1311) — испанский алхимик и теософ, один из прославленных врачей знаменитой салернской школы. Будучи новатором в области практической алхимии и перенеся алхимическую доктрину из металлического микрокосмоса в человеческий микрокосмос, он, в частности, в одном из специальных сочинений «De vinis» (Augsburg, 1483; Wien, 1542 и др. изд.) описал способ получения и перегонки виноградного вина (aqua vita) и раскрыл его целебные свойства. О целительной силе вина говорится также в известной поэме Виллановы «Салернский кодекс здоровья» — каноническом памятнике средневековой медицины (Салернский кодекс здоровья, написанный в четырнадцатом столетии философом и врачом Арнольдом из Виллановы / Пер. с лат. М., 1970. С. 11—13; гл. 10, 11, 14, 18, 51, 64, 66).

[9] *...если бы господин Бомбастус Парацельзий не вздумал открыть приготовления минеральных лекарств?* — Бомбастус Парацельзий — латинизированное имя Парацельс(ия) Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма (1493—1541) — знаменитого немецкого врача-естествоиспытателя, ученого-алхимика, особенно высоко ценимого Одоевским. В 1526 г. Парацельс в результате химических опытов получил ряд кислот и минеральных солей, примененных им в качестве медицинских препаратов — в частности при лечении сифилиса. Он является одним из создателей ятрохимии — направления в медицине, отводившего основную роль в возникновении болезней нарушениям химических процессов в организме и изыскивавшего химические средства их лечения. Ятрохимия сыграла значительную роль в борьбе с догмами схоластической средневековой медицины и просуществовала вплоть до второй половины XVIII в. (Подробнее см.: *Канонников И. И.* Алхимия и современная наука. Казань, 1886. С. 18—21).

В библиотеке Одоевского хранился рукописный список неизданного при жизни Парацельса трактата «Ключ, или Руководство к книгам Феофраста Парацельса»; в настоящее время — в фондах Отдела рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ, ф. 210, № 29, л. 116—139).

[10] *...если бы Брюс не написал своего календаря?* — В 1709 г. в Москве вышел гражданский календарь, содержащий помимо прочих данных различные астрологические предсказания. Он известен как «Брюсов календарь», поскольку авторство его связывали с Яковом Вилимовичем Брюсом (1670—1735), военным, государственным деятелем и ученым Петровской эпохи, слывшим в народе «чернокнижником». В действительности же календарь составил библиотекарь Василий Киприянов.

[11] *...antimonium Василия Валентина...* — Василий Валентин (XV или XVI в.) — псевдоним полулегендарного средневекового автора-алхимика, который выдавал себя сам или был выдан своим издателем за монаха XV в. (значение псевдонима вытекало из учения алхимиков о двух «благах», даровавшихся тому, кто владел «камнем мудрости»: власть (basilicus — «царственный») и сила (valens — «сильный»)). Будучи одним из самых мистических адептов западной алхимии, Василий Валентин тем не менее действительно известен обширными химическими познаниями и рядом открытий в области практической химии, в том числе им впервые описан способ получения сурьмы и изучены ее соединения, а также выявлены целебные свойства нашатыря, солей ртути и др.

Antimonium(*позднелат.*) — устаревшее название минерала сурьмяного блеска, или антимонита. Сурьме посвящено одно из специальных сочинений Василия Валентина: «Триумфальная колесница антимония» (Впервые опубл.: Currus triumphalis antimonii fratris Basilii Valentini. Tolosae, 1646; научн. изд. см.: *Basilius Valentinus.* The Triumphal Chariot of Antimony. London, 1893).

[12] *...Ars magna Раймонда Луллия...* — Раймонд Луллий (1235—1315) — францисканский монах, теолог, поэт, философ, ученый. Уже после его смерти, в XIV и XV вв., ему приписывали получение «философского камня». «Ars magna» («Великое искусство», опубл. в 1480) — основное сочинение Р. Луллия, оказавшее огромное влияние на его последователей-люллистов. Сложившаяся в особое направление люллистская наука не стремилась заменить собой все прочие отрасли знаний и не ставила своей целью сообщать фактические данные о действительных вещах. Задача ее состояла в ином: научить универсальному логическому методу. К позднему поколению люллистов кроме упоминающегося в «Пестрых сказках» Жана Бело (см. выше) принадлежал также, в частности, и Джордано Бруно (1548—1600) — философ, ученый, мистик, остро интересовавший в это время Одоевского. Он приписывал Бруно исключительное значение в истории философии и еще до создания «Пестрых сказок» задумал исторический роман «Иордан Бруно и Петр Аретино», оставшийся незавершенным (см.: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. — Писатель. М., 1913. Т. 1, ч. 2. С. 6—12; *Прийма Ф. Я.* О незаконченном романе В. Ф. Одоевского «Иордан Бруно и Петр Аретино» // Доклады и сообщения филол. ф-та Ленингр. гос. ун-та. Л., 1949. Вып. 1. С. 233—239; *Медовой М. И.* Роман В. Ф. Одоевского из эпохи итальянского Возрождения // Учен. зап. ЛГПИ. Т. 460. Филол. сб. [Л., 1970]. С. 46—64).

Люллианские сочинения, истолкованные как сочинения логико-риторические, в конце XVII—начале XVIII в. получили распространение и в России (см.: *Зубов В. П.* К истории русского ораторского искусства конца XVII—первой половины XVIII в. (Русская люллианская литература и ее значение) // Труды Отд. древнерусской литературы. М.; Л., 1960. Т. XVI. С. 288—303; *Горфункель А. Х.* Великая наука Раймунда Люллия и ее читатели // XVIII век. Сб. 5. М.; Л., 1962. С. 336—348).

[13] *...[тому свечку, другому свечку]...* — Эта фраза вписана Одоевским на полях в экземпляре «Пестрых сказок», хранящемся в Британской библиотеке со следующим разъяснением: «Этой прибавки не пропустила цензура» (см. также с. 170 наст. изд.).

[14] *...химик Беккер убил алхимию...* — Бехер Иоганн Иоахим (1635—1682) — известный немецкий химик; первым выдвинул химические признаки минералов, дал теорию состава тел и основание знаменитой теории флогистона (представление об особом начале горючести, содержащемся во всех телах), господствовавшей длительное время и опровергнутой лишь трудами Антуана Лавуазье (в 1772—1777 гг.).

[15] *железисто-синеродный потассий ~ кальций...* — Одно из соединений калия: железисто-синеродный калий, или калий гексацианоферроат (калий— от *нем.* kali, *франц.* potasse, *англ.* potash); в присутствии кислот и кислых солей (особенно при нагревании) медленно разлагается с выделением синильной кислоты. Историю открытий различных соединений калия см.: *Блох М. А.* Хронология важнейших событий в области химии (*по указателю*).

[16] *...водосинеродною кислотою ~ acide prussique...* — Синонимы синильной (цианистоводородной) кислоты.

[17] *Мефитический воздух* — зловонный, зараженный нечистотами (от лат. mephiticus — «удушливый»).

[18] *...знаменитыми науками, а именно: астрологическими ~ магическими.* — *Астрология* — возникшее в древности учение о связи между расположением небесных светил и историческими событиями, судьбами отдельных людей, народов.

Хиромантия — гадание по линиям ладони, позволяющее предсказать характер и судьбу человека.

Парфеномантия — древние способы определения девственности (например, у древних бретонцев — с помощью реакции на снадобье из толченого агата; у других народов — путем определения изменений толщины шеи девушки и др.).

Онеиромантическая наука — древнее гадание по снам.

Каббала — тайное учение, возникшее в иудаизме во II в. (по другой теории — в III в. до н. э.) и соединившее в себе мистическое, пантеистическое и теософское начала. Оно изложено в двух книгах: «Сияние» («Zohar»), приписываемое Симону бар Йохаю (издана Моисеем де Леоном в конце XIII в.) и «Книге творения» («Sefer jezirah», VI—VII вв.).

Первая из них основана на толковании Библии как мира символов. В период своего позднейшего развития каббала ассоциируется с магией, прорицаниями, колдовством, приближаясь по значению и смыслу к оккультным наукам и спиритизму (см.: *Franck A.* La Kabbale, ou la philosophie religieuse des Hébreux. Paris, 1889).

Магия — волшебство, колдовство, совокупность обрядов, связанных с верой в сверхъестественную способность человека воздействовать на людей, явления природы, «духов»; присуща обрядам всех религий.

19 *...философская калцинация, сублимация и дистилляция.* — Согласно учению средневековых философов, процесс зарождения и развития человека и всех животворящих существ в его философском осмыслении проходит шесть различных степеней: первая из них — кальцинация — есть совокупление, соединение мужского и женского начал (семени), важнейший момент зарождения жизни; сублимация — вторая степень, предполагающая внутриутробное развитие соединенных семян; дистилляция — пятая степень — окончательное оформление внутриутробного плода, когда Бог, помогая природе, вдыхает в нарождающееся существо бессмертную душу. Все шесть степеней в разных модификациях приложимы также к животному, растительному миру, к миру минералов и металлов; они, в частности, подробно описаны в цитируемой выше Одоевским книге Исаака Голланда «Рука философов», где, в противоположность софистам и «ложным алхимистам», утверждается, что эти шесть степеней «должно разуметь... философически: ибо кальцинация, сублимация, солюция, путрефакация, дистилляция, коагуляция настоящих философов делается в одном сосуде, как и они о том пишут» (с. 306). Описание тех же степеней содержится и в «Libellus de alchimia» Альберта Великого (с. 40—48).

20 *...проиграл 12 робертов...* — Роберт, или робер — в английской карточной игре вист несколько партий, составляющих как бы одну, по расчету.

21 *...принялся рассказывать ему: о походе Наполеона в 1812 году...* — Ср. с фрагментами «Бабушка, или Пагубные следствия просвещения» (см. с. 102 и с. 195, примеч. 2 наст. изд.).

22 *...об убиении Димитрия царевича...* — имеется в виду широко распространенная версия о насильственной смерти сына Ивана Грозного Дмитрия Ивановича (1582—1591), убитого якобы в Угличе по приказу Бориса Годунова, опасавшегося соперничества царевича в борьбе за трон.

23 *...о монументе Минину и Пожарскому...* — Памятник, установленный в 1818 г. в Москве (первоначально — в центре Красной площади); скульптор — И. П. Мартос (1754—1835).

24 *...Нестор списал свою летопись у Григория Арматолы...* — (точнее: Амартол). В «Повесть временных лет», приписываемую летописцу Нестору (XI—нач. XII вв.), включены фрагменты византийской хроники IX в., составленной монахом Георгием по прозвищу Амартол («безгрешный»).

25 *Коломна* — в начале 1830 гг. окраина Петербурга на правом берегу р. Фонтанки, у слияния ее с Екатерининским каналом (ныне канал Грибоедова).

26 *Шандал* — старинное название подсвечника.

27 *...атомистическою химиею...* — Как раз в период создания «Пестрых сказок» Одоевский усиленно занимался химией под руководством известного химика Г. И. Гессе, последовательного поборника атомистической теории. 10 июня 1833 г. писатель сообщал естествоиспытателю М. А. Максимовичу: «Может быть, вы слышали уже, что я теперь прилежно занимаюсь естественными науками и в особенности химиею; я здесь весь прошедший год брал уроки у академика Гессе (ужасного атомистика, но того-то мне и надобно было) с целию написать „Народную химию". Образчик моей работы, „Краткое понятие о химии, необходимое для свечных мастеров", можете прочесть во 2-й книжке „Журнала общеполезных сведений"» (Киевская старина. 1883. № 4. С. 843—844). Тем не менее Одоевский принимал атомистическую теорию с известными оговорками (подробнее см.: *Вигинский В. С.* В. Ф. Одоевский. Естественнонаучные взгляды. 1804—1869. М., 1975. С. 73—74). В личной библиотеке писателя хранились как книга самого Гессе «Основания чистой химии» (В 2 ч. СПб., 1831—1832), так и труд популярного в России шведского последователя атомистики И. Я. Берцелиуса «Руководство к разложению неорганических тел» (СПб., 1833 — см.: Каталог библиотеки В. Ф. Одоевского. № 192, 54).

28 *«Суета, суета все замыслы человеческие»* — перефразированный стих из «Книги

Екклезиаста, или Проповедника»: «Суета сует, сказал Екклезиаст, суета сует, — все суета!» (гл. 1, стих 2).

[29] *Нарахтиться, или норохтиться* — собираться сделать что-либо, хотеть, стремиться к чему-либо.

[30] *...энтомологи ловят мошек...* — Энтомология — раздел зоологии, изучающий насекомых.

[31] *Юфть, или юхть* — выделанная особым способом кожа быка или коровы, употреблявшаяся, в частности, для книжных переплетов.

[32] *...с путешествиями капитана Парри...* — Уильям Эдвард Парри (1790—1855) — английский полярный исследователь, открывший несколько островов и проливов Канадского Арктического архипелага. В 1827 г. предпринял попытку достичь Северного полюса.

[33] *...на дороге я встретился с пауком, мертвым телом, колпаком, Игошею...* — Перечисляются сюжеты последующих «Пестрых сказок»: «Жизнь и похождения одного из здешних обывателей в стеклянной банке, или Новый Жоко», «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем», «Просто сказка», «Игоша».

СКАЗКА О МЕРТВОМ ТЕЛЕ, НЕИЗВЕСТНО КОМУ ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ

[1] Эпиграф — из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

[2] *...в рубашке красной пестрядинной...* — Пестредь (или пестрядь), пестредина — пеньковая грубая ткань, как правило, пестрая или полосатая.

[3] *...в выморочной избе...* — Изба, пустующая после смерти владельца, не имеющего наследников.

[4] *Заклет* — *фолькл.*: «подвал, погреб».

[5] *Подьячий с приписью* — подьячий, скрепляющий бумаги своей подписью.

[6] *...таинственных символов этой Сивиллиной книги...* — Тайные книги пророчеств, купленные, согласно преданию, в VI в. до н. э. римским царем Тарквинием Приском у известной в Древнем Риме прорицательницы Сивиллы Кумской. Здесь употреблено в ироническом смысле.

[7] *Святки* — время от Рождества до Крещения, один из наиболее чтимых в народе праздников.

[8] *Камчатное одеяло* — одеяло из узорчатой льняной ткани, напоминающей орнаментом камку́ — шелковую китайскую ткань с разводами.

[9] *...оскоромил своего учителя в самую Страстную пятницу...* — заставил нарушить Великий пост в предпоследний (один из самых строгих) день перед Пасхой.

[10] *...читал Апостол в приходской церкви...* — Апостол — богослужебная книга греко-российской церкви, содержащая в себе деяния и послания апостольские и предназначенная для чтения в церкви при богослужении.

[11] *...чин губернского регистратора...* — в официальной «Табели о рангах», действовавшей в России, такого чина не существовало. Очевидно, здесь речь идет не о чине, а о должности губернского регистратора (помощника главного регистратора в губернских правлениях), соответствовавшей низшему гражданскому чину коллежского регистратора (14-й класс). Употребленное Одоевским определение чина Севастьяныча отражает, возможно, тот факт, что на практике за некоторыми классами чинов закрепились названия наиболее известных и постоянно существовавших должностей (См.: *Шепелев Л.Е.* Титулы, мундиры, ордена. Л., 1991. С. 116—118; Русские писатели. Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 661—663).

[12] *...примется рассказывать о Бове Королевиче, о похождениях Ваньки Каина, о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим...* — Упоминаемые здесь сюжеты, широко бытовавшие в лубочной литературе, характеризуют круг низового чтения героя Одоевского.

Бова Королевич — герой одного из популярнейших в средневековой Европе, а затем

и в России литературных сюжетов. Начиная с XVIII в. в многочисленных лубочных изданиях и переработках «Повесть о Бове Королевиче» сближается с традицией народной сказки и воспринимается как народная книга о русской сказочной старине. Сюжетом ее воспользовались в своих незавершенных поэмах «Бова» А. Н. Радищев и А. С. Пушкин.

Ванька Каин — герой известного в свое время лубочного романа М. Комарова «Обстоятельное и верное описание добрых и злых дел российского мошенника, вора и разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина, всей его жизни и странных похождений» (СПб., 1779). В основу повествования положена подлинная автобиография знаменитого своими «подвигами» разбойника Ивана Осипова, по прозвищу Каин. В черновиках Одоевского сохранилась не оконченная «простонародная драма» «Ванька Каин» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 7, л. 14—18, автогр.; 19—26, копия), в которой намечена, в частности, перекличка некоторых сюжетных коллизий с романом М. Комарова: у Одоевского действие также разворачивается в Москве; в отрывке «Темный погреб» герой Ваня, как и его литературный прототип, за какую-то провинность сидит на цепи в погребе, без воды и хлеба — и его тоже тайком навещает девушка Параша (Ср.: Обстоятельное и верное описание... Ваньки Каина, всей его жизни и странных похождений. С. 9).

Любопытно, что В. Н. Семенов, цензуровавший «Пестрые сказки», вскоре после этого (6 мая 1833 г.) адресовался в С.-Петербургский Цензурный комитет с донесением о необходимости запрещения поступившей к нему на рассмотрение в связи с переизданием книги «Обстоятельные и верные истории двух мошенников Ваньки Каина и Картуша». Свое решение он обосновал тем, что «сочинение сие по духу своему, содержанию и нравственному влиянию на умы того непросвещенного класса читателей, для коих назначено, должно приносить вред очевидный, ибо заключает в себе ясную и подробную теорию всякого рода плутней и воровских уловок...». Мнение это нашло поддержку Главного управления цензуры и председателя его кн. М. . Дондукова-Корсакова: книга была включена в список запрещенных (См.: РГИА, ф. 777, оп. 1, д. 1177, № 35).

...о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим... — Речь идет об одном из наиболее популярных сочинений русской паломнической литературы «Трифона Коробейникова, московского купца, с товарищи, путешествие во Иерусалим, Египет и к Синайской горе в 1583 году», изданной в Петербурге в 1783 г. В. Г. Рубаном и в дальнейшем неоднократно переиздававшейся. О высоком авторитете «Путешествия» (по другим спискам и изданиям — «Хождения Трифона Коробейникова») свидетельствует и тот факт, что оно включалось — иногда целиком — в «хронографы» и другие религиозные сборники и помещалось между «житиями святых». Позже, в 1884 г., И. Е. Забелиным было установлено, что Трифон Коробейников воспользовался более ранними записками Василия Познякова, путешествовавшего в Иеусалим в 1558—1561 гг. Трифон же Коробейников совершил свое паломничество с посольством купца Ивана Матвеевича Мишенина, отправленного в 1582 г. Иваном Грозным с милостыней в Царьград и на Афонскую гору об упокоении души царевича Ивана Ивановича (См.: *Лопарев Х. М.* Хождение Трифона Коробейникова // Православный Палестинский сборник. СПб., 1888. Т. IX. Вып. 3. С. I—XXXVIII; *Лебедев Д. М.* Очерки по истории географии в России XV и XVI веков. М., 1956. С. 157—164). Экземпляр «Путешествия» московского издания 1830 г. находился в личной библиотеке Одоевского (Каталог библиотеки В. Ф. Одоевского. М., 1988. № 843).

13 *...взяли город Трою ~ а Царьград уступили туркам!* — Характерный для Одоевского пример трансформации низовым народным сознанием легенд гомеровского эпоса (Троянская война) и подлинного исторического события — взятия в 1453 г. турками Константинополя (Царьграда).

14 *Гнилое море* — русское название Сиваша (*тюрк.*), залива Азовского моря.

15 *...процессия погребения кота...* — Сюжет популярной лубочной картинки, изображавшей, как мыши хоронили кота.

16 *...палаты царя Фараона внутри все вызолоченные...* — Эти сведения также явно почерпнуты из «Путешествия» Коробейникова — из его описаний Египта: «Между прочими зданиями видны неподражаемого великолепия остатки палат царя Фараона, кои были сделаны наивысочайшие из диких камней величины же необъятной, внутри и снаружи вызолоченные» (Путешествие московского купца Трифона Коробейникова с товарищи во Иерусалим, Египет и к Синайской горе.... М., 1830. С. 99).

[17] *Птица Строфокамил* (*церк.-слав.* струфокамил, от *лат.* struthio camelus) — страус. Название укоренилось в России в эпоху Петра I. Пространное описание строфокамила оставил, например, известный церковный деятель XVII в. Арсений Суханов в записках о своем путешествии на Восток («Проскинитарий» Арсения Суханова / Под ред. Н. И. Ивановского // Православный Палестинский сборник. СПб., 1889. Т. VII. Вып. 3. С 34—35). Однако описание Одоевского почти текстуально совпадает с другим источником — все тем же «Путешествием» Трифона Коробейникова: «Еще около монастыря (Синайского. — *М. Т.*) есть птицы, называемые Строфокамилами, которые, будучи высотою по плечо стоящего человека, имеют утиную голову, ноги с раздвоившимися копытами <...> и когда кто их чем-либо раздражит, тогда они, ухвативши копытом камень, уязвляют озлобивших их» (Путешествие московского купца Трифона Коробейникова.... С. 144—145).

[18] *—Вы от суда вызываете владельцев ~ это тело мое.* — Сходная идея отчуждения человека от своей телесной оболочки намечена Одоевским и в маленьком отрывке под названием «Новая глава Гулливерова путешествия», сохранившемся в его черновиках и записанном на том же листе, что и первоначальный план «Пестрых сказок»: «Вместо осязания люди обвертывают предметы своею кожею; для зрения отправляют зрачки и оттого зрачки сталкиваются и происходят другие неудобства; для слуха барабанчик летает взад и вперед и принимает только по одному звуку с одного инструмента; для вкуса маленькие пузырьки облепливают кушанья; для обоняния вояжирует нос — тогда только эти люди и наслаждаются, когда у них нет ни глаз, ни носа, ни ушей — и этим хвалятся; их рауты. Их зависть и недоверие к рассказываемому о нашей земле» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 20, л. 82). По предположению П. Н. Сакулина, мотивы этого отрывка, навеянные Свифтом, отражены также в концовке «Жизни и похождений одного из здешних обывателей в стеклянной банке, или Нового Жоко» (*Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма... Т. 1. Ч. 2. С. 30, примеч. 1).

[19] *— Все можно-с ~ подмазать немного...* — Социально-правовой аспект темы «мертвого тела» как предмета сомнительных и корыстных манипуляций местных чиновников с неопознанными трупами или телами умерших неестественной смертью, зафиксирован и в фольклоре. Этот мотив был развит и в литературной традиции — в частности, у Некрасова и в «Былом и думах» Герцена (см.: *Чистов К. В.* Ирина Андреевна Федосова. Петрозаводск, 1988. С. 181—184).

[20] *Бистурий*, или бистури́ (от *фр.* bistouri) — хирургический нож.

ЖИЗНЬ И ПОХОЖДЕНИЯ ОДНОГО ИЗ ЗДЕШНИХ ОБЫВАТЕЛЕЙ В СТЕКЛЯННОЙ БАНКЕ, ИЛИ НОВЫЙ ЖОКО

[1] *Граф Хвостов*, Дмитрий Иванович (1757—1835)— русский писатель, автор эпигонских классицистских произведений. Эпиграф представляет собой начало Песни третьей «Науки о стихотворстве» Буало в переводе Хвостова, неоднократно (начиная с 1808 г.) переиздававшемся с последующей переработкой текста. Одоевский цитирует по изд.: Наука о стихотворстве в четырех песнях. Сочинение г. Боало, переведенное стихами с подлинника графом Хвостовым 1804 года. СПб., 1824. С. 37.

Сочинения Хвостова постоянно цитировались в пародийных целях как примеры алогизма (галиматьи); цитация Одоевского также имеет пародийный характер. Точный перевод стихов Буало: «Нет ни змеи, ни отвратительного чудовища, которые не могли бы быть приятны для глаз, будучи воспроизведены (искусством)».

[2] *...от рода древнего и знаменитого Арахнидов или Аранеидов...* — *Арахниды* (arachnida) — класс паукообразных; *аранеиды* (aranei) — отряд пауков. Греческие и латинские корни этих слов восходят к мифологическим представлениям: Арахна (*греч.* — «паук»)— в греческой мифологии дочь Идмона — красильщика тканей в Лидии (отсюда: лидийская жена), искусная вышивальщица и ткачиха, дерзнувшая вызвать на состязание в искусстве ткачества и вышивания богиню Афину (Минерву). Не вняв предупреждениям о необходимости смирения перед богами, Арахна была превращена Афиной в паука, обреченного вечно висеть на паутине и прясть свою пряжу. Характерно, что этот миф — один из наиболее редко встречающихся в европейском искусстве.

[3] *...творения Элиана...* — Элиан Клавдий (ок. 170 —ок. 230) — римский философ и писатель, творивший на греческом языке. В частности, автор сборника «Пестрые рассказы» и сочинения «О природе животных». В последнем из них говорится: «Я сам слышал, что, когда крокодил умирает, из него рождается скорпион; говорят, что у него на хвосте есть жало, наполненное ядом» (*Aeliani Claudii.* De natura animalium. II, 33. Пер. Л. Ю. Меньшиковой. Выражаю ей сердечную благодарность за помощь в подготовке этого и трех последующих комментариев).

[4] *Аристотель описывал ~ битвы с ящерицами...* — Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ и ученый, автор ряда биологических трактатов. Битвы пауков с ящерицами описываются в его сочинении «История животных»: «Существует война между стеллионом (звездчатая ящерица) и пауком: ведь стеллион пожирает пауков». «Ведь также он (паук) на маленьких ящериц нападает и их обходит, а изо рта нити выпускает, пока не свяжет добычу, тогда, подступая, кусает» (*Aristotelis.* De animalibus histotiae. IX, 1, 5; IX, 39, 70. Пер. Л. Ю. Меньшиковой).

[5] *Демокрит уверял, что мы употребляем наши сети, как дикобраз свои иглы...* — Демокрит (460—370 до н. э.) — древнегреческий философ. Принадлежащее ему сравнение пауков с дикообразами, о котором идет речь, дошло до нас в пересказе Аристотеля: «Пауки, только что рожденные, могут выпускать паутину не из внутренних частей, подобно экскрементам, как говорит Демокрит, но с самого тела, как скорлупу, подобно тому, как сбрасывают иглы дикообразы» (Цит. по: Aristotelis opera omnia. Graece et latine cum indice nominum et rerum absolutissimo. V. I—V. Parisiis, 1848—1874. Vol. III. 1854. IX, 39, 7. Пер. Л. Ю. Меньшиковой). В авторитетном русском переводе этого текста, предпринятом С. Я. Лурье, это сравнение отсутствует: оно заменено на другое — со свиньей. Однако в примечании переводчик специально оговаривает эту произвольную замену, обосновывая ее смысловой неясностью рукописных вариантов этого отрывка и частичной поврежденностью текста; опираясь на общий смысл, он решился исправить аристотелевский текст и произвел в своем переводе указанную замену (См.: *Лурье С. Я.* Демокрит. Л., 1970. С. 347). Здесь же Лурье приводит два других известных перевода этого отрывка — Виммера и Альфиери, где фигурирует дикообраз; текст Одоевского по смыслу наиболее близок к последнему из них (см.: там же. С. 539, 544, примеч. 4).

[6] *...Плиний свидетельствовал ~ прежде его рождения...* — Речь идет о Плинии Старшем (23—79) — древнегреческом писателе и ученом, авторе многотомной «Естественной истории», где, в частности, говорится о нескольких средствах, вызывающих выкидыш или преждевременные роды; одно из них, стимулирующее менструальные очищения, связано с препарированными пауками (см.: *Plinius.* Historia naturalis. XXX, 129).

[7] *Nymphae oviformes* (*лат.*) — яйцевидная личинка — кокон на брюшке самки, в котором некоторые виды пауков вынашивают потомство.

[8] *...к славной фамилии Ктенизов...* — Ктенизид — в систематике название семейства пауков-птицеядов.

[9] *...отец мой назывался Ликос...* — Ликос (греч. — «волк»); речь здесь идет о надсемействе пауков licosoidea — крупной систематической единице, в которую входят в числе прочих семейства ctenizidae и lycozidae, т. е. собственно пауки-волки.

[10] *Вереи* — здесь: столбы, на которые навешиваются ворота.

[11] *...моя повесть не ужаснее ли повести Эдипа, рассказов Энея?* — Миф об Эдипе, сыне фиванского царя Лая и Иокасты, которому оракул предрек судьбу отцеубийцы. Пророчество сбылось: выросший на чужбине и не знавший о своем происхождении Эдип во время скитаний убил, не подозревая, в дорожной схватке отца и женился затем на собственной матери, родившей ему четверых детей. Когда спустя двадцать лет ужасная тайна открылась, Иокаста повесилась, а Эдип выколол себе глаза и был изгнан из Фив.

Под «ужасными» рассказами Энея Одоевский подразумевает, очевидно, один из поздних вариантов мифа об этом троянском герое, бежавшем из разоренной Трои и проведшем долгие годы в скитаниях. Эта версия отражена в «Энеиде» Вергилия.

[12] *Слушайте ж, гордые люди! ~ исполины не замечают.* — См. примеч. 18 к «Сказке о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем» — с. 180 наст. изд.

СКАЗКА О ТОМ, ПО КАКОМУ СЛУЧАЮ КОЛЛЕЖСКОМУ СОВЕТНИКУ ИВАНУ БОГДАНОВИЧУ ОТНОШЕНЬЮ НЕ УДАЛОСЯ В СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ НАЧАЛЬНИКОВ С ПРАЗДНИКОМ

1 *Светлое воскресенье* — первый день Пасхи.

2 *«Во светлой мрачности...» Кн. Шаховской.* — Источник цитаты в эпиграфе установить не удалось.

3 *...на партию бостона...* — Бостон — очень распространенная в конце XVIII—первой половине XIX в. карточная игра. Названа по городу Бостону в Америке, откуда и была вывезена в Европу.

4 *Аннинский крест* — орден св. Анны.

5 *...заходить в кабинет восковых фигур или в зверинец...* — В 1830-е гг. эти и другие увеселительные заведения Петербурга располагались на углу Большой Морской ул. и Кирпичного пер. Здесь, в частности, находились зал «физионотипа», или «Музей современников», экспонировавший восковые скульптурные изображения, а также зверинец г-жи Турниер. В прилегающем к этому участку доме Косиковского (современный адрес: Большая Морская, д. 14) были театр механических кукол, косморама, диорама, выступали бродячие актеры.

6 *Страстная суббота* — последний день Великого поста перед Пасхой.

7 *...шесть в сюрах ~ мизер уверт...* — Здесь и далее — термины в бостоне: *сюры* — козыри; *мизер* — игра без взяток; *мизер уверт*, или «открытая бедность», — один из вариантов открытой игры без взяток; *ремиз* — недобор взятки; *пулька* — ставка; *пароль* — удвоение выигранной ставки.

8 *Заутреня*, или утреня (первое название — общенародное, второе принято в церковно-богослужебных книгах), — одно из богослужений суточного круга в православной церкви, совершаемое утром. Заутреня бывает вседневная и праздничная — к последней присоединяются так называемый «полуелей» и «великое славословие».

9 *Сивиллин треножник* — треножник, на котором прорицательница Сивилла приходила в экстатическое состояние.

10 *Обедня* — народное название литургии (от слова «обед» — на том основании, что литургия совершается до обеда).

11 *Разговеться* — по прошествии поста впервые поесть скоромную пищу.

12 *...на фризовых и камлотных шинелях...* — *Фриз* — толстая ворсистая байка; *камлот* — суровая шерстяная ткань.

13 *...сочинителя «Открытых таинств картежной игры».* — Имеется в виду изданная анонимно книга «Жизнь игрока, описанная им самим, или Открытые хитрости карточной игры» (В 2 т. М., 1826—1827).

14 *...загибали на них углы, гнули их в пароль...* — Чтобы удвоить ставку, понтер загибает на карте один угол.

ИГОША

1 *Постромки* — деталь конской упряжи (ремень или веревка).

2 *...на завражке...* — Здесь: на краю оврага, обрыва; *заврa жье* — часть селения, расположенная за оврагом.

3 *Отрушить*— отрезать или откроить что-либо.

4 *Летось* — здесь: в прошлом году, прошлым летом.

5 *...лошадей бережет, гривы им заплетает...* — Согласно народному поверью, домовой «лошадям, которых любит, заплетает на гриве косы и подкладывает сено» (*Чулков М.* Словарь русских суеверий. СПб., 1782. С. 157).

[6] *Шлея*— часть конской упряжи, круглый широкий ремень, прикрепленный двумя концами к хомуту и огибающий все туловище лошади.

[7] *Валежки* — здесь: кожаные рукавицы.

[8] *...надела коленкоровый чепчик...* — Коленкор — тонкое хлопчатобумажное полотно.

[9] *...канифасную кофту...* — Канифас — старинное название льняной полосатой ткани.

ПРОСТО СКАЗКА

[1] *Галлер прежде меня... Жан-Поль Рихтер.* — Жан-Поль — псевдоним немецкого писателя Иоганна Пауля Фридриха Рихтера (1763—1825), автора романов и повестей политического и философского содержания. Эпиграф взят из парижского сборника 1829 г. «Pensées de Jean-Paul, extraites de tous ses ouvrages» («Мысли Жан-Поля, извлеченные из всех его произведений»), который, между прочим, цитирует и Пушкин в своей «Барышне-крестьянке». В. Г. Белинский отмечал, что произведения Одоевского «по своему духу и форме» близки Жан-Полю (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. VIII.С. 309).

Галлер Альбрехт фон (1708—1777) — швейцарский естествоиспытатель, врач и поэт; один из основоположников экспериментальной физиологии. В 1776 г. был избран иностранным почетным членом Петербургской академии наук.

[2] *...как Киприда из морской пены...* — Киприда — одно из имен богини любви и красоты Афродиты. Согласно поздней версии ее происхождения, богиня появилась из морской пены вблизи Кипра (отсюда — Киприда).

СКАЗКА О ТОМ, КАК ОПАСНО ДЕВУШКАМ ХОДИТЬ ТОЛПОЮ ПО НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ

[1] *Manuel pour la conversation, par madame de Genlis* — *Жанлис,* Мадлен Фелисите Дюкре де Сент Обен (1746—1830) — французская писательница, пользовавшаяся в свое время большой популярностью, в том числе и в России. Помимо широко читавшихся сентиментально-нравоучительных романов из жизни светского общества получили известность и книги, специально написанные Жанлис для детей герцога Орлеанского, которых она воспитывала в начале 1780-х гг. Возвращенная Наполеоном из эмиграции во Францию (1801), обучала и его правилам «хорошего тона». *Manuel pour la conversation* («Руководство к беседе») — вероятно, одно из сочинений Жанлис по светской этике, однако название его, возможно, передано Одоевским не вполне точно: под этим титулом разыскать его в известных библиографиях произведений писательницы не удалось.

В черновом наброске, озаглавленном «Мысли, родившиеся при чтении Пестрых сказок г. Гомозейки, изданные г. Безгласным», Одоевский иронически сравнивает произведения новой литературы, наводненные отцеубийцами, ворами, картежниками, с романами госпожи Жанлис (см. с. 86 наст. изд.). О его критическом отношении к традициям сентиментально-нравоучительного романа подробнее см.: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма... Т. 1. Ч. 2. С. 31, примеч. 2).

[2] *...светятся парообразные дымки...* — Дымка — прозрачная реденькая шелковая ткань.

[3] *Блонда,* или блонды — шелковые кружева.

[4] *...пробило тринадцать часов...* — Один из черновых набросков в архиве Одоевского, представляющий собой начало предполагавшегося продолжения повести «Косморама», озаглавлен «Тринадцатый час» и открывается словами: «Между полуночью и часом утра проходит странное время, не замечаемое земными часами, но которое ощущается душою, ибо она в этот чудный час проживает века» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, № 20, с. 110).

[5] *Марина баня* — от слова «мара» (общее значение в европейской и славянской мифологии — «злой дух»); в некоторых областях России (например, Воронежская губ.) «марами» именовались женщины, занимавшиеся колдовством: они собирали по ночам травы, варили их в горшке и с появлением пара якобы уносились в трубу (см.: Русский

народ: Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. М. Забылиным. М., 1880. С. 239). Здесь, очевидно, сосуд с колдовским зельем.

[6] *Реторта* — здесь: сосуд для перегонки жидкости.

[7] *Честерфильдовы письма* — Честерфилд Филип Дормер Стенхоп (1694—1773) — английский писатель. Наиболее известны его «Письма к сыну» (1774), которые содержат наставления и рекомендации в духе просветительских идей. «Письма» служили своеобразной программой великосветского воспитания.

Примечательно, что в архиве Одоевского сохранился набросок, озаглавленный «Письма отца к сыну, содержащие в себе нравственные наставления о семейных обязанностях и должностях и о том, как молодому человеку должно вести себя в свете, чтобы предохранить себя от вредных заблуждений и опасностей, коим подвергается неопытный ум, избранные из действительно бывшей переписки и издаваемые для пользы отцов и матерей семейств и в особенности детей их». В предисловии сказано: «Сии письма никогда не предполагались быть напечатанными; они действительно были писаны одним почтенным родителем к своему единственному сыну, находившемуся в Петербурге, весьма достойному молодому человеку, которого преждевременная кончина повергла во гроб его родителя и доныне оплакивается всеми знавшими его» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 21, л. 83—92).

[8] *Контраданс*, или контрданс (от *англ.* country dance — сельский танец), — бальный танец, восходящий к английскому народному танцу, в котором группы танцующих, сменяя друг друга, повторяют одни и те же движения. Сравнительная легкость и общедоступность контраданса привели к возникновению его разновидностей: кадрили, экосеза, котильона, англеза и др.

[9] *Письмовник* — книга, содержащая правила и примеры для написания писем и различных деловых бумаг.

[10] *Копчик*, или кобчик, — птица семейства соколиных, серо-голубого оперения с коричневыми пятнами.

[11] *...она отвечала ему италиянскою руладою...* — Отрицательное отношение Одоевского к новейшей итальянской музыке, о которой он позже писал как о музыке «изнеженной, полубольной, постоянно ложной, рассчитанной на акробатство голоса», сложилось рано и оказалось устойчивым на протяжении всей жизни (см.: *Одоевский В. Ф.* Музыкально-литературное наследие. М., 1956. С. 60—61, 314—315).

ТА ЖЕ СКАЗКА, ТОЛЬКО НА ИЗВОРОТ

[1] *Эпиграф* — взят из 2-й части «Страданий юного Вертера» И. В. Гете; приведен по изд.: *Гете И. В.* Страдания Вертера / С нем. Р. <Н. М. Рожалин>. М., 1828. Ч. 2. С. 17.

Николай Матвеевич *Рожалин* (1805—1834) — переводчик, знаток немецкой литературы и философии, член Общества любомудров, друг Одоевского.

[2] *...страсбуржская колокольня считает перед ним время...* — Страсбургская колокольня принадлежит одному из знаменитых готических соборов Франции — Нотр-Дам в Страсбурге (XI—XVI вв.). Здесь, очевидно, речь идет о бронзовых часах, представляющих собой копию архитектурного творения.

[3] *...Рафаэль и Корреджио...* — *Рафаэль* (Рафаэлло Санти, 1483—1520); *Корреджо* Антонио Аллегри (ок. 1489—ок. 1534) — великие живописцы итальянского Возрождения, пользовавшиеся в это время в России едва ли не равной известностью и любовью. О «нежном, чувствительном Корреджо» писал Н. И. Гречу Пушкин (письмо от 4 дек. 1820 г.) // *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 21).

[4] *Когда выйдут из обыкновения ~ ложиться спать в 10?* — Этот иронический выпад Одоевского против обывательских представлений о «приличиях» и нормах жизненного уклада и поведения имеет более широкий контекст, подразумевающий также и резкое неприятие европейского буржуазного «систематизма», оказывающего, по мысли писателя, пагубное влияние на русское национальное сознание (см. письмо Одоевского М. П. Погодину 1831 г. — с. 135 наст. изд.). Эти идеи получили в дальнейшем у него широкое развитие.

[5] *...вы не знаете его важной части ~ гостиных!* — В одной из алфавитных записных тетрадей Одоевского есть следующая запись: «Гостиные. Надобно входить в жизнь гостиных, как врач рассекает труп, дабы узнать внутреннее его устройство и употребить смерть для жизни; но не для удовольствия резать и жить с окровавленными остатками человека» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, № 38, л. 7).

[6] *...их Озириса и Тифона...* — *Озирис*, или Осирис, — в египетской мифологии бог производительных сил природы, научивший людей земледелию, садоводству, виноделию и называемый в древних текстах «живой водой»; царь и судья загробного мира. *Тифон* — в греческой мифологии одно из чудовищ, сын Геи и Тартара, побежденный Зевсом. В антитезе Одоевского Осирис олицеворяет животворящее начало пользы, добра и справедливости, Тифон же — злые, темные силы.

[7] *Анжело* — вероятно, итальянский художник Раннего Возрождения Анжелико (Фра Джованни да Фьезоле, ок. 1400—1455), чье искусство отмечено одухотворенной красотой и светлым лиризмом.

[8] *...аккорды Моцарта и Бетговена и даже Россини...* — О Моцарте Одоевский восторженно писал уже в 1825 г., назвав в печати его оперу «Дон-Жуан» произведением, «которому до сих пор еще нет подобного в музыкальном мире». Восхищался он и гением Бетховена, очень рано оценив новаторский характер музыки великого вéнца и став одним из первых пропагандистов его творчества в России. Писатель считал, что наряду с Бахом и Моцартом Бетховен открыл «новую эпоху передового движения в музыке». Его новелла «Последний квартет Бетховена» (1831) — одна из первых в мировой «бетховиане» интерпретаций личности и творчества композитора.

Несмотря на то что увлечение «итальянским мишурным празднозвучием» в России Одоевский называл болезнью, «россинизмом» и в разгоревшейся в середине 1820 гг. полемике между «моцартистами» и «россинистами» безоговорочно встал на сторону первых, он все же выделял Россини из числа прочих итальянских композиторов, признавая за ним «редкий, свыше вдохновенный дар мелодии» (*Одоевский В. Ф.* Музыкально-литературное наследие. С. 58—61, 92—93, 645—648; *Алексеев М.* Бетховен в русской литературе // Русская книга о Бетховене. М., 1927. С. 158—161).

[9] *...гостиная как женщина, о которой говорит Шекспир ~ доказывать сызнова!* — Какие именно слова Шекспира имеет в виду Одоевский, неясно; формулы подобного рода встречаются в нескольких произведениях драматурга.

[10] *...лукавый дернул меня тиснуть ~ в одном альманахе...* — Речь идет о «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту».

[11] *...не хуже моего Ивана Севастьяныча Благосердова...* — Одоевский упоминает приказного из «Сказки о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем».

ДЕРЕВЯННЫЙ ГОСТЬ, ИЛИ СКАЗКА ОБ ОЧНУВШЕЙСЯ КУКЛЕ И ГОСПОДИНЕ КИВАКЕЛЕ

[1] *...прародитель славянского племени ~ славянской отчизны — Индии...* — Эти представления Одоевского связаны с развитием индоевропеистики, основы которой как раздела сравнительно-исторического языкознания были заложены в начале XIX в., хотя идеи о сходстве и даже родстве отдельных лексических и других языковых форм высказывались и раньше. Решающим для зарождения индоевропеистики явилось открытие санскрита и установление сходства между ним и рядом европейских языков, в том числе и славянских (2-я пол. XVIII в). Это повлекло за собой и увлечение древнеиндийской культурой; наиболее ярким его отражением явилась книга знатока санскрита Фридриха Шлегеля «О языке и мудрости индийцев» (1808).

Острый интерес Одоевского к этой проблеме обозначился еще в начале 1820-х гг. Он отразился, в частности, в его ранних апологах, многие из которых представляют собой перевод или пересказ «Панчатантры» («Радуга — Цветы — Иносказания», «Санскритские предания», «Переход чрез реку, или Приключения брамина Парамарты», «Тени праотцев» и др.).

Ниже говорится о «славянском языке, который иностранцы называют санскритским».

[2] *...вдохнул ей искусство страдать и мыслить...* — Парафраза из «Элегии» Пушкина («Безумных лет угасшее светило...»): «Но не хочу, о други, умирать; Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...». Эта цитация свидетельствует о том, что «Элегия» была известна Одоевскому в рукописи: написанная в 1830 г., она появилась в печати лишь в 1834 г. в «Библиотеке для чтения» (т. 6).

[3] *...в безбрежной стране Эфира...* — *Эфир* — в греческой мифологии сын Эреба и Ночи, происшедших от Хаоса, одно из олицетворений первичных мирообразующих потенций. В физическом понимании, а также в некоторых мифопоэтических концепциях это — бесконечное и пустое мировое пространство.

[4] *Эпилог* —см. с. 184, примеч. 1.

ДОПОЛНЕНИЯ

ОТРЫВОК ИЗ ЗАПИСОК ИРИНЕЯ МОДЕСТОВИЧА ГОМОЗЕЙКИ

Впервые опубл.: «Библиотека для чтения». 1834. Т. II. С. 192—211. Подпись: В. Безгласный.

Первоначально рассказ — очевидно, в качестве вставной новеллы — предназначался для «Жизни и похождений Иринея Модестовича Гомозейки...» (см. с. 98 наст. изд.). Затем практически без изменений он был включен в «Сочинения» 1844 г., в раздел «Опытов рассказа о древних и новых преданиях» (Ч. III. С. 141—166) с неверной датой: «1835 г.» и новым заглавием: «История о петухе, кошке и лягушке. Рассказ провинциала». Посвящение Д. В. Путяте также впервые появилось в этом издании — несомненно вследствие того, что он помог Одоевскому разыскать на журнальных страницах первую публикацию рассказа. Это явствует из письма Одоевского к брату Д. В. Путяты Николаю Васильевичу: «Ваш брат, любезнейший Николай Васильевич, нарисовал однажды картинку к одной из моих сказок, в которой дело идет о кошке, лягушке и Городничем. Я забыл не только, где она напечатана, но даже ее название! А меж тем издатель моих Сочинений требует ее от меня и торопит. Не вспомнит ли Ваш брат, как название этой сказки, когда и где она была напечатана. А если паче чаяния она у него есть и он пришлет ее мне, то несказанно одолжит, ибо я измучился, отыскивая ее...». В ответе Н. В Путяты значится: «Как скоро увижу брата, расспрошу его о вашей сказке. Теперь его нет дома. Сколько мне помнится, чуть ли эта сказка не была напечатана в первых номерах „Библиотеки для чтения“ или в „Современнике“...» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 2, № 144, л. 1—2).

При жизни писателя рассказ появился в печати еще раз — в 1856 г., в «Библиотеке для дач, пароходов и железных дорог». Здесь он был перепечатан из «Библиотеки для чтения» с тем же, что и там, названием, но с ошибками и пропусками в тексте, что означает отсутствие авторского контроля за изданием. По этой причине данное переиздание в «Вариантах прижизненных изданий» не учтено.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту первой публикации.

[1] *Некоторые затейники ~ злое умышлять.* — Ср. с «Жизнью и похождениями Иринея Модестовича Гомозейки...» (см. с. 94—96 наст. изд.).

Фортеция — устар.: небольшое укрепление, крепость.

[2] *Правду сказать, да что и за кошка! ~ в перчатках.* — Это описание напоминает собственного знаменитого черного кота Одоевского. По воспоминаниям Ю. Арнольда, писатель, в подражание Гофману, «также завел у себя любимцем большого черного кота, наименованного им так же, как кот Гофмана, „kater Murr“ (котом Мурр), который во все то время, пока Одоевский занимался, лежал на его коленях или сидел пред ним на столе. Не раз, приходивши к князю в дообеденное время, — свидетельствует мемуарист, — заставал я его нянчившегося с своим „котом Мурром“» (*Арнольд Ю.* Воспоминания. М.,

1892. Вып. II. С.201, примеч. 1). Кот Мурр изображен сидящим на коленях Одоевского на акварельном портрете писателя работы А. Покровского.

3 *Один из новейших сочинителей ~ невыразимое чувство...* — Вероятнее всего, имеются в виду «Старосветские помещики» Гоголя, с которыми Одоевский мог познакомиться в рукописи. О сходстве этих произведений см.: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма... Т. 1. Ч. 2. С. 336.

4 *...мельницу околдовал, ртути в плотину напустил.* — Этот вид «чародейства» был довольно распространен. Он описан, в частности, М. Забылиным: «Каждый в наше время знает свойство ртути, или живого серебра, которое в старину называлось змеиное молоко. Чтобы разрушить земляную плотину, колдуны бросали ртуть в воду, которая своею тяжеловесностью, просачиваясь в действительности чрез слабо утрамбованные места, увлекала за собою воду, а последняя делала промоины и разрушала плотины...» (Русский народ: Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. М. Забылин. М., 1880. С. 402).

5 *...жабу в голове нашепчет.* — Это народное поверье зафиксировано В. И. Далем: «Кто спит с кошкой, у того лягушки в голове заводятся» (*Даль В.* Месяцеслов. Суеверия. Приметы. Причуды. Стихии. Пословицы русского народа. СПб., 1992. С. 46). Не исключено, что Одоевский мог услышать о нем непосредственно от Даля, с которым к этому времени был уже хорошо знаком.

6 *...кизлярской водочки...* — виноградной водки.

7 *Онамнясь* — на-днях, недавно; довольно распространенный диалектный архаизм, бытовавший, в частности, и в Рязанской губернии, где находилось имение Одоевских, отошедшее матери писателя (с. Дроково Скопинского уезда), и где он до своего переезда в Петербург в 1826 г. жил подолгу.

8 *Трясовица* — лихорадка.

9 *В нем невольно взволновалась ~ новые системы!* — Эти воспоминания, вложенные в уста Богдана Ивановича, носят автобиографический характер. В «Предисловии» к неосуществленному второму изданию своих «Сочинений» Одоевский писал: «...тогда вся природа, вся жизнь человека казалась нам довольно ясною <...> Из естественных наук лишь одна нам казалась достойною внимания любомудра — анатомия, как наука человека, и в особенности анатомия мозга <...>. Не один *кадавер* мы искрошали ... (*Одоевский В. Ф.* Русские ночи. Л., 1975. С. 187).

10 *...замороженных кадаверов!* — Кадавер — труп (*лат.* cadaver).

11 *...Лаврентия Гейстера «Анатомия», изданная в 1775 году...* — Гейстер Лоренц (Лаврентий) (1683—1758) — известный немецкий хирург. Имеется в виду его труд: «Лаврентия Гейстера в Гелмстадском университете профессора, цесарской и Берлинской Академий и Лондонского ученого собрания члена Сокращенная анатомия, все дело анатомическое кратко в себе заключающая. Переведена с латинского языка на российской Санкт-Петербургской Адмиралтейской гошпитали главным лекарем Мартином Шеиным». В 2 т. СПб., 1757. Год выхода «Анатомии» указан Одоевским неточно.

Ниже говорится о «собственной» диссертации Ивана Богдановича на степень лекаря: название ее — «О пристойном железы наименовании» — заимствовано Одоевским из того же Гейстера; эпиграф к ней не является прямой цитацией, а представляет собой свободную контаминацию вводных положений Гейстера к истории изучения железы. У него сказано: «Дефиницию же или описание им (железам. — *М. Т.*) сделать, которое бы все настоящие железы в себе заключало, и с другими никакими частьми не было бы общее, понеже предки старались, чтоб части как именем, так и самою вещию от желез были бы отменны и назывались бы другим именем, дело так трудное есть, что преславные и премудрые люди того до сего времени доказать не могли. <...> Некоторые же, будучи посмелее, и дефиницию некакую дать стараясь, так разбрелися и так многие несовершенства и погрешности во многих местах произвели, что и с железами, которые от всех за железы познаются, сходства никакого не имеют или другие части с железами смешали, которые не железы, как о сем пространнее в диссертации „О пристойном железы наименовании“ под защищением и присмотром моим в Алторфе некогда говоренной, показано» (там же. Т. II. С. 3—4).

[12] *...какой-то «Полный врач», того же времени...* — Возможно, имеется в виду один из следующих наиболее распространенных во 2-й половине XVIII в. лечебников: [*Чулков М. Д.*] Сельский лечебник, или словарь врачевания болезней. М., 1789—1790. Вып. 1—5; «Полный и всеобщий домашний лечебник» (М., 1790—1791. Т. 1—3), принадлежащий известному английскому врачу Г. Бухану; *Рибель И. Ф.* Полный и всеобщий лечебник, или Полное и полезное врачебное наставление народу: В 7 ч. М., 1791. Любопытно, что описание состояния Зернушкина почти полностью совпадает с описанием аналогичных симптомов, содержащимся в более позднем «Полном настоящем простонародном российском лечебнике» (М., 1818. С. 207—208. Глава: «Истерика, или кликуша, или порча, время»).

[13] *...несколько нумеров «Московских ведомостей»...* — «Московские ведомости» — одна из старейших русских газет; начала издаваться с 1756 г. Примерно в то время, когда ее мог читать герой Одоевского, издателем и фактическим редактором «Московских ведомостей» был известный просветитель Н. И. Новиков (с 1779 по 1789 гг.).

[14] *...отыскивает главу „О голове" ~ из волокон сухожильных состоящая...* — «Лаврентия Гейстера... Сокращенная анатомия...». Т. II. С. 212. Цитата приведена с купюрами.

[15] *...перевод книги «О предчувствиях и видениях» ~ знаменитого Бургава в Гарлемском сиротском доме.* — Книгу под таким названием обнаружить не удалось.

Бургаве (Боергав, Бурхаве) (Boerhaave) Герман (1668—1738) — знаменитый нидерландский врач, ботаник, химик; основатель так называемой лейденской медицинской школы и первой научной клиники; в частности, занимался нервными органами и психическими процессами. В числе учеников Бургаве был между прочим и Галлер, упоминающийся в эпиграфе к «Просто сказке», где речь как раз идет о его наблюдениях в области психических процессов. Среди книг Одоевского сохранилось одно из изданий Бургаве (Каталог библиотеки В. Ф. Одоевского. № 1529).

[16] *Мономанические припадки — мономания* — помешательство на одной какой-либо навязчивой мысли или предмете.

ОТРЫВКИ ИЗ «ПЕСТРЫХ СКАЗОК»

Впервые напечатано: «Сочинения князя В. Ф. Одоевского». Часть третья. СПб., 1844. С. 169—170. «Отрывки из „Пестрых сказок"» представляют собой предисловие к разделу III с одноименным названием, куда вошли пять сказок из сборника 1833 г.: «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в Светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником», «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем», «Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту», «Та же сказка, только на изворот» и «Деревянный гость, или Сказка об очнувшейся кукле и господине Кивакеле». Печатается по этому изданию.

[1] *...пустить в ход резьбу на дереве ~ совершенно новое...* — Иллюстрации к «Пестрым сказкам» издания 1833 г. были выполнены в технике гравюры на дереве и политипажа. Политипаж — копия деревянной доски оригинальной гравюры, отлитая из гарта (особого металлического сплава). Словом «политипаж» в 1840-х гг. принято было называть также оригинальную гравюру на дереве. Художественное оформление «Пестрых сказок» — фронтиспис и десять гравированных на дереве рисунков — вызвало восторги современников. С. П. Шевырев, например, писал Одоевскому накануне выхода сборника: «Жду с нетерпением твоих пестрых сказок, которых оболочку, виньетки и отрывки видал и читал у Кошелева. Славно! Славно!» (Цит. по: *Одоевский В. Ф.* Повести и рассказы. М., 1959. С. 467). См. также с. 165 наст. изд. По оценкам же позднейших специалистов оформление это считается довольно грубым. Заглавный лист был напечатан семью красками — по предположению В. А. Верещагина, «вероятно, в подражание заглавному листу появившейся в прошлом (XVIII. — *М. Т.*) столетии французской книги „Contes en quatre couleurs"» (*Верещагин В. А.* Русские иллюстрированные издания XVIII и XIX столетий (1720—1830).

Библиографич. опыт. СПб., 1898. С. 16, № 42). На фронтисписе значатся имена художников: P. Roussel и F. Riss (У Верещагина ошибочно: Е. Рисс; то же — Каталог русских иллюстрированных изданий 1725—1860 гг.... В 2 т. / Сост. Н. Обольянинов. М., 1914. Т. II. С. 410, № 2028).

Рисс Франц Николаевич (1804—1886) — русский художник; в 1833 г. получил звание академика портретной живописи по портрету В. А. Жуковского; в 1831—1866 гг. выставлялся в Парижском салоне.

Руссель П. (1-я пол. XIX в.) — французский художник, гравер на дереве, литограф, долгое время работавший в России; автор серии литографий «Album Russe» (см.: *Верещагин В. А.* Русские иллюстрированные издания... С. 16, № 42).

Между прочим, вышедший немногим ранее «Пестрых сказок» альманах «Комета Белы», в котором впервые была напечатана «Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту», также украшен литографиями Рисса и Русселя. Политипаж к этой сказке в сборнике представляет собой копию фрагмента с литографии в «Комете Белы». «Молва», откликнувшись на выход альманаха, по поводу его художественного оформления, однако, писала: «...заметим, что лучше ему являться вовсе без картинок, чем с подобными тем, кои теперь безобразят его издание» (Молва. 1833. Ч. V. № 14. 2 февр. С. 56).

2 ...*Яков Васильевич Рейхель.* — Сведений об этом художнике обнаружить не удалось. Возможно, ему принадлежит портрет И. И. Дмитриева, воспроизведенный в издании «Сочинений» писателя (см.: Сочинения И. И. Дмитриева: В 3 ч. 5-е изд., испр. М., 1818. Ч. 1).

3 ...*политипаж, единственный в своем роде ~ художника А. Ф. Грекова...* — Греков Алексей Федорович — живописец-любитель 1-й пол. XIX в. Вероятнее всего, именно к нему относится документ, хранящийся в архиве Эрмитажа и свидетельствующий о том, что 19 октября 1832 г. Грекову по протекции Ланской был выдан билет под № 534 на копирование в Эрмитаже (ф. 1, оп. 2. 1797—1832. Дело № 4). В обоих случаях инициалы в документе не указаны, однако ходатайствовать за Грекова могла О. С. Ланская, жена писателя: покровительство начинающим, безвестным или нуждающимся талантам было в правилах четы Одоевских.

Позже А. Ф. Греков был известен как фотограф-новатор, перерисовывавший фотографии на камень (сведения из картотеки отдела рисунка Русского музея).

ОПЫТЫ РАССКАЗА О ДРЕВНИХ И НОВЫХ ПРЕДАНИЯХ

Впервые напечатано: Сочинения князя В. Ф. Одоевского. Часть третья. СПб., 1844. С. 43—46. «Опыты рассказа о древних и новых преданиях» представляют собой предисловие к разделу II, куда писатель включил одну из «Пестрых сказок» — «Игошу». Печатается по этому изданию.

Аналогичные идеи, в частности об эпопее, Одоевский развивает в отрывке «Опыт безымянной поэмы», условно датируемом тем же временем, что и «Опыты рассказа о древних и новых преданиях», — началом 1840-х гг. (см.: *Одоевский В. Ф.* Музыкально-литературное наследие. М., 1856. С. 439—442, 655).

Среди бумаг писателя находится и следующая заметка, близкая по содержанию к данному предисловию: «С некоторого времени у нас много толкуют о преданиях старины. Но предания — преданиям розь. Что есть предание? Правило, извлеченное из обычаев наших предков. Есть предания, основанные на нравственном знании, напр<имер>, не воруй, не убивай, уважай родителей и пр. Но у предков было также в обычае жечь колдунов в срубе, резать носы за нюхание табака, наказы носить пудру и косы — из этого предания еще не следует, чтобы мы нравственно были обязаны то же делать. Различение преданий разумом от преданий случайных есть дело разума, коему и должны быть подчинены предания» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 59, л. 20 и об., б/д).

<ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН «ПЕСТРЫХ СКАЗОК» >

Впервые опубл.: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма... Т. 1. Ч. 2. С. 23, примеч. Автограф — без названия; хранится: ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 20, л. 82. План условно может быть датирован до начала 1830 г.: предположительно к 1-й пол. 1830 г. относится первое известное упоминание одной из сказок будущего сборника — «...Нового Жоко» — в записке В. П. Титова Одоевскому, где варьировано уже окончательное ее название — Жоко (см.: *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...».О жизни Владимира Федоровича Одоевского. М., 1991. С. 215), в то время как в плане зафиксирована лишь общая идея этого, очевидно только складывавшегося, замысла («Паук»), не получившего еще своей конкретизации. Печатается по автографу.

МЫСЛИ, РОДИВШИЕСЯ ПРИ ЧТЕНИИ «ПЕСТРЫХ СКАЗОК» Г. ГОМОЗЕЙКИ, ИЗДАННЫХ Г. БЕЗГЛАСНЫМ

(Письмо к старым и новым литераторам)

Публикуется впервые по черновому автографу (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 80, л. 567—568). Рукопись не окончена; судя по содержанию, условно может быть датирована концом 1850-х—началом 1860-х гг. Ср. с «Предисловием», написанным Одоевским не ранее 1860 г. для предполагавшегося второго издания его «Сочинений» (см.: *Одоевский В. Ф.* Русские ночи. Л., 1975. С. 184—186, 303—304).

Основные принципы подачи этого и следующих далее рукописных текстов таковы: полностью воспроизводится текст по последнему слою правки; предшествующие варианты даются под строкой. При наличии нескольких вариантов они даются в соответствии с последовательностью исправлений. В случаях, когда правка не завершена и содержит не согласующиеся между собой разночтения, окончательный текст не реконструируется, а печатается по первоначальному варианту с указанием порядка исправлений под строкой.

В больших по объему отрывках основного или вариантного текста неварьирующиеся части внутри отрывка опускаются и заменяются знаком ~ (тильда).

Введенные в вариантные тексты зачеркнутые слова заключаются в прямые скобки.

Добавления недописанных или поврежденных в рукописи слов, восстановленные по догадке (конъектуры), заключаются в ломаные скобки; недописанная часть слова, не поддающаяся раскрытию, обозначается: <...>.

Слова, чтение которых предположительно, сопровождаются знаком вопроса.

Не разобранные в автографе слова обозначаются: <*нрзб.*>; если не разобрано несколько слов, тут же отмечается их число, например: <*2 нрзб.*>.

Из вписанных вариантных отрывков, фраз или словосочетаний указываются только значимые по смыслу (помечается словом: *вписано*); отдельные вписанные слова, не изменяющие общего смыслового понятия, не учитываются.

[1] *...хоть за роман г-жи Жанлис...* — Ср. с общими негативными оценками Одоевского творчества Жанлис (см. с. 141 наст. изд.).

[2] *...в славной Спарте!* — Спарта — государство, образовавшееся в VI—VIII вв. до н. э. в южной части Греции, на полуострове Пелопоннес. Государственный строй и установившиеся здесь правила общежития традиция связывает с именем Ликурга (IX—VIII вв. до н. э.) — легендарного спартанского законодателя. По свидетельству греческих авторов V—IV вв. до н. э., он ввел в жизнь спартанцев военную организацию, суровую дисциплину в воспитание юношества, в государственное управление — совет старейшин.

<АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ «ХРОНИКА»>

Рукописные материалы, относящиеся к одному из наиболее крупных неосуществленных замыслов Одоевского — его автобиографической «хронике» — хранятся в архиве писателя в Российской национальной библиотеке. Автографы, которыми мы располагаем, отражают несколько этапов работы писателя над этим произведением.

Первый набросок — «Жизнь и похождения Илариона Модестовича Гомозейки» — фактически представляют собой развернутый план этого замысла (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 20, л. 83 об., 19). Одоевский возвращался к нему дважды, так как отчетливо выявляются три слоя текста: первоначальный и две правки. Правка (вписанные Одоевским новые развернутые пункты плана) не дает связного текста; по-видимому, писатель не стремился к составлению нового плана, а рассматривал далее рукопись как обозначение для памяти последовательности и содержания эпизодов. Поэтому нами воспроизводится текст первоначальной редакции и последовательно двух слоев позднейших исправлений, обозначаемых соответственно римскими цифрами I, II, III. В наброске отражены не только поиски названия будущей «хроники» (второй его вариант — «Жизнь и похождения Иринея Модестовича Гомозейки, или Семейственные обстоятельства, сделавшие из него то, что он есть и чем бы он быть не должен» — максимально приближен к окончательному), но и имени, и основных характерологических черт ее героя, идентичного «рассказчику» «Пестрых сказок»; поэтому совершенно очевидно, что хронологически этот набросок предшествует также и «Пестрым сказкам» и условно может быть датирован до 1833 г.

Второй этап работы отражен также в черновом автографе под названием «Семейные обстоятельства Иринея Модестовича Гомозейки, сделавшие из него то, что он есть и чем бы он быть не должен» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 4, л. 136—137). Он представляет собой два фрагмента: предисловие «автора» «хроники» и начало повествования, на следующем этапе работы обозначенное как «глава 1-ая». Условно датируется после 1833 г., так как в предисловии уже упоминаются «Пестрые сказки».

Наиболее поздний из сохранившихся автографов объединен названием «Жизнь и похождения Иринея Модестовича Гомозейки, или Описание его семейственных обстоятельств, сделавших из него то, что он есть и чем бы он быть не должен» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 80, л. 534—559). Рукопись представляет собой попытку композиционного оформления «хроники»: все входящие сюда тексты — это отдельные в большей или меньшей степени развернутые фрагменты, следующие один за другим и предполагавшие, очевидно, продолжение, так как после каждого из них оставлены пустые страницы. Начало каждого нового отрывка помечено Одоевским буквами: «Б.И.М.Г.» или «Б.Г.» <«Биография Иринея Модестовича Гомозейки» или «Биография Гомозейки»>. Первый отрывок обозначен Одоевским: «Глава 1-ая»; последующие отрывки не пронумерованы, что может быть расценено как отсутствие у писателя на этом этапе работы четкого композиционного плана и возможность последующей перестановки фрагментов. Однако поскольку никаких авторских установок на этот счет не сохранилось, мы, следуя первому его обозначению, вводим условную нумерацию последующих фрагментов в соответствии с порядком их расположения в рукописи (2, 3 и т. д.). Наша нумерация заключена в ломаные скобки. Поскольку «глава 1-ая» «Жизни и похождений Иринея Модестовича Гомозейки...» учитывает окончательный вариант идентичного текста предыдущего автографа, «Жизнь...» также может быть условно датирована после 1833 г. Судя по нескольким намеченным здесь сюжетам, развитым затем в самостоятельные произведения («Червячок», «Отрывок из записок Иринея Модестовича Гомозейки» — см. примеч. 2, 4, а также 13), наиболее интенсивную работу над этим вариантом «хроники» можно отнести к 1833—1834 гг.

Имеющиеся в <3> колебания имени: Иван Савельевич — Иван Васильевич — сохранены согласно помете Одоевского, принадлежит биографии Гомозейки и отрывок «О педантизме» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 80, л. 301—302).

Об автобиографической «хронике» см. также: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма... Т. 1. Ч. 2. С. 37—48. В ссылках на пер. 4 у Сакулина указана старая пагинация: 330—331 — вместо позднейшей: 136—137.

Принцип подачи текстов и подстрочных вариантов см. с. 190.

ЖИЗНЬ И ПОХОЖДЕНИЯ ИЛАРИОНА МОДЕСТОВИЧА ГОМОЗЕЙКИ

[1] *...против воли матери ~ вступить в службу...* — Ср. с «Дневником студента» Одоевского (1820—1821 гг.), где, в частности, идет речь об отношении матери писателя Екатерины Алексеевны Сеченовой к образованию сына: «...если есть истинные бескорыстные чувствования, то должна ли быть заботливость о моем назначении в будущем. — Разумеется. Средства для будущего рода жизни суть познания — но когда не дают способов приобретать их — то не следует ли из этого, что не заботятся о будущем назначении и следственно, что нет чувствований истинных, бескорыстных» (см.: *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...». С. 46 и далее).

[2] *...помнит своего покойного дядюшку ~ имение растерял...* — Это, возможно, также автобиографический мотив: дядя Одоевского по матери Александр Алексеевич Филиппов страдал пристрастием к спиртному и вел беспутную жизнь, за что был лишен матерью всех наследственных прав (подробнее см.: *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...». С. 18—19, 24—25).

[3] *...жизнь в родительском доме, ежедневные мучения, побранки.* — Этот пункт плана мог быть навеян впечатлениями собственной юности и позже— атмосферой постоянных неурядиц и скандалов в семье матери в период ее второго замужества. Будущий писатель, чувствовавший себя «странником в своем доме», писал в «Дневнике студента»: «В жизнь свою я никогда не наслаждался благом семейственного счастия, единого, истинного блаженства». Кроме того, как раз в 1828—1831 гг. Сеченова писала сыну отчаянные письма о своих «побранках» с мужем, П. Д. Сеченовым (Подробнее см.: *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...». С. 42—46, 166—179).

[4] *Спасенная девушка... гонения от оных.* — Этот вписанный в основной текст пункт плана был, возможно, подсказан сомнительной адюльтерной историей отчима Одоевского П. Д. Сеченова с некоей девицей В. И. Кравковой, происшедшей в 1832 г., в период работы писателя над автобиографической «хроникой». Сеченов тайком увез из родительского дома Кравкову, объяснив позже свой поступок желанием спасти девушку от «семейства распутного, пьяного и буйного». Одоевский оказался невольно вовлеченным в это дело, принявшее скандальную огласку и дошедшее до судебного разбирательства (подробнее см.: *Турьян М. А.* Из истории взаимоотношений Пушкина и В. Ф. Одоевского // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1983. XI. С. 183—191).

СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИРИНЕЯ МОДЕСТОВИЧА ГОМОЗЕЙКИ, СДЕЛАВШИЕ ИЗ НЕГО ТО, ЧТО ОН ЕСТЬ И ЧЕМ БЫ ОН БЫТЬ НЕ ДОЛЖЕН

[1] *Бога ради оставьте меня в покое!* — См. с. 7 и 135 наст. изд.

[2] О полиграфическом оформлении «Пестрых сказок» см. с. 188—189, примеч. 1 наст. изд.

[3] Отзывы современников на «Пестрые сказки» см. с. 164—165 наст. изд.

[4] *Батюшка вскоре... над моим имением...* — Это факты биографии самого писателя: его отец, Федор Сергеевич Одоевский, скончался, когда мальчику не было четырех лет, и по завещанию жене его, Екатерине Алексеевне, отошла седьмая часть наследства. История с опекунством матери доставила в свое время Одоевскому немало горьких переживаний (подробнее см.: *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...». С. 15, 38—42).

[5] *на беду мою ~ отвращение к огурцам* — Ср. с позднейшим рассуждением Фауста в «Русских ночах»: «...мы замечаем, например, что вредная организму пища часто производит в нем отвращение, никакими наблюдениями не объяснимое...» (*Одоевский В. Ф.* Русские ночи. Л., 1975. С. 177).

ЖИЗНЬ И ПОХОЖДЕНИЯ ИРИНЕЯ МОДЕСТОВИЧА ГОМОЗЕЙКИ, ИЛИ ОПИСАНИЕ ЕГО СЕМЕЙСТВЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СДЕЛАВШИХ ИЗ НЕГО ТО, ЧТО ОН ЕСТЬ И ЧЕМ БЫ ОН БЫТЬ НЕ ДОЛЖЕН

[1] *...кричал также ~ в духоте на праздниках...* — Ср. с воспоминаниями Одоевского в «Моих записках»: «Помню <...> няньку-немку, которая кутала меня, сколь возможно, и кладя в кровать, курила внутри порошками и закрывала крепко полог, отчего мне всегда ночью было душно» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 101, л. 3).

[2] <2>. — Этот фрагмент лег позже в основу детского рассказа Одоевского «Червячок» (впервые опубл.: «Детская книжка для воскресных дней на 1835 год». <СПб., 1835>. С. 3—13. Подп.: «Дедушка Ириней»). К своим произведениям для детей Одоевский относился с большой серьезностью. «Да что вы ни слова не скажете о моих „Книжках для воскресных дней" — на 1835-й и особенно на 1834-й...», — спрашивал он в одном из писем своих московских друзей (Письмо С. П. Шевыреву, б/д <1835> — ОР РНБ, ф. 850 (С. П. Шевырева), № 408, л. 29 об.—30 об.).

[3] *Неужли не найдется ~ ежедневных обстоятельств!* — Ср. с «Дневником студента» Одоевского: «...мне кажется, что если бы теперь моя смерть не заставляла бояться вредных последствий касательно предметов корысти, то я спокойно бы мог улечься в сырой земле — и вечно-холодная рука покрыла бы меня песком т а к ж е х о л о д н о» (Цит. по: *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...». С. 46).

[4] <3>. — Этот фрагмент в несколько измененном виде вошел в рассказ «Отрывок из записок Иринея Модестовича Гомозейки» (1834), переименованный позднее в «Историю о петухе, кошке и лягушке» (см. с. 186 наст. изд.).

[5] *...на камеральные науки...* — Термин, возникший в Германии в XVIII в. и обозначавший совокупность знаний, необходимых для управления так называемой камерой или камеральными (государственными) имуществами. Камеральные науки предполагали два направления: экономическое, изучающее хозяйственные и практические технические дисциплины (сельское хозяйство, лесоводство, торговля, горное дело и т. д.) и учение о государственном управлении, в том числе и финансовые науки.

[6] *...из огромного Дюлорова сочинения о Париже...* — Дюлор Жак Антуан (1755—1835) — французский историк и политический деятель, автор популярных в свое время сочинений. Здесь имеется в виду его десятитомный труд: «Histoire civile, phisique et morale de Paris» (3[e] éd. Paris, 1825—1826) («Гражданская, физическая и моральная история Парижа»).

[7] *...из постановлений парижского Совета народного здравия...* — Очевидно, имеется в виду Conseil d'hygiène (Совет по гигиене), учрежденный в Париже в 1802 г.: его деятельность касалась городского благоустройства. Новым постановлением от 1822 г. функции Совета были распространены также и на все области народного здравия. Любопытно, что в 1860 г. — явно по примеру Парижа — при петербургском генерал-губернаторе тоже был образован «Санкт-Петербургский комитет общественного здравия»; депутатами от города были избраны А. Пель и Одоевский. Выбор последнего Распорядительная Дума мотивировала следующим образом: «...князь Одоевский постоянно занимался науками и предметами, состоящими в тесной связи с целью учреждения комитета, как то: физикою, химиею, медициною, а также предметами общественной благотворительности...» (Цит. по: Литературное наследство. Т. 22—24. С. 265). Одному из заседаний комитета посвящена дневниковая запись Одоевского от 29 ноября 1860 г., в которой, между прочим, прямо говорится, что петербургские деятели ориентировались на опыт Парижа (см.: там же. С. 118).

[8] *Управа благочиния* — полицейское управление в российских городах, упраздненное в конце XIX в.

[9] *Мак-Адам...* — Мак-Адам Джон (ум. в 1836 г.) — английский инженер и изобретатель, разработавший новую систему щебеночного покрытия шоссейных дорог, названную его именем и получившую распространение в Европе с 1820 г. Известна дневниковая запись Одоевского 1849 г.: «...Не переймем у иностранцев ни их гражданского безумия, ни смут, ни раздора, — но переймем и усвоим себе Смалевс плуг и Жаккардову машину,

и Макадамову дорогу, и Уатов паровик» (Цит. по: *Голубева О. Д., Гольдберг А. Л.* В. И. Собольщиков. В. Ф. Одоевский. М., 1983. С. 145).

[10] *Коллежский советник* — гражданский чин VI класса.

[11] *Коллежский асесссор* — гражданский чин VIII класса.

[12] *После рассказа о лягушке, кошке и проч.* — Имеется в виду сюжет, легший затем в основу самостоятельного рассказа «Отрывок из записок Иринея Модестовича Гомозейки» (позднее: «История о петухе, кошке и лягушке») — см. с.186 наст. изд.

[13] *К нам из Питера запрос ~ безбожник!* — Этот пассаж, как и вообще пристальный интерес Одоевского к проблеме пожаров, был связан с его служебными обязанностями. Как раз в период работы над «Жизнью... Гомозейки», 3 августа 1833 г. он по назначению Министерства внутренних дел стал членом комиссии, учрежденной для усовершенствования пожарной части в Петербурге (см.: Формулярный список В. Ф. Одоевского от 12 декабря 1868 г. — ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 101, № 3). Очевидно, к этому же времени относится и отрывок «Причина пожаров», представляющий собой диалог дяди Иринея с маниловскими погорельцами и близкий по смыслу к «Жизни... Гомозейки»; в частности, речь здесь идет о свечках, которые крестьяне ставят к образам в праздники: «А что, Домна, помнишь, был день также праздничный, ты свечку к образу прилепила, а сама из избы вышла; кажись, ненадолго выходила, а меж тем свечка-то отлепилась да прямо в посконь — помнишь, мы еще с твоим мужем брагой залили, а ты еще вопила, что вся брага на ничто пошла...». На вопрос дяди Иринея, боролись ли мужики с пожаром — и как, они отвечают: «...уж чего мы не делали; индо свечки везде на окошках поставили... — Так и знал, — восклицает дядя Ириней в ответ, — да где же вы видели свечкой-то пожар тушить?» Объясняют мужики причину пожаров тем, что «как предел придет, так его не минуешь... » (ф. 539, оп. 1, пер. 1, л. 52—59).

В начале 1830-х гг. у писателя был непосредственный источник сведений о положении дел с пожарами в провинции: его отчим П. Д. Сеченов, служивший в это время в Саранске полицмейстером. Подробно описывая в письмах к Одоевскому провинциальную жизнь, нравы и перипетии, связанные с должностью, живописал он в том числе и постоянно случавшиеся пожары (см.: *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...». С. 241—242).

БИОГР<АФИЯ> ГОМОЗЕЙКИ

Публикуется впервые по черновому автографу: ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 13, л. 30 и об. Название отрывка сопровождается карандашной пометой Одоевского: «Продолжение». Начало его и продолжение неизвестны.

БАБУШКА, ИЛИ ПАГУБНЫЕ СЛЕДСТВИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Два фрагмента под одним и тем же названием: «Бабушка, или Пагубные следствия просвещения», которые условно можно обозначить как черновой и беловой автографы, очевидно, представляют собой попытку развить в самостоятельный сюжет тему «бабушки», намеченную в одном из вариантов автобиографической «хроники» — «Семейных обстоятельствах Иринея Модестовича Гомозейки, сделавших из него то, что он есть и чем бы он быть не должен» (см. с. 91—93 наст. изд.) — подобно тому, как это произошло с «Отрывком из записок Иринея Модестовича Гомозейки» (см. с. 186 наст. изд.). На идентичность задуманного образа — консервативной, «домостроевской» бабушки — указывает само название, ни в одном из двух текстов, однако, не реализованное. Тем не менее образ этот был устойчивым и занимал писателя как раз в период работы над «Пестрыми сказками»: он мелькнул и здесь, в «Предисловии сочинителя», в упоминании «покойной бабушки», считавшей ученость Иринея Модестовича «вечным пятном» фамилии (см. с. 7 наст. изд.).

Оба фрагмента хранятся в Российской национальной библиотеке в фонде В. Ф. Одо-

евского. Первый из них, как было сказано, представляет собой черновой автограф (ф. 539, оп. 1, № 7, л. 130—139). Второй явно предполагался в качестве белового, но и здесь была произведена последующая — правда, незначительная — правка (там же, л. 140—144). В совпадающих текстах он учитывает окончательные варианты чернового автографа, однако существенно отличается от него дальнейшей разработкой намеченных там персонажей — их развернутыми портретными и психологическими характеристиками. Это «маменька» героя, ее сестра и просвирня Климовна.

В круг замыслов, примыкающих к автобиографической «хронике», «Бабушку...» вводит не только предполагавшийся в качестве центрального образ бабушки, но и очевидные автобиографические реалии, лежащие в основе задуманного произведения (см. примеч.). Рассказ же Климовны о птице Строфокамил в аналогичном варианте повторен в «Пестрых сказках» (см. с.21 наст. изд.), что лишний раз свидетельствует об известной связи «Бабушки...» также и с «Пестрыми сказками».

Оба автографа «Бабушки...» публикуются впервые.

В черновом автографе колебания имени «маменьки» (Марья Петровна—Дарья Петровна) оставлены без изменения. Принцип подачи текстов и подстрочных вариантов см. на с. 190. Комментарии к идентичным текстам, включая и случаи незначительных разночтений, не существенных для общего смысла, не повторяются.

В архиве Одоевского хранится еще один набросок под названием «Бабушка» (ф. 539, оп. 1, № 20, л. 20 об., 94), сюжетно с предыдущими фрагментами не связанный, так как в нем речь идет уже о взрослом герое, отце семейства. Отметим, однако, некоторые сходные мотивы. Начинается набросок словами «Воспитание прошлого века; молодого человека учат вздору — вздор и выходит...», он испытывает «неудачи от неполного образования». Затем у героя родится сын, и он отдает себя его воспитанию, «старается обогатить его ум — но бабушка и жена его не понимают его идей». Заявленная тема «бабушки» здесь также не реализована.

ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ

1 *Отчего так нравилась басня La Cigale et la Fourmi.* — Имеется в виду басня Лафонтена «Кузнечик и Муравей». Известны неоднократные ее русские переложения (А. П. Сумароков, И. И. Хемницер — у обоих под названием «Стрекоза»; анонимные авторы), однако особую популярность в России сюжет французского баснописца обрел под пером Крылова — в его басне «Стрекоза и Муравей» (1808).

2 *Глава 1-ая. 1812-й год.* — Ср. с упоминанием в «Пестрых сказках» о том, что Ириней Модестович «принялся рассказывать... о походе Наполеона в 1812 году» (с. 12 наст. изд.) и с «Жизнью и похождениями Иринея Модестовича Гомозейки...»: «...его упрекают в эгоизме потому, что он не принимает участия в рассказах о 1812-м годе» (с. 88 наст. изд.). Скорее всего, задуманная глава должна была стать развитием намеченной ранее темы — возможно, с учетом детских впечатлений самого Одоевского (см.: *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...». С. 21—22).

3 *...по бесчисленным переулкам, разделяющим Арбат от Пречистенки...* — Согласно административному делению «допожарной» Москвы, два ее старинных района — Арбат и Пречистенка — входили в так называемый Земляной город, располагавшийся между Пречистенской и Никитской улицами. Соседствующие Пречистенка и Арбат уже тогда были разделены более чем двадцатью переулками (см.: *Рубан В. Г.* Описание Москвы. СПб., 1782. Факсимильн. изд. М., 1989). Следующее далее здесь (и более расширенное — в БА) описание домика в одном из таких переулков, вероятнее всего, связано с детскими воспоминаниями писателя: именно на Пречистенке «во 2-м квартале под № 137-м в приходе священномученика Власия» — церкви, находившейся на Старой Конюшенной, владела домом его бабушка со стороны матери Авдотья Петровна Филиппова (подробнее см.: *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...». С. 17—26).

4 *...отца он почти не знал ~ мучительная смерть.* — Ср. с автобиографическими заметками Одоевского «Мои записки»: «Он (отец. — *М. Т.*) умер, когда мне не было пяти лет — следственно, о нем не осталось никакого воспоминания <...> Он умер после опе-

рации каменной болезни, произведенной Гильдебрандтом и Лодером довольно неудачно, ибо камень оказался приросшим к пузырю. Помню запах гарлемских капель, кои вероятно давали моему отцу. На это время, верно, чтобы я не испугался криков, меня перевезли к Аграфене Петровне Главовой, приятельнице матушки...» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 101, № 4, л. 2).

[5] *...днем — затворяли окна и двери ~ в хлопки...* — Ср. с «Моими записками» (см. примеч. 1 к «Жизни и похождениям Иринея Модестовича Гомозейки...» — с. 192 наст. изд.). Вскоре после женитьбы сына Екатерина Алексеевна писала своей невестке Ольге Степановне: «...что ж касается до Вашего мерзлого мужа, он с ребячества привык спать в вигоневой фуфаике, в чулках и чепчике. Он имел мамушку, которая чрезвычайно была к нему привязана и от страстной своей любви много глупости делала. Случалось мне приехать поздно домой, входить в его комнату, поверите ли, что я его находила лежащего точно в ванне мокрого, занавес весь-весь заколан булавками, нигде нет ни малейшего отверстия и накурено сахаром, и когда я весь этот газ из кровати выпущу и раздену, то мамушка приходила в отчаяние, и только что выйду, она опять то же сделает. Да он точно был слабый ребенок и беречь нужно было, но все не так» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 2, № 989, л. 5 и об.).

[6] *...петь на крилосах...* (правильно: клирос: крилос — *устар.* и *обл.*) — Место для певчих в церкви на возвышении перед иконостасом, по обеим сторонам царских врат.

[7] *Дискант* — здесь: высокий голос.

[8] *Горелки* — популярная в народе игра, участники которой выстраиваются парами, а один впереди «горит», т. е. в то время, как играющие разбегаются, он должен поймать одного из последней пары.

[9] *Просвирня* — женщина, занимающаяся выпечкой просфор.

[10] *...точили балы...* — *Балы, балясы* — россказни, пустой, забавный или шутливый разговор.

БЕЛОВОЙ АВТОГРАФ

[1] *Прокляну ~ в „Недоросле" Фонвизина.* — Фонвизин Д. И. «Недоросль». Действие третье, явление V. Одоевский не вполне точен: приведенная им цитата представляет собой не прямые слова Скотинина, а реплику госпожи Простаковой, урожденной Скотининой, передающей слова своего батюшки: «...прокляну робенка, который что-нибудь переймет у басурманов...».

[2] *Дарья Петровна была характера ~ было одно и то же...* — Этот портрет напоминает сохранившиеся свидетельства о матери писателя Е. А. Сеченовой, в характере которой также противоречиво сочетались наивный эгоизм, малодушие и своеволие (подробнее см.: *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...». С. 46, 166—167, 174—175).

[3] *...есть птица Строфокамил ~ в копыте.* — Ср. аналогичное описание птицы Строфокамил в «Сказке о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем» (с. 21 наст. изд.).

Е. Ф. Розен. «ПЕСТРЫЕ СКАЗКИ С КРАСНЫМ СЛОВЦОМ, СОБРАННЫЕ ИРИНЕЕМ МОДЕСТОВИЧЕМ ГОМОЗЕЙКОЮ, МАГИСТРОМ ФИЛОСОФИИ И ЧЛЕНОМ РАЗНЫХ УЧЕНЫХ ОБЩЕСТВ, ИЗДАННЫЕ Г. БЁЗГЛАСНЫМ»

«Сев. пчела». 1833. № 104. 12 мая. Раздел: «Новые книги». Подп.: Б. Р. Печатается по этой публикации.

[1] *...в пестрой финифти роскошного цветника.* — *Финифть*, или эмаль, — стеклообразное покрытие на металле, закрепляемое обжигом. Для художественной финифти характерен яркий многоцветный орнамент.

[2] *...ускользает от них, как тень Анхиза!* — Анхис — здесь: герой «Энеиды» Вергилия,

отец троянского героя Энея. Тень Анхиса являлась в сновидениях сыну, когда тот забыл о своем «царстве и подвигах громких» на ложе карфагенской царицы Дидоны (*Вергилий*. Энеида. Кн. четвертая. Стих. 200—350 // Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1979. С. 204—208).

[3] *...напоминающие нам единственного Гофмана.* — См. с. 164 наст. изд.; *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма... Т. 1. Ч. 2. С. 342—361.

[4] *«Последний квартет Бетговена»* — впервые опубл.: Северные цветы на 1831 год. СПб., 1830. С. 101—119. Позже эта новелла, как и нижеследующие, вошла в состав «Русских ночей» (Ночь шестая).

[5] *«Piranesi»* — «Opere del cavaliere Giambattista Piranesi» — впервые опубл.: Северные цветы на 1832 год. СПб., 1831. С. 47—65. В составе «Русских ночей» — Ночь третья.

[6] *«Импровизатор»* — впервые опубл. в альманахе «Альциона» (СПб., 1833. С. 51—86). В составе «Русских ночей» — Ночь седьмая.

[7] *«Бригадир»* — впервые опубл. в альманахе «Новоселье» (СПб., 1833. Ч. 1. С. 501—517). В составе «Русских ночей» — Ночь четвертая.

Н. Полевой. «ПЕСТРЫЕ СКАЗКИ С КРАСНЫМ СЛОВЦОМ, СОБРАННЫЕ ИРИНЕЕМ МОДЕСТОВИЧЕМ ГОМОЗЕЙКОЮ, МАГИСТРОМ ФИЛОСОФИИ И ЧЛЕНОМ РАЗНЫХ УЧЕНЫХ ОБЩЕСТВ, ИЗДАННЫЕ Г. БЕЗГЛАСНЫМ»

«Московский телеграф». 1833. № 8. С. 572—582. Подп.: Н. Полевой. Печатается по этой публикации.

[1] *...совсем не тот «Дом сумасшедших»...* — См. с. 131 наст. изд.

[2] *...в роде Жоанно?* — Жоанно — фамилия трех французских художников, родных братьев. Здесь, скорее всего, речь идет о Шарле-Анри-Альфреде Жоанно (1800—1837), известном, в частности, тем, что он способствовал распространению европейской моды на украшение изданий художественных произведений виньетками.

[3] *...Юпитер колеблет свод ~ производит бури.* — Перечисляются известные персонажи и сюжеты античной мифологии:

Юпитер (*греч.* — Зевс) — верховное божество римского пантеона, бог неба и небесных сил, повелевающий громами, молниями, тучами, ливнями. Древние называли его «тучегонителем» и «громовержцем».

Солнце — прекрасный молодой человек... — в греческой мифологии — Гелиос, бог солнца; изображается в ореоле сияния, на золотой колеснице. Согласно мифу, он мчится по небу на огненной четверке коней.

Нептун — в римской мифологии— бог морской стихии, покровитель мореплавания и коневодства. Обычно изображается с трезубцем, которым он вызывал и укрощал бурю.

[4] *...Фавнов и Ле<ш>иев...* — *Фавн* — в римской мифологии бог полей, лесов, пастбищ, животных. Существовали представления как об одном Фавне, так и о множественности Фавнов. *Леший* в русской мифологии — лесной дух.

[5] *...великого Жан-Поля...* — См. примеч. 1 к «Просто сказке» — с. 183 наст. изд.

[6] *Но Гофман как поэт ~ во всех его картинах.* — В это же время Н. Полевой высказал аналогичные соображения в связи с «Пестрыми сказками» и в письме к В. К. Карлгофу: «Это сбор мельчайших претензий на остроумие, философию, оригинальность. Чудаки! Не смеют не сделать в условный день визита и пишут à la Hoffmann! Надобно быть поэтом, сойти с ума и быть гением, трепетать самому того, что пишешь, растерзать свою душу и напиваться допьяна вином, в которое каплет кровь из души, — тогда будешь Гофманом!» (*Полевой Н. А.* Избранные произведения и письма. Л., 1986. С. 514). Ср. с позднейшей записью Одоевского о фантастической сказке: «Фантастическая сказка есть произведение в похмелье. Море по колено; язык развязывается, все чувства, хранившиеся на дне души: старые и новые, зрелые и недозрелые — бьют пеною наружу. Можно человека угадать по

одной фантастической сказке» (Психологические заметки // Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 220—221).

[7] *Предоставьте таким простолюдинам ~ природою и человечеством.* — Это еще один выпад Полевого против «аристократизма» Одоевского. Перечисленные им «простолюдины», достигшие высот Парнаса и мировой общепризнанной славы, — действительно выходцы из низов: Гофман — из бюргерской чиновничьей семьи; Жан Жак — имеется в виду великий французский просветитель Жан Жак Руссо — был сыном часовщика и начал самостоятельную жизнь лакеем и гувернером; Жан Поль — отпрыск скромного школьного учителя, Жюль Жанен — провинциального мелкого адвоката суда первой инстанции.

<ПИСЬМО Э. В. БИНЕМАННА В. Ф. ОДОЕВСКОМУ>

Публикуется впервые по автографу: ОР РНБ, ф. 539, оп. 2, № 258, л. 5—6, б/д.

Бинеманн Эдуард Вильгельм (Василий Федорович) (1795—1842) — живописец. Учился в Дрезденской академии (с 1816 г.). В 1817 г. выставлял свои миниатюрные портреты в Риме и Флоренции. Член Римской Академии художеств. Позже жил в России, был связан с Петербургской Академией художеств (в 1832 г. получил здесь звание «назначенного»). Бинеманну, в частности, принадлежат портреты С. И. Ивановой, Е. М. Завадовской — знакомых Лермонтова и др. Портрет Одоевского его работы, о котором идет речь в письме, неизвестен.

В. Г. Белинский. ИЗ СТАТЬИ «СОЧИНЕНИЯ КНЯЗЯ В. Ф. ОДОЕВСКОГО»

Впервые опубл.: Отечественные записки. 1844. Т. 36. № 10. Отд. V. С. 37—54. Без подписи. Печатается по изд.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 8. С. 314—315; 319—320.

К творчеству Одоевского Белинский обращался неоднократно, оценивая его в целом достаточно высоко (см. Полн. собр соч. Т. 1. С. 97, 275—276; Т. 3. С. 188; Т. 4. С. 344 и др.). К середине 1830 гг. критик склонен был видеть в Одоевском «поэта мира идеального, а не действительного», однако с известными оговорками, обусловленными художественной разностронностью писателя и, в частности, касавшимися фигуры Безгласного: «...есть несколько фактов, которые не позволяют так решительно ограничить поприще его художественной деятельности. Есть в нашей литературе какой-то г. Безгласный и какой-то дедушка Ириней, люди совсем не идеальные, люди слишком глубоко проникнувшие в жизнь действительную и верно воспроизводящие ее в своих поэтических очерках: вы верно не забыли курьезной истории о том, как у почтенного городничего города Ржева завелась в голове жаба и как уездный лекарь хотел ее вырезать, и не менее курьезной истории под названием „Княжна Мими" — этих двух верных картин нашего разнокалиберного общества? Знаете ли что? Мне кажется, будто эти люди пишут под влиянием кн. Одоевского, даже чуть ли не под его диктовку: так много у них общего с ним и в манере, и в колорите, и во многом...» (О русской повести и повестях г. Гоголя // Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 1. С. 276). Позднее, по мере того как все отчетливее обозначались различия в общественно-политических и эстетических взглядах Одоевского и Белинского, отношение критика к творчеству писателя становится более сложным. Это нашло свое отражение и в статье о «Сочинениях» Одоевского, из которой и взяты фрагменты, посвященные «Пестрым сказкам» (подробнее см.: *Михайловская Н. М.* В. Ф. Одоевский в оценке В. Г. Белинского // Вопросы истории и теории литературы. Челябинск, 1966. Вып. 2. С. 157—164; *Cornwell Neil.* Belinsky and V. F. Odoevsky // The Slavonic and East European Review. 1984. 62. N 1. P. 6—24).

[1] *...как, например, «История о петухе, кошке и лягушке»...* — Характерная ошибка Белинского, включившего этот самостоятельный рассказ в состав «Пестрых сказок»— по естественной ассоциации с несомненно близкими по манере двумя «юмористическими очерками» этого цикла. См. также с. 160—161 наст. изд.

В. Ф. Одоевский. ИЗ «ТЕКУЩЕЙ ХРОНИКИ И ОСОБЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ»

«Текущая хроника и особые происшествия» — дневник Одоевского за 1859—1869 гг. Впервые опубликован: Литературное наследство. Т. 22—24. М., 1935. С. 79—308. Публикуемая запись — от 24 ноября 1860 г. (с. 117—118).

Печатается по этому изданию.

Долгоруков Петр Владимирович, князь (1816—1868) — публицист, издатель, историк, генеалог; с 1861 г., по приговору Сената, — политический эмигрант (фактически — с 1859 г.). В 1830-е гг. Долгоруков вращался в петербургском светском обществе, был принят, в частности, в салоне Карамзиных, но входил также и в круг Геккернов. Современники подозревали в нем автора анонимного пасквиля, посланного 4 ноября 1836 г. Пушкину и его друзьям. По свидетельству барона Ф. Бюлера, в 1840-х гг. брат поэта Лев Пушкин впервые узнал из рассказа М. Ю. Виельгорского обо всех «коварных подстреканиях, которые довели брата его до дуэли» именно в доме Одоевского. Тогда же здесь в числе авторов «возбудительных подметных писем» называлось и имя П. В. Долгорукова (см.: Русский архив. 1872. № 1. Стб. 204). Для позднейших исследователей вопроса свидетельство Одоевского о причастности Долгорукова к сочинению и рассылке «Ордена рогоносцев» представлялось наиболее авторитетным (см.: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987. С. 398—402; 425—429; *Ахматова А.* Гибель Пушкина // Ахматова А. Соч.: В 2 т. М., 1986. Т. 2. С. 96—98). Исследования последних лет подвергают непосредственное участие Долгорукова в этой истории сомнению (см.: *Абрамович С. Л.* Пушкин в 1836 году. 2-е изд., доп. Л., 1989. С. 95—100).

Тем не менее резко отрицательный отзыв Одоевского о характере и нравственных качествах Долгорукова, о его репутации интригана, склонного к злословию, подтверждается многими свидетельствами (Свод литературы вопроса см.: Русские писатели 1800—1917. Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 151—153). Выпад Долгорукова против Одоевского в издававшемся им эмигрантском журнале «Будущность» (1860. № 1. 15 сент. С. 6, примеч.) — след их давних антагонистических отношений. В интерпретации Долгорукова передан как светская сплетня не только якобы имевший место разговор Пушкина и Одоевского по поводу «Пестрых сказок», но и факты биографии самого Одоевского.

В архиве писателя сохранился его ответ на статью Долгорукова — черновой автограф и писарская копия с него с последующей авторской правкой (ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 85, л. 36—37, авт.; л. 38—42— копия), который, однако, как это явствует из самой дневниковой записи, не мог быть напечатан по цензурным соображениям. Очевидно, настойчивые попытки обнародовать свой ответ Долгорукову предпринимались Одоевским и позднее. 14 февраля 1861 г. он записал в своем дневнике: «Полторацкий — с известием, что моя статья против кн. Долгорукова не может здесь быть напечатана» (Литературное наследство. 22—24. С. 128). <«Ответ...»> впервые опубл.: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд., просм. и доп. М.; Л., 1928; печатается по изд.: *Щеголев П. Е.* Дуэль... М., 1987. С. 427—429 с исправлениями по авторизованной копии.

[1] *...посвящена мне ~ статейка...* — Выпад против Одоевского составил развернутое примечание Долгорукова в его статье «Министр Ланской», посвященной шурину Одоевского С. С. Ланскому, министру внутренних дел.

[2] *В весьма молодых летах ~ моего камер-юнкерства...* — При всей тенденциозности факты, переданные здесь Долгоруковым, по существу верны и отражают скорее всего светские толки вокруг молодой четы Одоевских. Вопрос о камер-юнкерстве Одоевского, очевидно, живо обсуждался в кругу семьи. Осенью 1827 г. Е. А. Сеченова, поздравляя сына с новой должностью секретаря Цензурного комитета Министерства внутренних дел, писала ему и по этому поводу: «...а хорошо если б секретарь сделался камер-юнкер— мне очень этого хочется и ты дурачишься, что не пользуешься своим правом, что за гордость быть обязану милой своей подруге; я думаю, ты один, который не сделал этого, пожалуйста, будь камер-юнкером, утешь меня, если будет на то согласие Оль<ги> Степа<овны>» (ОР РНБ, ф. 539, оп. 2, № 989, л. 12 об.). См. также дневниковую запись Одоевского от 20 ноября 1860 г.: «Говорят, что в журнале кн. Долгорукова (bancal) „Будущность“ он объявляет, что я сделался придворным, царедвор-

цем, но впрочем не по своей вине, но по самолюбию жены!» (Литературное наследство. 22—24. С. 116).

Дашков Дмитрий Васильевич (1788—1839) — переводчик, критик, прозаик, государственный деятель. Будучи дядей ближайшего друга Одоевского В. П. Титова, также шеллингианца и члена Общества любомудров, Дашков, после декабря 1825 г., опасаясь вредных последствий философских увлечений племянника, увез его в апреле 1826 г. в Петербург — вскоре после переезда туда Одоевского. Состоя тогда в должности товарища министра внутренних дел (министром юстиции он был назначен позднее — см. ниже), Дашков взял на службу в свое ведомство обоих молодых людей. Какие-то его критические высказывания по поводу «немецкой философии» представляются вполне вероятными, однако вряд ли конкретным поводом для них могло послужить камер-юнкерство Одоевского (см. ниже, примеч. 9).

[3] *По выходе «Пестрых сказок» ~ и не могло быть...* — См. с. 165—166 наст. изд.; ср. с воспоминаниями В. А. Соллогуба — с. 126 наст. изд.

[4] *Пушкин уважал меня ~ в «Современнике».* — Интерес Пушкина к творчеству Одоевского был избирательным, хотя поэт действительно высоко ценил некоторые его повести («Последний квартет Бетховена», «Княжну Зизи») и особенно — критические статьи: две из них — «О вражде к просвещению» и «Как пишутся у нас романы» — были публикованы в «Современнике» при жизни Пушкина (т. II, III). Переписку их по этому поводу, содержащую оценки Пушкина, см.: Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 422—425, 434—442.

[5] *...неужли послать в «Колокол»?* — В тот момент Одоевскому вряд ли было известно, что как раз с 1860 г. началось знакомство Долгорукова с другим его давним антагонистом — А. И. Герценом, переросшее в тесные деловые и личные отношения. Позже Долгоруков принимал участие в редактировании «Колокола» и пользовался поддержкой его издателей (*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954—1965 (справ. том — М., 1966) — по указателю; см. также: *Эйдельман Н. Я.* Герцен против самодержавия. М., 1984. С. 254—300).

[6] *Полторацкий* Сергей Дмитриевич (1803—1884) — известный библиограф и библиофил, приятель Одоевского.

[7] *С Пушкиным мы познакомились ~ в этом журнале...*— Одоевский не вполне точен: личное его знакомство с Пушкиным относится к 1827—1828 гг. (См.: *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. и перераб. Л., 1988. С. 301—302).

[8] *С Дашковым я познакомился ~ в нашем законодательстве.* — Одоевский неточен: знакомство его с Дашковым должно было состояться не позднее октября 1826 г., когда он вступил в службу в Цензурный комитет Министерства внутренних дел под начало Дашкова (см.: Формулярный список В. Ф. Одоевского от 2 декабря 1868 г. — ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 101, № 3). который привлек его и В. П. Титова к активной работе над новым цензурным уставом — одним из наиболее прогрессивных в русском литературном законодательстве XIX в. (Подробнее см.: *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...». С. 131—142). Очевидно, именно это и подразумевает Одоевский под «положением о правах авторской собственности в России».

[9] *Служба моя под начальством Дашкова ~ совершенною неожиданностию.* — Одоевский служил под началом Дашкова с октября 1826 по март 1829 г., когда Дашков получил назначение на новую должность товарища министра юстиции; с 1832 г. он стал министром юстиции. Звание камер-юнкера Одоевский получил 24 апреля 1829 г. (См.: Формулярный список В. Ф. Одоевского...).

В. А. Соллогуб. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «ПЕРЕЖИТЫЕ ДНИ. РАССКАЗ О СЕБЕ ПО ПОВОДУ ДРУГИХ»

Настоящий фрагмент вошел в гл. 1. Впервые опубл.: Русский мир. 1874. № 117. Печатается по изд.: *Соллогуб В. А.* Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 578. Об описанном здесь эпизоде подробнее см. с. 165—166 наст. изд.

[1] Ни в одном из двух известных подносных экземпляров С. А. Соболевскому подобных надписей нет (см. с. 170 наст. изд.).

[2] Этот подносной экземпляр в настоящее время неизвестен.

М. П. Погодин. ИЗ «ВОСПОМИНАНИЯ О КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ ФЕДОРОВИЧЕ ОДОЕВСКОМ, ЧИТАННОГО В ЗАСЕДАНИИ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 13-ГО АПРЕЛЯ 1869 ГОДА»

Впервые опубл.: «В память о князе В. Ф. Одоевском». М., 1869. С. 43—68. Печатается по этому изданию.

[1] *...из любимых квартантов...* — Квартанты — название формата старопечатных книг.

В. Ф. Ленц. ИЗ «ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЛИФЛЯНДЦА В ПЕТЕРБУРГЕ»

Впервые опубл.: Русский архив. 1878. Т. 1. С. 440—442. Печатается по этому изданию.

Ленц Василий (Вильгельм) Федорович (1808—1883) — юрист, музыкальный писатель и критик, пианист. Знакомый Одоевского с начала 1830-х гг.

[1] Мысль о сходстве «Пиковой дамы» с гофмановскими произведениями высказывалась и другими современниками Пушкина. Неоднократно возвращались к ней и позднейшие исследователи (Обзор литературы вопроса см.: *Ботникова А. Б.* Э. Т. А. Гофман и русская литература. Воронеж, 1977. С. 98—106, 200; *Cornwell Neil.* Pushkin's the Queen of Spades. Bristol Classical Press. 1993, по указ.).

[2] *...ведь мы в Риге ~ молились на него.* — Ленц — родом из Риги; образование получил в Дерптском и Московском университетах.

[3] *...князь Григорий...* — князь Григорий Петрович Волконский (1808—1882) — чиновник, камергер, попечитель Петербургского учебного округа; певец-любитель.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Пестрые сказки

Дополнения

Приложения

Владимир Федорович Одоевский

ПЕСТРЫЕ СКАЗКИ

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники»

Редактор издательства В. Н. Немнонова
Художник Л. А. Яценко
Технический редактор О. В. Иванова
Корректоры М. К. Одинокова и Е. В. Шестакова

ЛР № 020297 от 27.11.91 г. Сдано в набор 04.09.95 г. Подписано к печати 27.05.96.
Формат 70 × 90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура академическая. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 15.2. Уч.-изд. л. 15.9. Тираж 4000 экз. Тип. зак. № 3457. С 1385

Санкт-Петербургская издательская фирма РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1.

Санкт-Петербургская типография № 1 РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12.

